



И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

ЛЕДЯНОЙ  
ДОМ





И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

ЛЕДЯНОЙ  
ДОМ

A decorative flourish consisting of a central diamond-shaped knot with two loops extending upwards and two downwards, all connected by a continuous line.

МОСКВА • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

1979

*Вступительная статья академика  
М. В. Нечкиной*

*Примечания  
Е. М. Шуб*

*Иллюстрации художника  
Б. Пашкова*

**Лажечников И. И.**

Л 16 Ледяной дом.— М.: Правда, 1979.— 384 с., ил.,  
9 л. ил.

ИСБН

«Ледяной дом» написан русским писателем И. И. Лажечниковым (1792—1869). Это один из первых русских исторических романов, обладающий живым и ярким сюжетом. Автор рассказывает о мрачном правлении императрицы Анны Иоанновны, о борьбе русского патриота Волынского с временщиком немцем Бироном.

Л  $\frac{70301-232}{080(02)-79}$  79-3702010000

Текст печатается по изданию: И. И. Лажечников. Ледяной дом. «Художественная литература». М., 1970.

---

## «Ледяной дом» И. И. Лажечникова

### 1

В скромной квартире директора училищ Тверской губернии кабинет, конечно, был завален книгами. Стояла зима 1833—1834 года. Зимним вечером или днем в воскресенье мы могли бы увидеть в кабинете еще не старого — сорокалетнего — человека, погруженного в работу, перебиравшего исписанные листы, склонившегося над историческими документами и книгами. Современникам бросались в глаза подвижные, «игривые» черты лица, выражавшие детское простосердечие и яркий юмор, живые, наблюдательные глаза и высоко взбитый кок пышных, уже седеющих волос. «Он располагает к себе с первого взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушием», — писал позже в воспоминаниях один его петербургский знакомый<sup>1</sup>. Работавший за столом человек имел уже к тому времени громкую славу «русского Вальтера Скотта». Сам он думал о себе скромнее, иногда говоря шутливо: «Дедушка наш Вальтер Скотт». Быть «внуком» знаменитого английского романиста казалось ему достаточным. Директор училищ Тверской губернии Иван Иванович Лажечников писал этой зимой роман «Ледяной дом».

Известный автор «Походных записок русского офицера» (1820) и нашумевшего романа «Последний Новик» (1831—1833) пытался воссоздать мрачную эпоху императрицы Анны Иоанновны и с увлечением работал над историческим материалом. Ему удалось достать и кое-какие документальные свидетельства о «деле Волинского» и воспоминания современников, носившие подчас длинней-

---

<sup>1</sup> И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М.-Л., 1950, с. 262.

шие названия. Так привлечена была, например, «русским Вальтером Скоттом» одна довольно редкая «книжница» (под пространного в Санктпетербурге, в Генваре 1740 года, ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов, с приложенными при том гридированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой стуже, сочиненное для охотников до натуральной истории чрез Георга Волфганга Крафта, С-Петербургской Императорской Академии Наук члена и физики профессора).

Книги и документы излагали факты, которые живо подхватывало и разрывывало художественное воображение Ивана Ивановича Лажечникова. Но в ткань воссоздаваемых на основании документов картин буйно и неудержимо вривалась действительность начала тридцатых годов XIX века. В картины далекого прошлого властно входили впечатления современника, уже разбуженного начинающимся кризисом феодально-крепостной системы, хранящего свежие воспоминания и о войнах с Наполеоном и о 14 декабря 1825 года. Это были впечатления о России, только что «успокоенной» после революционной вспышки декабристов самодержавием Николая I, России, где начинал уже действовать молодой Герцен, вдохновленный громом пушек на петровской площади,— России эпохи растущих крестьянских волнений, польского восстания 1830—1831 годов, планов царской интервенции в революционную Францию 1830 года.

Вся эта сложная, противоречивая, тревожная обстановка ставила перед автором «Ледяного дома» много вопросов, на которые он пытался посылить ответить, рисуя политический облик Волынского, создавая образы Бирона и Анны Иоанновны. В роман вторгался с вопросами и ответами и «друг-читатель» русского Вальтера Скотта, двойник автора, плававший горячим патриотизмом, чувствовавший себя «русским с головы до пят». Вкусы, тресбования и политическая идеология «друга-читателя» были значительным рычагом, поворачивавшим исторический материал в сторону, ему нужную. Читатель находил ответы на злободневные политические вопросы 30-х годов и в резком осуждении временщика-злодея Бирона и в патриотических речах Волынского.

Ясно поэтому, что образная «ткань» «Ледяного дома» не так уж проста. Это один из первых русских исторических романов, довольно близко воспроизводящий эпоху Анны Иоанновны. В то же время это и произведение, отразившее в себе черты двадцатых — тридцатых годов XIX века и в силу этого во многом далеко отступившее от исторической истины. Иначе, конечно, и быть не могло. А. С. Пушкин с большой проницательностью писал И. И. Лажечникову: «Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не со-

блюдена, и это со временем, когда дело Воынского будет обнаружено, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык»<sup>1</sup>.

## 2

Иван Иванович Лажечников родился 14 сентября ст. ст. 1792 года. Он был сыном богатого коломенского купца, торговца хлебом и солью. Весь род Лажечниковых издавна занимался именно этой торговлей. Обычно бытовая обстановка богатой купеческой семьи конца XVIII века представляла собой еще более страшное «темное царство», чем во времена Островского.

Лажечников оставил нам несколько произведений автобиографического характера: «Беленькие, черненькие и серенькие», «Немного лет назад», в которых рисует тяжелый и мрачный быт коломенского купечества. Но семья Лажечниковых представляла собой любопытное исключение. Получив значительное наследство, отец Лажечникова построил себе богатый дом, который, как у дворян, «славился роскошью своего убранства... везде паркеты из красного, черного, пальмового дерева, мрамор, штоф...— писал Лажечников.— В нем отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося века

...из стаи славной  
Екатерининских орлов...—

и угощал великолепно, не ударяя лицом в грязь перед важными господами, не брезгавшими водить хлеб-соль с купцом. Он жил вообще как богатые дворяне того времени».

Несмотря на купеческое происхождение, в обход закона, отец писателя приобрел поместье в 23 верстах от Коломны — «Красное сельцо». Куплено это имение было на имя дворянина — близкого приятеля семьи Лажечникова — московского губернатора Обрезкова. Дворяне всего уезда съезжались туда в гости к купцу-хлебосолу, чтобы наесться до отвала стерлядей (аршинных!), пойманных в собственных прудах хозяина, или двухфунтовых груш, выросших в его оранжереях. Вспоминали, что губернаторы, ездившие на ревизию губерний, делали по нескольку верст крюку, чтобы заехать к гостеприимному хозяину, имевшему к тому же хороший оркестр домашних музыкантов.

Но дело было не только в материальном довольстве и обеспеченности. Отец будущего писателя выделялся своей образованностью и любовью к книгам. В автобиографической повести «Белень-

---

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., переписка 1835—1837 гг., т. XVI. М., 1949, с. 62.

кие, черненькие и серенькие» И. И. Лажечников вывел своего отца под именем Максима Ильича Пшеницына. «Максим Ильич,— пишет Лажечников,— имел врожденное стремление к образованию себя. Случай развил еще более эту склонность». И далее писатель сообщает очень важные сведения: его отец был знаком с Новиковым, оказавшим на него значительное влияние. В одну из частых поездок своих в разные концы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он с Новиковым. Новиков полюбил молодого человека, беседовал с ним часто «о благах», доставляемых просвещением, и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью.

В своем автобиографическом рассказе писатель говорил об отце, что тот «иной раз так смело выражался о разных важных предметах и лицах, что у трусливого человека, слушавшего его, волосы дыбом становились». Свидетельства об отце говорят, что он был и религиозным вольнодумцем.

Приглашенный к маленькому Лажечникову гувернер был рекомендован Новиковым. Выбор оказался удачным. Француз «был не какой-нибудь проходимец, а человек со значительным по тому времени образованием». Воспитатель Лажечникова Болье (Beaulieu) учился в Страсбургском университете, хорошо знал французский и немецкий языки. Лажечников писал о своем воспитателе: «Память о нем до сих пор с глубокою благодарностью сохраняется в сердце моем. Никогда не видал я над собою розог, и все наказание учебное ограничивалось у нас ставлением за обедом в угол, каковое наказание огорчало меня до обильных слез». Дядьку Ларивона, приставленного к Лажечникову, также вспоминал писатель с большою благодарностью и теплотой.

Одним из самых сильных впечатлений детства было воспоминание о той страшной ночи, когда во двор богатого купеческого дома ворвались три тройки, запряженные в рогожные кибитки, наполненные солдатами. В автобиографии Лажечникова рассказано, как он внезапно проснулся ночью от шума в доме: «Я увидел рыдающую мать мою, прощание ее с отцом, благословение его дрожащею рукою надо мною и братом моим». По приказу императора Павла I арестовали отца писателя, гувернера Болье и священника, преподававшего детям русский язык. Тройки унеслись с арестованными, все затихло. «Вслед затем слышны были только перешептывания, рыдания матери и причитание женской прислуги. В этом происшествии никто ничего не мог понять. Дядька мой Ларивон урюмо молчал, нянька Домна усердно молилась и приказывала мне молиться».

В семье Лажечникова объясняли арест религиозным вольнодумством отца,— однажды он резко и остроумно отозвался об одном высокопоставленном коломенском духовном лице. Поп, учивший детей Лажечникова русскому языку, передал слова тому, о



ком они были сказаны. В Петербург полетел донос на купца как на якобинца и разрушителя основ. Дело было в последние годы царствования Павла I; шпионаж и сыск быстро сделали свое дело.

Лажечников пишет в своей автобиографии, как мать сейчас же вслед за арестом отца двинулась в Москву вместе с малыми детьми, собрав все деньги, какие могла достать. «По приезде в Москву мы отправились в Тайную канцелярию, находившуюся на углу Мясницкой и Лубянской площади... Здесь какой-то генерал дозволил нам свидание с пленником. Мы простились с ним, не зная, увидим ли его когда-нибудь...» Отца увезли в Петропавловскую крепость.

Неизвестно, что именно сыграло главную роль в довольно быстром последующем освобождении арестованного — он вернулся домой «в день Михаила Архангела, что в сентябре». Вероятно, всесильная взятка богача купца сыграла тут не последнюю роль, да и многочисленные дворянские связи Лажечниковых были пущены в ход. Все кончилось благополучно, только дела Лажечниковых после ареста пришли в совершенный упадок, усиленный еще одной неудачной торговой операцией. Богатству семьи пришел конец. Известный достаток еще остался, но писатель Лажечников должен был служить, чтобы жить на жалованье; никаких капиталов от отца он не унаследовал.

Лажечникову было только пятнадцать лет, когда он поместил в «Вестнике Европы» философские рассуждения в подражание Лабрюйеру под названием «Мои мысли». Любопытно, что здесь уже встречаются, хотя и туманные, высказывания, осуждающие тиранию.

На службу Лажечников поступил сначала в Московский архив иностранной коллегии, потом в канцелярию московского генерал-губернатора. В то же время он не прекращал учиться — брал уроки риторики у профессора Победоносцева и слушал частные лекции известного профессора литературы — поэта Мерзлякова.

Отечественная война 1812 года всколыхнула патриотическое сознание юноши. Любовь к родине побудила его вступить в ряды войск, защищавших отечество. «Я рвался в ряды военные и ждал на то разрешения, — пишет Лажечников в автобиографическом рассказе «Новобранец 12-го года». — Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспалял и старцев и юношей. Порою рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка... Не скрою, что порой прельщали меня и красный ментик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви».

Родители категорически запретили будущему писателю идти на войну, но он бежал из дому и сражался в рядах армии. Правда,

вскоре после бегства получил он родительское прощение и «благословение» на военные подвиги.

Лажечников побывал за границей во время походов 1813—1815 годов; он участвовал в деле под Бриенном и во взятии Парижа. «Походные записки русского офицера» Лажечникова вышли в 1820 году; он описывает в них свои впечатления, сочувственно отмечая явления передовой западной культуры и в слабой форме протестуя против крепостного права в России.

К военной поре жизни Лажечникова относится его встреча с Пушкиным в декабре 1819 года. Его шутивное письмо к Пушкину от 13 декабря 1831 года (из Твери) осталось памятником этой встречи. «Волею или неволею займу несколько строк в истории вашей жизни»,— писал поэту Лажечников. Речь шла об одной из дуэльных историй Пушкина, в которой Лажечников сыграл роль умиротворителя.

«Вспомните малороссца Денисевича,— пишет Лажечников Пушкину,— с блестящими жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего вас в театре на честное слово и дело за неуважение к его высокоблагородию; вспомните утро в доме графа Остермана в Галерной, с вами двух молодцов гвардейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру малороссца, который на вопрос ваш: «приехали ли вы *во-время?*», отвечал, нахохлившись, как индейский петух, что он звал вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать вам поучение, како подобает сидети в театре, и что майору неприлично меряться с фрачным; вспомните крохотку адъютанта, от души смеявшегося этой сцене и советовавшего вам не тратить благородного пороха на такой гад и шпор иронии на ослиной коже. Малютка адъютант был ваш покорнейший слуга — и вот почему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в вашей истории»<sup>1</sup>.

В 1819 году Лажечников оставил военную службу и стал директором училищ Пензенской губернии, потом «визитатором» саратовских училищ и, наконец, директором Казанской гимназии. В это время пришлось ему работать с Магницким, о котором он оставил любопытные воспоминания.

В ту пору, после наполеоновских войн и в годы бурного роста передового общественного движения, многие молодые люди бросали военную службу, где приходилось покоряться аракчеевским ставленникам и заниматься шагистикой, и переходили на гражданское поприще, где было, по их мнению, больше возможности принести пользы отечеству.

Общее движение времени захватило и Лажечникова; он оставил военную службу, где ему могла быть обеспечена сытая, почет-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., переписка 1828—1831 гг., т. XIV. М.-Л. 1941, с. 249—250.

ная и легкая жизнь, и перешел в начале 1821 года на работу в области народного просвещения. Пензенская губерния, где он начал свою деятельность, входила в те годы в состав Казанского учебного округа, попечитель которого предупредил Лажечникова, что он найдет пензенскую гимназию «в жалком, запущенном состоянии»<sup>1</sup>. И действительно, едва новый директор переступил порог ее, как увидел гимназистов, на руках выносивших из класса пьяного учителя словесности — «мышы кота погребали». Другие учителя просто не являлись в классы, ученики больше числились в списках, нежели посещали уроки. Энергичный директор нашел молодых, способных учителей, заинтересовал учеников, навел дисциплину — и гимназия стала жить новой жизнью.

Лажечников как директор уездных училищ энергично принялся за насаждение образования в провинциальной глуши, — благодаря его заботам в сентябре 1822 года было открыто уездное училище в Чембаре. Именно в это новое училище поступил учиться мальчик Виссарий Белинский, будущий великий критик и деятель демократического движения. Лажечников сразу заметил одаренного подростка, поддержал его на первых же шагах. «Ястребок» — ласково звал он мальчика. «На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такою уверенностью, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу», — позже писал И. Лажечников в своих «Заметках для биографии Белинского». Теплые отношения между Лажечниковым и Белинским сохранились на всю жизнь.

В 1826 году Лажечников вышел в отставку, ездил в Лифляндию для сбора материалов к своему роману «Последний Новик». Книга вышла в 1831—1833 годах и доставила Лажечникову славу одного из пионеров русского исторического романа. Отзыв о романе был дан Белинским в «Литературных мечтаниях». Белинский писал о «Последнем Новике», что Лажечников «по справедливости может быть признан русским романистом...». «В самом деле, «Новик» есть произведение необыкновенное, озаменованное печатью высокого таланта».

В 1831 году Лажечников вновь вынужден был поступить на службу в связи с затрудненными материальными обстоятельствами. Он был назначен директором училищ Тверской губернии, где и встретились мы с ним в начале этой статьи, застав его над рукописью «Ледяного дома», опубликованного в 1835 году. В 1837 году Лажечников вышел в отставку, поселился в деревне под Старицею и опять отдался литературной работе. Его новый роман «Басурман» был посвящен эпохе Ивана III.

В 1843 году Лажечников написал драму «Опричник», которая не была пропущена цензурой. В 1870—1872 годах эта драма послужила П. И. Чайковскому основой для его оперы «Опричник».

<sup>1</sup> В. С. Нечаева. Иван Иванович Лажечников. Пенза, 1945, с. 12—13.

В 1842—1854 годах Лажечников был вице-губернатором в Твери, затем в Витебске, а в 1856—1858 годах служил цензором в петербургском цензурном комитете. Работа цензора его очень тяготила; в роли цензора он, по словам близко знавших его людей, «был истинным страдальцем» и называл «счастливым» тот день своей жизни, когда, выслужив пенсию, смог оставить службу в цензуре<sup>1</sup>.

Крестьянскую реформу 1861 года Лажечников встретил восторженно. Однако к концу жизни он отошел от своих прогрессивных устремлений; один из последних романов Лажечникова — «Внучка панцирного боярина» (1868) — проникнут великодержавным шовинизмом.

Умер Лажечников 26 июня ст. ст. 1869 года.

### 3

Центральными фигурами романа «Ледяной дом» являются Вольнский и прекрасная Мариорица. Вокруг любви их заплетается причудливый, наивный и двойственный сюжет романа: любовная интрига переплетена со столкновением политического характера. Это столкновение — ожесточенная борьба смелого, благородного, подлинно русского патриота Вольнского с мрачным злодеем и временщиком, немцем Бироном. Эта двусторонность сюжета так отчетлива, что почти возможно говорить прямо о двух сюжетах — любовном и политическом; они крайне слабо скреплены друг с другом; Бирон, узнавший о любви Вольнского, пытается обратить ее в орудие разоблачения своего противника. Но основная характерная черта Вольнского, на которой строится политическая интрига — его героический патриотизм, — собственно никакого отношения не имеет к любовной интриге самой по себе.

В этих сюжетных линиях интересны для нас прежде всего Вольнский и Бирон как исторические лица. Мариорицу считать исторической личностью невозможно. Группа Вольнского — Перокин (Еропкин), Сумин-Купшин (Мусин-Пушкин), Щурхов (Хрущов), секретарь Зуда (де ля Суда), Эйхлер — также тесно связана с реальными историческими лицами, не говоря уж о фигуре Анны Иоанновны.

В чем же состояли реальные исторические события, послужившие основой романа, и каковы были реальные исторические деятели, выведенные в «Ледяном доме»?

Царствование императрицы Анны Иоанновны (1730—1740) началось под знаком феодальной реакции. Политика глубокого переустройства феодальной России, проведенная Петром I, его кипучая деятельность по укреплению русского государства, его

<sup>1</sup> И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М.-Л., 1950, с. 262.

работы о промышленном развитии страны — прогрессивная сторона его царствования. Петр I мобилизовал все что мог для того, чтобы отсталую крепостную Россию поднять на уровень передовых европейских государств. Россия сделала сильный рывок вперед, но замысел Петра все же полностью не увенчался успехом, технико-экономическая отсталость страны не была преодолена.

После смерти Петра I становящаяся на капиталистические рельсы Западная Европа стремилась использовать царскую Россию лишь как источник сырья. В русском вывозе доля сырья год от года возрастала, а доля готовых изделий падала.

Возила же Россия в первой половине XVIII века главным образом предметы дворянского обихода. Большие заграничные корабли, свертывая паруса, подплывали к деревянным причалам санктпетербургского или архангельского портов. Из трюмов выгружали дорогие иностранные вина, осторожно выносили туго запакованные тюки с тонкими заграничными сукнами для дворянских камзолов и свертками дорогих шелковых тканей для великолепных платьев дворянских жен. Выгружали ящики с кофе, пряностями, привозили дорогие ювелирные изделия. Опустевшие трюмы кораблей наполнялись грубыми кипами пеньки, льна, еле обделанными кожами, свертками жесткого серого холста, сотканного на ручном станке, нередко в закоптелой курной избе крепостного крестьянина; иной раз попадала на корабли и пушнина, ясачной товар или выменянный за бесценку у сибирского «инородца», — соболи, куницы, белки, бобры. Возили такие товары и сухопутным путем.

После короткого царствования Екатерины I, отмеченного главенством Верховного тайного совета (1725—1727), на престоле оказался двенадцатилетний подросток — Петр II, игрушка в руках «верховных господ». В 1730 году, накануне своей свадьбы, Петр II внезапно заболел оспой и умер.

«Верховные господа» всполошились. Кто станет царем? Кучка крупных вельмож решила сохранить власть в своих руках; для этого ей была нужна такая же податливая и ничтожная фигура на царском престоле, какой была Екатерина I или Петр II. «Верховные господа» сочли подходящей фигурой курляндскую герцогиню Анну. Она была четвертой дочерью слабоумного царя Ивана, сводного брата Петра I. Анна родилась в 1694 году. Петр I самовластно распорядился судьбой семнадцатилетней племянницы, выдав ее из политических соображений замуж за курляндского герцога. Этим династия Романовых усиливала свою власть на берегах Балтийского моря. Анна овдовела через несколько месяцев после свадьбы; но из тех же политических соображений должна была оставаться в Митаве, столице Курляндии.

К этой курляндской герцогине «верховники» спешно послали гонцов с приглашением стать русской императрицей, конечно, только при том условии, если она будет во всем послушна «верховным

господам». Анна согласилась, наскоро собралась и приехала в Москву еще в то время, когда съехавшееся со всех сторон на коронацию и свадьбу Петра II провинциальное «шляхетство» наполняло все дворянские особняки старой столицы. Дворянство взволнованно обсуждало «затейку» «верховников» и противопоставило этой «затейке» свой план действий.

Условия («кондиции»), которые были поставлены «верховными господами» императрице Анне Иоанновне, состояли в следующем: она не имела права без согласия Верховного тайного совета объявлять войну, заключать мир, налагать новые подати, жаловать чинами выше полковничьего ранга, жаловать вотчины дворянам, назначать себе придворных и расходовать государственные доходы, должна была дать обещание не выходить замуж. В случае неисполнения принятых ею обязательств ей грозило лишение «короны российской». Ее роль сводилась к безгласной ширме для самодержавия «верховных господ». Узнав об этой «затейке», дворяне решили уничтожить власть «верховных господ» и в первую очередь уничтожить политическое основание этой власти — ограничительные пункты «кондиций». Дворянские возки, ныряя в ухабах московских улиц, носились из одного конца города в другой, конспираторы стучались в ворота друг к другу, сговаривались о своем плане. Они обратились к Анне Иоанновне с просьбой быть «самодержавной императрицей» и уничтожить «кондиции» «верховников», правильно рассчитав, что новая императрица будет гораздо более полезна шляхетству, если получит всю полноту власти при помощи этого самого шляхетства. Когда фельдмаршал Долгорукий предложил было дворянскому Преображенскому полку принести присягу царице и Верховному тайному совету, то дворяне кратко, но выразительно ответили, что они переломают фельдмаршалу ноги, если он еще раз сунется к ним с подобным предложением.

Анна Иоанновна согласилась с требованиями шляхетства и торжественно «разодрала» предложенные ей верховниками «кондиции». В марте 1730 года Верховный тайный совет был уничтожен, и Анна стала самодержавной императрицей.

Правительство Анны Иоанновны провело в жизнь некоторые не мажорные требования дворянства, осуществляя политику феодальной реакции после петровских реформ. Правительство сократило срок обязательной дворянской службы в войсках до 25 лет; если в семье было несколько сыновей, то одному из них разрешено было вовсе не служить на военной службе. В 1740 году был основан «шляхетный корпус» — привилегированное учебное заведение для детей «благородного шляхетства». Дворянский сынок, поступивший в этот корпус, обучался наукам и, еще сидя на школьной скамье, получал военные чины. Дворянство добилось установления и еще более удобного для себя порядка — оно записывало в военную службу своего ребенка прямо с рождения: какой-нибудь дворян-

ский сынок еще пищал в пеленках на руках у кормилицы, а уже значился в каком-нибудь полку в военном чине. С ходом времени он все повышался в чинах, и, наконец, когда действительно «поспевал» в военную службу, то оказывался уже штабс-капитаном или майором. Все это сводило на нет жесткие требования петровской поры — дворянину лично служить в армии с солдатского чина и повышаться по служебному производству лишь в силу личных заслуг.

При Анне Иоанновне был отменен петровский закон об «единонаследии» и было разрешено отцу-дворянину делить свои имения по завещанию между всеми сыновьями. Вотчины и поместья были объявлены одинаковой недвижимой собственностью дворян.

Новым бюрократическим органом дворянской диктатуры явился при Анне Иоанновне кабинет министров. В него вошли граф Г. Головкин, князь А. Черкасский, А. Волынский, А. Бестужев-Рюмин и Остерман; последний был главным лицом в кабинете министров и играл весьма значительную роль в правительстве. Лажечников пишет о нем: «Граф, умевший удержать за собою, как бы по наследству, доверие и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы и, что еще труднее, — трех временщиков».

Главную роль в государственном управлении играл немец — герцог Бирон, курляндский камергер и любовник императрицы. Он был фактическим повелителем государства из-за своей близости к императрице, как тогда говорили — «временщиком». Время его правления и кровавый режим, им установленный, носят по его имени название «бионовщины».

В марте 1731 года — на следующий же год после воцарения Анны Иоанновны — была учреждена «Тайная канцелярия» — центр политического розыска, одно из важнейших учреждений режима «бионовщины». При малейшем подозрении в противоправительственных замыслах виновного хватали, вели на допрос, подвергали пыткам. Достаточно было только крикнуть условные слова: «Слово и дело!», чтобы по указанию крикнувшего был схвачен, допрошен, подвергнут пытке любой человек.

Жадный к личному благополучию, материальным благам и неограниченной власти, Бирон был лишен черт «государственного» деятеля. Его правление ни в малейшей степени не было освещено борьбой за какие-либо крупные политические цели. Личная нажива на разорении русского народа, продажа оптом и в розницу русских государственных интересов — вот основной рычаг политики Бирона.

Бирон получал большие доходы от взяток, которые давали ему английские капиталисты через своего посла. Правительство Бирона — Остермана поддерживало английскую буржуазию, которая стремилась уничтожить мешавшую английским купцам прусскую конку-

ренцию, а главное захватить в свои руки торговлю шелком с Ираном. В Англии образовалась персидская компания, которая прочно обосновалась на Волге и на Каспийском море; торговля шелком, которой так дорожила раньше царская казна, перешла в руки английских коммерсантов.

Положение трудящихся масс в России все ухудшалось. Возрастало разорение крестьянства. В 1736 году правительство Анны издало указ о прикреплении рабочих к заводам: если на крепостном заводе работали ранее мастера по вольному найму, то теперь они были обращены в крепостных. В том же году правительство разрешило предпринимателям ссылать провинившихся рабочих в Сибирь. На заводы и мануфактуры по-прежнему насильно загоняли «гулящих» и «праздношатающихся» «подлых» людей.

Бирон был крутым крепостником. Он требовал беспощадного выколачивания податей и жестоко подавлял малейший протест крестьян против крепостнического строя.

Кучка немецких вельмож, любимцев Бирона, наживалась за государственный счет.

Вторую роль после Бирона играли братья Левенвольде. На крупнейшие должности определялись остзейские бароны. Было образовано два новых гвардейских полка — Измайловский и Конный, весь командный состав которых состоял из остзейских офицеров и генералов. Этим новые полки как бы противопоставлялись петровской гвардии — Преображенскому и Семеновскому полкам, состоявшим из русского дворянства. Режим крепостнической эксплуатации страны кучкой немецких выходцев, крепостников-феодалов, питал национальную идеологию русского дворянства. В своей борьбе против режима биرونщины русские дворяне противопоставляли себя немцам, выдвигали требования передачи всех крупных правительственных должностей российскому дворянству. Процесс консолидации русской нации, начавшийся еще в XVII веке, выражался в этих требованиях, носивших для того времени прогрессивный характер. Правда, эти требования еще не сопровождались предложениями о коренных социальных реформах, об уничтожении феодально-крепостнического угнетения или ликвидации самодержавного строя. Национальная идеология дворян еще соединялась с охраной основных устоев старого строя. Однако она все же была одним из элементов возникавшего нового, выявлявшим развитие крупнейшего по значению процесса — консолидацию русской нации. Одним из сторонников этого направления и был кабинет-министр императрицы — Артемий Петрович Волинский.

Тяжелое положение народа не тревожило российскую самодержицу. Во дворце императрицы Анны Иоанновны придворные праздники и балы сменяли друг друга. В перерыве между ними растрепанная, толстая и рябая царица в шлафроке и чепце то слушала сказки, то возилась с заболевшей собачкой, то обсуждала воп-



рос о привозе новорожденной мартышки. Придворные вельможи в подражание Бирону одевались в камзолы из пестрых шелковых материй, наряжались в розовые, желтые и попугайно-зеленые цвета. Карлы, шуты и «дураки» вертелись и прыгали в залах дворца, потешая императрицу и придворных. Ежедневно в дворцовых залах шла крупная картежная игра.

В январе 1740 года императрица дала большой «потешный праздник» по случаю свадьбы своего шута Голицына. Волинский был назначен организатором этого шутовского празднества. По приказу царицы в Петербурге на Неве был выстроен ледяной дом. Около него стояли ледяные пушки, огромный слон выбрасывал из хобота зажженную нефть. Все внутреннее убранство дома — столы, стулья, даже посуда и дрова в камине были сделаны из льда. Можно представить себе, сколько раз обмораживались согнанные сюда подневольные строители, возводившие ледяную постройку для царской забавы: стояла лютая зима 1740 года, какой не помнили старожилы.

Праздник в ледяном доме был обращен, кроме того, в издевательство над народами многонациональной страны. Со всех концов империи были свезены за сотни верст люди разных национальностей — башкиры, калмыки, казахи, евреи, татары, чуваша — в своих национальных нарядах. Их живописный вид, их песни и пляски в ледяном доме должны были потешить царицу и ее придворных. Над ними насмехались, их били и дразнили, как зверей.

Этот-то эпизод царствования Анны Иоанновны и явился сюжетом романа И. И. Лажечникова, а устроитель праздника — кабинет-министр А. П. Волинский — его главной фигурой.

#### 4

Пушкин предсказал И. И. Лажечникову, что исследования будущих историков обнаружат несоответствие образов автора исторической истине. Это положение легче всего проверить на центральной фигуре романа — Артемии Петровиче Волинском<sup>1</sup>. Правда, исторический Волинский остается, как и в романе, жертвой режима Бирона. Даже императрица Екатерина II должна была признать, что Волинский казнен невинно.

Конечно, в идеологии исторического Волинского несомненно присутствовали националистические моменты. Правильно и то, что

<sup>1</sup> С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, тт. IV—V.; Д. А. Корсаков. А. П. Волинской и его конфиденты, в его книге «Из жизни русских деятелей XVIII века», Казань, 1891; Иоаким Шишкин. Артемий Петрович Волинский, «Отечественные записки», 1860. Мною использованы также материалы сданного в печать тома «Очерков истории СССР» 2-й четв. XVIII века под ред. Е. И. Заозерской.

вокруг него сложился кружок одинаково с ним мысливших дворян. Остается исторически правильным в романе и самый факт протеста против бироновщины, хотя для исторического Волынского на некоторых этапах характерно подобострастное отношение к Бирону и зангрывание с ним. Исторический Волинский в своем классовом существе не мог быть противопоставлен тогдашнему правительству. Он был все же дворянином-крепостником, и протест его не был направлен против основ существовавшего строя. Но это не меняет того, что планы Волынского были прогрессивными планами по сравнению с режимом бироновщины.

Вместе с тем исторический Волинский во многом не похож на Волынского из «Ледяного дома» И. И. Лажечникова.

Артемий Петрович Волинский родился в 1689 году. Он принадлежал к богатейшему шляхетскому (дворянскому) роду. После смерти матери пятилетний ребенок был отдан на воспитание к родственнику Семену Андреевичу Салтыкову, в доме которого он и провел свое детство. Дворянство петровского времени начинало службу очень рано. Пятнадцатилетний Волинский был уже зачислен солдатом в драгунский полк, в 1711 году стал ротмистром, состоял при Шафирове во время Прутского похода, был вместе с ним в константинопольском плену. Шафиров послал Волынского курьером к Петру I с трактатом Адрианопольского мира. В 1715 году подполковник Волинский был назначен в Персию «в характере посланника». Ему выпала на долю попытка провести в жизнь давнишние замыслы Петра I, мечтавшего открыть удобный торговый путь в Индию через Иран. Торговый договор, заключенный Волинским с шахом Гуссейном через его эхтимат-девлета (первого министра), был выгоден для России — русские купцы получали в Персии охрану и преимущественные права. Довольный успехом Волынского, Петр I произвел его в полковники и генерал-адъютанты. Волинский был назначен астраханским губернатором — в новой, только что учрежденной тогда губернии... Деятельность Волынского как губернатора была тесно связана с политикой петровского времени. У всех еще было свежо в памяти знаменитое астраханское восстание 1705—1706 года: Волынскому предстояло провести в крае новое сложное административное устройство и окончательно сделать «покорными» местные коренные народности — калмыков в первую очередь. Реальный, исторический Волинский показал себя жестоким угнетателем нерусских народов, а как администратор не оказался безгрешным и по части взяток

В 1722 году Волинский женился на двоюродной сестре Петра I Александре Львовне Нарышкиной, чем окончательно было закреплено дружеское отношение к нему Петра.

В этом же году правительство Петра I предприняло военный поход в Персию, который кончился неудачей. Волынского обвиняли в сообщении неправильных сведений о состоянии кавказских горцев

и этому приписывали провал русских военных замыслов. Кроме того, Петру I передали сведения и о попытке Воынского получить взятку с персидского правительства во время его посольства в Персии и о взяточничестве его на посту астраханского губернатора. Воынский в результате этого доноса хорошо познакомился с дубинкой Петра I: избивение было прекращено только благодаря будущей императрице Екатерине I, заступившей за Воынского. Но отношения с Петром I после этого сильно испортились. В 1724 году возникло новое дело против Воынского: он обвинялся — и совершенно основательно — в самоуправстве и истязаниях мичмана Мецшерского. Но дело это не успели разрешить до смерти Петра I, а при Екатерине I оно было прекращено. После ее воцарения Воынский был произведен в генерал-майоры и назначен казанским губернатором.

И тут опять возник ряд серьезных дел в связи с обвинениями Воынского во взяточничестве, вымогательствах, произвольных незаконных поборах и насилиях над населением. Воынский снова проявил себя угнетателем нерусских народностей края — притеснителем татар и мари (черемисов).

История с «кондициями» Анны Иоанновны и все перипетии шляхетского движения против «верховников» были хорошо известны Воынскому, хотя он в то время и находился не в Москве, а в Казани. Тексты шляхетских проектов и «кондиций» Анны Иоанновны ему были пересланы в копиях. Найден даже один шляхетский проект с поправками Воынского. В начале царствования Анны Иоанновны Воынский повел себя с большой осторожностью. Немцы, утвердившиеся при дворе в крупных должностях, были пока что умело использованы им в целях укрепления собственной карьеры.

Миних был использован им в первую очередь: Воынский состоял как воинский инспектор под его непосредственным начальством. Ягужинский, один из давнишних врагов Воынского, был дискредитирован последним и устранен при помощи Миниха, к которому Воынский сумел войти в доверие. Сблизился Воынский и с крупным вельможей, влиятельным при дворе лицом — обер-штаб-майстером графом Карлом Левенвольде, в результате чего поступил на службу в конюшенное дворцовое ведомство, состоявшее в ведении последнего. При страстной любви Бирона и императрицы к лошадям эта должность была крупным шагом в служебной карьере Воынского. Известны слова ненавидевшего Бирона австрийского посланника графа Остейна: он утверждал, что Бирон говорит как человек, когда ведет речь о лошадях или с лошадьми, а когда беседует о людях или с людьми, то говорит как лошадь.

Следующий шаг в своей карьере Воынский сделал в 1733—1734 годах во время военных действий против Польши, состоя начальником одного из отрядов, осаждавших Данциг. Во главе армии стоял тот же Миних, и Воынский сумел повести тонкую

игру и усыпить бдительность Бирона, усердно черня перед ним Миниха, которого Бирон не терпел, видя в нем своего политического соперника. Это обеспечило Волынскому дальнейшее продвижение по службе. Он получил крупное производство — стал генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом Анны Иоанновны. Им был получен подарок: участок для постройки дома в Петербурге на Мойке.

С этого момента Волынский уже близко подходит к работе кабинета министров. Он принимает участие в «генеральных собраниях министров», представляет свои отзывы на получаемые кабинетом проекты, заседает в комиссиях кабинета.

Смерть Карла Левенвольде в 1735 году отнюдь не задержала карьеры Волынского: он уже давно упрочился в хорошем мнении Бирона. 3 февраля 1736 года Волынский получил должность с очень значительным политическим влиянием, которая лишь с первого взгляда может показаться маловажной: он был назначен придворным обер-егермейстером — заведующим охотой. Страсть императрицы Анны Иоанновны к охоте общеизвестна, и заведование этой отраслью обеспечивало частый контакт с императрицей. Охота производилась в искусственной обстановке: дичь, олени и прочие объекты охоты заранее ловились, стогнялись в условленное место, нередко в парки императорских дворцов, где и развертывалась затем «охота» царицы и ее приближенных.

Разумеется, обер-егермейстер был все время на виду у царицы, включался в круг участников ее любимейших забав, становился, так сказать, «своим человеком» при дворе. Этому «своему человеку» и было поручено в 1737 году важнейшее политическое дело: он был назначен членом «Вышнего суда над бывшим вождем верховников» — князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, крупнейшей фигурой «затейки» верховников, желавших ограничить «кондициями» Анну Иоанновну при вступлении ее на престол. То направление, которое Волынский придал делу, свидетельствовало о том, что он был чужд намерениям данной олигархической дворянской группы. Д. М. Голицын был заключен в Шлиссельбургскую крепость. Это соответствовало планам императрицы. Вскоре после этого Волынский был послан для заключения мира с Турцией в Немирове вместе с Шафировым и Неплюевым. Правда, на этот раз мирные переговоры не дали должных результатов, война с Турцией продолжалась, но об этом факте в биографии Волынского стоит упомянуть, как о новом штрихе, характеризующем доверие к нему двора.

3 апреля 1738 года было знаменательным днем в жизни Волынского. Он был назначен в этот день кабинет-министром «за особливые его превосходительства заслуги». По выражению близких, которое очень понравилось самому Волынскому, он «чрез великий порог перешагнул». Всесильный «кабинет», учрежденный императрицей Анной Иоанновной после ликвидации Верховного тайного

совета, обладал огромнейшими полномочиями. Членами «кабинета» в момент назначения Воынского были граф Остерман и князь А. М. Черкасский. Воынский постепенно сосредоточил в своих руках все кабинетские дела. Скоро он оказался единственным докладчиком у императрицы по делам «кабинета».

Развернувшаяся далее борьба за власть между Воынским и Бироном, конечно, в основном должна быть истолкована как борьба за власть дворянских группировок, смена которых у кормила государственного правления проходила в XVIII веке довольно легко и не означала ни перемены основ строя, ни вообще какого-либо существенного поворота исторического развития. «Возьмите старое крепостническое дворянское общество,— писал В. И. Ленин.— Там перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой»<sup>1</sup>. Обычно реальной силой таких переворотов была гвардия, становившаяся на сторону то одного, то другого претендента. Гвардия возвела на престол Екатерину I и Елизавету Петровну, интересы гвардии сыграли свою роль и в уничтожении Анной Иоанновной ограничивавших ее в пользу «верховников» «кондиций». Согласно «затейке» верховников императрица лишилась права распорядиться гвардией. Задуманный Воынским переворот, конечно, не выходит в основном «из общего круга» дворцовых переворотов XVIII века. Следует, однако, учесть некоторые его второстепенные отличительные черты, придающие ему известную специфику.

В интересах гвардии, как сказано выше, было утверждение на русском престоле неограниченной властительницы Анны Иоанновны. Однако русская гвардия никогда не возводила «на престол» Бирона. Напротив, подавляющее большинство русского дворянства видело в Бироне узурпатора власти, случайного временщика, поднявшегося к правлению в силу личной близости к императрице.

В беседах «конфидентов» справедливо отмечалось, что «государыня сама государством не правит, а всем-де правит герцог Курляндский, и от него может государство в разорение прийти»<sup>2</sup>. Воынский противопоставил узурпатору свое понимание государственных интересов России. Это понимание не выходило за рамки феодальной идеологии, но глубоко отличалось от хищнической политики случайного человека, грабившего государство и терроризированный народ в интересах личного обогащения.

Став кабинет-министром, Воынский оказался на очень значительной высоте. Тут и обозначились первые признаки его откры-

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 28, с. 397.

<sup>2</sup> Страни истории СССР, 2-я четв. XVIII века, под ред. Е. И. Засовской; Ю. В. Готье. Проект о поправлении государственных дел Артемия Петровича Воынского, «Дела и дни», т. 3, Пг., 1922.

того столкновения с Остерманом и Бироном, и тут впервые стала оформляться система его требований, его крамольная «программа», которой было суждено сыграть такую значительную роль в его «деле». Около Воынского создался кружок единомышленников: придворный архитектор Петр Михайлович Еропкин (в романе Петрокин), морской офицер Федор Иванович Соймонов, горные инженеры — Андрей Федорович Хрущов (в романе Щурхов) и Василий Никитич Татищев — один из первых историков России. Позже к кружку примкнули: Александр Львович Нарышкин (брат первой жены Воынского), русский посол в Лондоне, а позже в Париже, — Антиох Дмитриевич Кантемир, генерал-лейтенант князь Григорий Алексеевич Урусов, сенатор Василий Яковлевич Новосильцев и президент коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин (в романе граф Сумин-Купшин). Необходимо также отметить тайного кабинет-секретаря Эйхлера (выведен в романе под тем же именем) и секретаря иностранной коллегии де ля Суда (в романе Зуда). Были также связаны с кружком Воынского несколько гвардейских офицеров, вологодский и псковский архиереи, врачи Поганкин и Белль д'Антермони, который ездил когда-то с Воынским в Персию, а также придворный врач цесаревны Елизаветы Петровны — Лесток. Надо особо подчеркнуть участие последнего. Известная ориентация кружка Воынского на «дщерь Петрову», будущую императрицу Елизавету Петровну, была позже выяснена следствием.

В кружке Воынского не просто толковали о политике, но питали к ее проблемам и теоретический интерес, там были знакомы с новейшей политической литературой Запада, в библиотеках членов кружка имелось произведение Макиавелли «О государе», там читались комментарии на Тацита и политические трактаты голландского писателя Юста Липсия (1547—1616). Там знакомились с произведениями итальянского сатирика XVI века Баккалини и немецкого правоведа XVII века Басселя. В библиотеках Воынского и его кружка находились также списки русских летописей и хронографов.

Члены кружка Воынского хулили режим бироновщины, сравнивали царствование Анны с кануном «смутного времени». Воынский отзывался «с поношением о высокой фамилии ее императорского величества», восклицал: «Ой, система, система!», жаловался, что житье пришло «хуже собачьего». «Государыня у нас дура, — говорил Воынский, — как докладываешь, резолюции от нее никакой не добьешься»<sup>1</sup>.

Компания Воынского принимала деятельные меры против предполагавшегося брака сына Бирона — Петра — с племянницей

---

<sup>1</sup> Ю. В. Готье. Проект о поправлении государственных дел Артемия Петровича Воынского, «Дела и дни», т. 3, Пг., 1922.

Анны Иоанновны, что крайне укрепило бы влияние Бирона при дворе. В исторических сочинениях Юста Липсия приятели находили характеристики, приложимые к их современности. Юст Липсий сравнивает неаполитанскую королеву XV века Иоанну II с Клеопатрой и развратной Мессалиной. Против этого места Волинский написал на полях, явно намекая на Анну Иоанновну: «Она! Она! Это она!»

Волинский сам являлся автором ряда сочинений на философские и политические темы, дошедших до нас, к сожалению, только в своих заглавиях. Но и заглавия характерны, отражая его интересы: «О приключившихся вредах особым государю и всему государству и отчего приключились и происходят», «О гражданстве», «О дружбе человеческой», «Надлежит ли иметь мужским персонам дружбу с дамскими?», «Каким образом суд и милость государям иметь надобно». Особо значителен «Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел», составленный Волинским при помощи Еропкина и Хрущова. Надо отметить, что императрица знала об этом проекте, извлечение из него было ей представлено.

В подлиннике «Генеральный проект» не дошел до нас, так как Волинскому удалось сжечь рукопись перед арестом. Но находящиеся в деле Волинского извлечения из «Генерального проекта» могут дать известное представление о его содержании. Проект распадался на части: «об укреплении границ и об армии, о церковном чине, о шляхетстве, о правосудии, об экономии». По мнению Волинского, правление в Российской империи должно быть монархическим с широким участием дворянства — шляхетства. Дворянство должно было считаться, по проекту Волинского, первенствующим сословием в государстве. Восстанавливалось то значение сената, которое он имел при Петре I. «Нижнее правительство» должно было состоять из представителей низшего и среднего шляхетства. Проект Волинского высоко ставил грамотность и общее образование, предусматривал создание академии и университета. В нем доказывалась необходимость издания свода твердых судебных правил вместо многочисленных разрозненных и часто противоречивших друг другу царских указов. Проектировался ряд финансовых мер по улучшению сбора налогов. Все государственные должности предполагалось замещать исключительно русскими. Это была борьба за национальную Россию помещиков и купцов, которую так высоко вознес Петр I.

Волинский является сторонником просвещенного абсолютизма. Классовое существо его требований не выходит из круга дворянской, феодальной идеологии, но в рамках феодального развития XVIII века его программа прогрессивна и нацелена на борьбу с реакционной политикой всеильного временщика Бирона и ничтожной Анны Иоанновны, ни в какой степени не походивших на

представителей «просвещенного абсолютизма». Защита «просвещенного абсолютизма» сочетается у Вольтерского с требованием широкого привлечения к участию в правлении представителей дворянства. Дворянство в целом должно было воспрепятствовать захвату власти отдельными кучками олигархов и узурпаторов. Все российское дворянство должно было, по мнению Вольтерского и его «конфидентов», участвовать в управлении страной. Сенат следовало «приумножать членами» и частью передать в его ведение дела кабинет-министра. Все должности в государственном аппарате должны были замещаться исключительно представителями «благородного сословия». Дворян надо посылать для обучения за границу и из этих образованных русских дворян и назначать в будущем министров, а не из числа иностранцев («чтоб свои природные министры со временем были»). Даже священники должны быть исключительно русскими дворянами, потому что вне дворянской среды нельзя найти образованных людей. Вольтерский выступал вместе с тем в защиту интересов купечества, полагая, что господствовавшая система причиняла торговому делу в России «немалые разорения». Требовал Вольтерский также «размножения фабрик и заводов». Безумной роскоши двора Анны Иоанновны и Бирона Вольтерский противопоставлял требования строгой экономии и упорядоченного бюджета,— во всем необходимо было иметь «умеренность» и стремиться, «дабы расходы доходов не превосходили».

Эта программа, взятая в целом, не могла идти ни в какое сравнение с политикой Бирона, была противопоставлена бироновщине, прогрессивна для того времени и в ряде требований национальных отражала процесс консолидации русской нации.

Дворянский характер программы Вольтерского приходится особо подчеркивать в связи с теми значительными художественными преувеличениями, которым она подверглась в романе Лажечникова. Все говорит за то, что национализм реального, исторического Вольтерского был лишь частью его идеологии; ее существом была прежде всего защита русского дворянства и борьба сторонников более широкого и планомерного участия дворян в мероприятиях власти, а также ряд нововведений в пользу провинциального дворянства. Существо власти Вольтерский менять не собирался. Патриотизм Вольтерского не только преувеличен Лажечниковым, но и трактован им в духе передового дворянского патриотизма «после наполеоновского» времени, из которого в дальнейшем вырастает дворянская революционность декабристов.

Подозрения Остермана, видевшего в Вольтерском опасного соперника, дали свои результаты уже в 1739 году. Но на первых порах дело ограничилось сравнительно небольшими неприятностями — жалобами на Вольтерского по конюшенному ведомству. Вольтерскому удалось поправить дело и восстановить свое влияние при дворе. Именно к этому времени относится начало романа, застаю-



щее Волинского еще в момент значительного могущества, по приказанию царицы организующего увеселения, связанные с ледяным домом, где праздновалась «женитьба» придворного шута Голицына на калмычке Бужениновой. «Свадьба» состоялась 6 февраля 1740 года. Праздник очень понравился Анне Иоанновне, и Волинский опять вошел в милость, но ненадолго. Недруги Волинского довели до сведения императрицы дело об избииении в покоях Бирона поэта Тредьяковского. Это избиеение Бирон счел за свое персональное оскорбление. Вместе с делом о Тредьяковском до сведения императрицы довели и противоположительственные речи Волинского. Остерман и Бирон требовали суда над крамольником, Бирон для усиления «вины» Волинского и для ускорения хода дела прибегнул к решительному способу, заявив Анне Иоанновне: «Либо мне быть, либо ему».

Волинскому запретили являться ко двору в первых числах апреля 1740 года. Враги обновили в памяти царицы старое дело (1737) по обвинению Волинского в присвоении им семисот рублей казенных денег, которые взял из конюшенной канцелярии дворецкий Волинского — Василий Кубанец — якобы «на партикулярные нужды» своего господина. Эти старые вины были лишь предлогом. 12 апреля 1740 года Волинского подвергли домашнему аресту, а через три дня началось следствие по его делу.

Главным материалом обвинения послужили доносы Василия Кубанца, сделанные, конечно, под пыткой. Кубанец донес о противоположительственных речах Волинского, о его словах о вреде немецкого правительства, о намерении убить Бирона и Остермана. Все это звучало куда важнее первоначальных обвинений в растратах и было как раз то, что нужно было Бирону. Под пыткой и «конфиденты» Волинского подтвердили самые страшные политические обвинения. Волинский был обвинен в попытке государственного переворота и даже в желании самому занять российский престол, что, конечно, не соответствовало действительности. Об этом желании показали под пыткой Хрущов, Еролкин и Соймонов. Но Волинский даже в застенке, под ударами кнута, под пыткой такого опытного заплочных дел мастера, как Ушаков, не подтвердил этого последнего обвинения.

Генеральное собрание суда над Волинским постановило 19 июня 1740 года: 1) Волинского, яко начинателя всего того злого дела, живого посадить на кол, вырезав у него язык. 2) Его «конфидентов» четвертовать, а затем отсечь им головы. 3) Именья конфисковать. 4) Сына и двух дочерей Волинского сослать на вечную ссылку.

Императрица «смягчила» приговор. На основании этого «смягчения» 27 июня 1740 года и была произведена казнь Волинского. Она произошла близ Петропавловской крепости, на Петербургской стороне, на Сытном рынке. Осужденных вывели в восьмом часу

утра из Петропавловской крепости. Нижняя часть лица кабинет-министра была повязана окровавленной холщовой повязкой—в крепости у него вырвали язык. На дыбе во время пытки была вывихнута его правая рука — она висела без движения. Над Волынским совершили мучительную казнь четвертования. Хрущову, затем Еропкину отрубили голову, Соймонова и Эйхлера наказали кнутом, а де ля Суда — плетью. Больного подагрой графа Мусина-Пушкина не выводили на место казни, язык вырезали ему в Петропавловской крепости, в каземате. После этого Соймонов был отправлен в Охотск, Эйхлер — в Жиганский острог (за Якутском), де ля Суда — на Камчатку, а граф Мусин-Пушкин — в Соловецкий монастырь. Тела казненных в течение часа пролежали на эшафоте, потом были похоронены без церковных обрядов в ограде церкви Самсония-странноприимца.

В. Г. Белинский в начале 1839 года посвятил обширную статью-рецензию «Ледяному дому», который вышел в 1838 году вторым изданием<sup>1</sup>. Он отметил достоинства и недостатки романа «Ледяной дом», справедливо указал на известную «двойственность» сюжета, некоторые неслаженности в ходе действий, неубедительность отдельных второстепенных персонажей (старой цыганки и др.) и в некоторых случаях на растянутость, а подчас и «цветистость» слога, но в целом отозвался о романе с высокой похвалой, считая Лажечникова «лучшим русским романистом». Написанная в тяжелую пору насильственного «примирения с действительностью», рецензия В. Г. Белинского сама по себе — документ довольно сложный. Он почти совсем уклонился от рассмотрения общественного содержания избранного сюжета, и подчеркнул, что Волынский у Лажечникова «человек глубокий, могучий духом, пламенный патриот, душа чистая, благородная, но легкий, ветреный тонкий политик и мальчик, не умеющий совладать с самим собою, государственный муж — и волокита, гуляка праздный. Соединение таких противоположностей очень возможно». Но от анализа исторического Волынского и от анализа художественного воплощения общественной тематики Белинский отказался и «самым лучшим лицом» в романе признал Мариорицу. Это — «дитя пламенного юга, дочь цыганки, питомица гарема, дивный цветок востока, расцветший для неги, упоения чувств и перенесенный на холодный север». Подчеркивая, что «поэт не судья, а свидетель», и считая, что «моральная точка зрения на жизнь и поэтический взгляд на нее — это вода и огонь, взаимно себя уничтожающие», Белинский не захотел раскрыть связь романа с эпохой и выяснить отражение в нем социальных проблем, тревоживших современников. Но он все же отметил жарким словом сочувствия пламенный патриотизм невинно казненного самодержавцем героя.

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III. М. 1953. с. 7—23.

Для современного читателя не составит никакого труда знакомство с историей Волынского и вообще с историей царствования Анны Иоанновны. У нас под руками и солидные тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, работы И. Шишкина, Д. Корсакова, Ю. Готье и большое количество официальных и мемуарных источников, относящихся к эпохе. Любой общий курс истории России, захватывающий XVIII век, расскажет вам о царствовании Анны Иоанновны и о Волынском. Но не так обстояло дело во время И. И. Лажечникова. Общие исторические труды его времени по истории России доходили в лучшем случае лишь до таких «новых времен», как «смута», или даже до царствования Бориса Годунова, не далее. Это была, как правило, самая крайняя грань, до которой продвигалась новейшая история. Таким образом, Лажечников с точки зрения своих современников выбрал для своего романа сравнительно позднюю, так сказать «недавнюю» тему, которая еще не достигла в то время своего столетнего юбилея.

Малая изученность этой темы привела Лажечникова к большой работе над первоисточниками — он штудировал записки Манштейна, Корфа, Э. Миниха и работал над тем толкованием дела Волынского, которое сложилось в литературе ко времени написания его романа.

Лажечников далеко не случайно выбрал эту тему — она была для начала XIX века злободневной и политически насыщенной. Говорить о деле Волынского значило гозорить о самодержавии, и больше того — о преступлении, совершенном самодержавием, о казни невинного человека. Говоря о гнусности правления Анны Иоанновны и мрачной биреновщины, легко можно было напомнить читателю о самодержавном произволе николаевского царствования, о политическом сыске, о III отделении, о страшном возгласе «слово и дело», косившем любой живой росток. Первая половина тридцатых годов XIX века, когда Лажечников работал над романом, была тяжелым временем — только что было подавлено польское восстание, залиты кровью «холерные бунты», разгромлены студенческие кружки, исключен из университета В. Г. Белинский, сослан А. И. Герцен. В этих тяжелых условиях разгула самодержавной реакции Лажечников не побоялся взяться за тему о Волынском, более того — оказаться пропагандистом образа Волынского в его декабристской трактовке.

В ходе развития движения декабристов и родилась в двадцатых годах XIX века поэтическая трактовка образа Волынского, которая принадлежит К. Ф. Рылееву. Поэт-декабрист поднял образ Волынского до уровня высокого революционного символа эпохи декабристского движения. Волынский в его изображении прежде всего образец «любви к отечеству священной», борец против тирании, пламенный патриот, сын России, символ политического муче-

ничества. Глубокий, приподнятый до пафоса патриотизм декабристов был воспет их поэтом в образе Воынского.

Рылееву принадлежат два больших стихотворения — «Воынский» и «Видение императрицы Анны». Последнее стихотворение в одном из списков имеет заглавие «Голова Воынского».

Стихотворение «Воынский» первоначально было напечатано в «Новостях литературы» за 1822 год<sup>1</sup>. (Возможность опубликовать стихотворение в 1822 году была, очевидно, облегчена тем обстоятельством, что императрица Екатерина II, признав, что Воынский казнен невинно, этим легализовала крайние высказывания о деле Воынского.) В 1825 году стихотворение было перепечатано в сборнике Рылеева «Думы». Оно, конечно, было хорошо известно И. И. Лажечникову. Возможно, что именно оно могло вдохновить его на этот роман, обусловить самый выбор сюжета. Эпиграф к «Эпилогу» «Ледяного дома» и взят как раз из этого стихотворения. Из цензурных соображений Лажечников не мог поместить под ними имени повешенного царем К. Ф. Рылеева, но все же надо удивляться смелости автора «Ледяного дома»: в то время, когда поэзия Рылеева находилась под строжайшим запретом, он решился избрать его крамольные строки эпиграфом к завершающей части романа:

Сыны отечества! в слезах  
Ко храму древнего Самсона!  
Там, за оградой при вратах,  
Почиет прах врага Бирона.  
Отец семейства! приведи  
К могиле мученика — сына:  
Да закипит в его груди  
Святая ревность гражданина!

Стихотворение «Голова Воынского, или Видение императрицы Анны» написано Рылеевым осенью 1822 года. Оно не было напечатано при жизни Рылеева, очевидно, из-за цензурных условий. Но 16 декабря 1822 года Рылеев читал это стихотворение в заседании «Вольного общества любителей российской словесности»<sup>2</sup>. Оно распространялось в списках. Можно предположить, что такой список имелся и у Лажечникова.

Обрисовка Воынского как патриота, подлинного сына своей родины, борца с тиранами, как народного героя, пошедшего на смерть за свои убеждения, насквозь пронизывает образ, данный Рылеевым, в стихотворении «Воынский»:

Не тот отчизны верный сын,  
Не тот в стране самодержавья  
Царю полезный гражданин,  
Кто раб презренного тщеславья!..

<sup>1</sup> К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч., «Academia», 1934.

<sup>2</sup> К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч., «Academia», 1934.

Но тот, кто с гордыми в борьбе  
Наград не ждет, и их не просит,  
И, забывая о себе,  
Все в жертву родине приносит.  
Против тиранов лютых тверд,  
Он будет и в цепях свободен,  
В час казни — правотою горд  
И вечно в чувствах благороден...  
...Вражда к тиранству закипит  
Неукротимая в потомках —  
И Русь священная узрит  
Неправосудие в обломках.

Важно отметить и в этом пламенном образе одну характерную черту, несколько умеряющую эту пламенность и позже вошедшую и в роман Лажечникова. Волинский в этом произведении Рылеева борется не против тиранства самодержавия, а против тиранства слуг самодержавия. Царица неприкосновенна даже в этом стихотворении:

Стран северных отважный сын,  
Презрев и казнь и Бироном,  
Дерзнул на пришлеца один  
Всю правду высказать пред троном:  
Открыл царице корень зла,  
Любимца гордого пороки,  
Его ужасные дела,  
Коварный ум и нрав жестокий.

Но в стихотворении «Видение императрицы Анны» возникают уже и иные мотивы. Здесь в центре — Анна, ее преступление, и упрек мертвой головы Волинского адресован непосредственно ей — носительнице самодержавия. Сравнение двух трактовок — цензурной и не прошедшей цензуры — ярко показывает нам, как строился образ вне цензурных стеснений и какие именно мотивы вводились из соображений цензуры. Царицу Анну мучит тоска, она уходит одна в тронный зал, опирается рукой о трон и видит внезапно перед собой отрубленную голову Волинского. Кровь каплет на помост, на котором стоит царский трон.

Рисует каждая черта  
Страдальца славного отчины...  
Вдруг посинелые уста  
Залепетали укоризны:  
«Что медлишь ты?.. Давно я жду  
Тебя к творцу на суд священный,  
Где каждый воспримет мзду:  
Равны там раб и царь надменный!..»

Окончив грозные слова,  
Попрежнему из мрака ночи  
Вперила мертвая глава  
В царицу трепетную очи...

Лажечников не мог пойти по идейному пути «Видения императрицы Анны» — он воспринял и развил трактовку стихотворения «Волынский», усилив в ней момент «неприкосновенности» императрицы, введенный Рылеевым из соображений цензуры.

Если сопоставить рылеевскую трактовку с историческим образом Волынского — бросится в глаза большое различие. Если сопоставить трактовку образа Волынского у Лажечникова и у Рылеева — несомненно разительное сходство. И тут и там Волынский — прежде всего пламенный патриот, выше всего ставящий свою родину и готовый все принести в жертву. У Лажечникова — тот же пафос в трактовке и то же упрощение исторического сюжета в угоду основному замыслу. Но в романе рылеевский образ Волынского все же прошел через две призмы — через призму собственного либерализма Лажечникова, далекого от каких бы то ни было революционных дерзаний, и через учет Лажечниковым цензурных требований. Поэтому великий патриот и сын родины Волынский был резко противопоставлен не Анне Иоанновне и Бирону, а лишь одному последнему. Самодержавие нельзя было задеть решительно и резко. В романе Волынский считает своим патриотическим долгом «открыть глаза» государыне: все зло, причиняемое России Бироном, происходит якобы без ведома царицы. Этот мотив подчеркнут Лажечниковым: «Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами. Несчастия России, если и вполнину существовали, как ей изобразили, налегали на грудь ее, и без того растерзанную болезнями и привычкою к предмету недостойному. Освободиться, однакож, от него не имела сил» (ч. IV, гл. 1). Цели своей — сообщить царице о преступлении Бирона — в романе Волынский добился: «Вскоре потребовали Волынского во дворец. Тут имел он уж случай развернуть пред государыней со всем усердием верноподданного и горячностью истинного патриота картину ужасных зол, которыми Бирон отягчил Россию...» (ч. IV, гл. VI). Но дальнейший ход событий в романе говорит за себя: хотя Волынский и довел обо всем до сведения царицы, его казнят. Таким образом, проведенное Лажечниковым политическое смягчение рылеевской трактовки все же не изменило ее — образ по существу остался рылеевским.

«Как? — восклицает Волынский в разговоре с Зудой, — из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй — ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества, слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого!.. система доносов и шпионст-

ва, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека — движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая — Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем, — этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни?..»... (ч. I, гл. V).

Важно отметить и то, что попытка противопоставить политическую деятельность Волынского его «преступной страсти» к Мариорице оканчивается сюжетно у Лажечникова победой линии политической. Мариорица гибнет, а Волынский идет на плаху. Его образ увенчан в романе чертами именно политического мученика, а не несчастного любовника, — таков финал.

Трактовка Бирона у Лажечникова является рылеевской. Бирон выдержан в романе в духе мрачного, кровавого злодея. Бирон — немецкий феодал, временщик-иноземец, ненавидящий все русское. В его поступках личное коварство, жестокость и адская хитрость — на первом плане. Создавая образы Волынского и Бирона, Лажечников принял трактовку, данную Рылеевым и молодым Пушкиным, для которых Бирон был прежде всего ненавистный иноземец и временщик, презренный и мрачный злодей:

Презренного злодея меч  
Сверкнул над выей патриота,  
Сверкнул — глава упала с плеч  
И покатилась с эшафота.  
И страх и тайную тоску  
Льстецы в душе презренной кроя,  
Чтоб угодить временщику,  
Торжествовали казнь героя.

В 1822 году Пушкин писал в «Заметках по русской истории XVIII века» об азиатском невежестве, которое обитало при российском дворе, и в примечании заметил: «...Доказательство тому — царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елизаветы».

И. И. Лажечников со всей страстностью отстаивал свою «декабристскую» трактовку образов Бирона и Волынского. Волынский был и остался для него прежде всего русским патриотом. Важно отметить, что Лажечников оценил прогрессивную черту реального исторического Волынского — его борьбу против кучки немецких временщиков — и противопоставил патриотизм Волынского корыстному самоуправству Бирона в чужой стране. Свое суждение он основывал на исторических фактах.

В своем ответном письме Пушкину в 1835 году, — даже скорее не письме, а целом историческом трактате, — Лажечников со всем

жаром защищает старую — двадцатых годов — рылеевскую традицию в трактовке образа Бирона. Пушкин, бросивший в письме к Лажечникову неосмотрительные слова об уме и «талантах» Бирона, встретил страстную отповедь «русского Вальтера Скотта»: «Кстати, пункт третий: сам Бирон. О! никакое перо, даже творца Онегина и Бориса Годунова, не в состоянии снять с него позорное клеймо, которое история и ненависть народная, передаваемая от поколения к поколению, на нем выжгли... Если можно простить злодеяние за ум и таланты, я готов бы извинить за них злодейства Ришелье. Но какой ум и какие таланты правителя народного имел Бирон? То и другое должно доказываться делами. Что же славного и полезного для России сделал временщик?.. Разве то, что он подвинул назад границы наши с Китаем, до того зарубленные по Амур? Что отдал персам завоевания Петра?.. Быть может, какой-нибудь лихой наездник-историк велит нам снять шапку пред его памятью за то, что он, ничтожный выходец, умел согнуть Петрову Россию в бараний рог и душил нас, как овец? Или, может статься, велят нам увидеть его ум и великие таланты в мастерской его езде верхом на разные манеры, или в том, что он имел дерзость сесть не в свои сани?..»<sup>1</sup>. В этом споре историк, на мой взгляд, не может не присоединиться к Лажечникову.

Несомненно, что в романе «Ледяной дом» отблески идеологии декабризма значительно смягчены, переплетены с «верноподданнической лезть», с неопасным для цензуры умереннейшим либерализмом, но все же литературовед, исследующий роман Лажечникова, не сможет обойти молчанием эту сторону романа. Разбросанные то тут, то там эпитафии из произведений декабриста Бестужева-Марлинского, неподписанный эпитаф из «Волынского» Рылева перед «Эпилогом» — все это еще раз напоминает о декабристах.

Одной из центральных фигур романа, изображение которой, по-видимому, особо трудно далось автору, является императрица Анна Иоанновна. Ее образ у Лажечникова далеко не совпадает с исторической действительностью.

Мы уже выяснили, почему ее фигура не могла быть опорочена: порочить носительницу самодержавия, императрицу — это погубило бы роман в глазах цензуры. Поэтому Лажечников не поспешил на изъявление верноподданнических чувств, адресованных Анне Иоанновне. Даже при описании ее «смуглого и рябоватого» лица Лажечников добавляет эпитет «величавого». Невнимательность к государственным делам все время извиняется болезненностью и плохим состоянием здоровья царицы, предчувствием близкой смерти и т. п. Но как ни раскланивается Лажечников перед образом

---

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., переписка 1835—1837 гг., XVI. М. 1949, с. 65.



«самодержницы», он изобличает ее фактами. И «родины козы», и страсть к Бирону, и мимоходом упомянутая расправа с Балакиревым — все это факты, дискредитирующие, разоблачающие самодержницу. Казнь Волинского, конечно, последний и самый решительный пример этого разоблачения.

Трактовка образа В. Тредьяковского у Лажечникова — пример исторически неверного и тенденциозного подхода. Образ нарисован в романе одной черной краской. Тредьяковский у Лажечникова — педант, полнейшая бездарность, скопище самых отрицательных черт. Между тем этот трудолюбивейший и очень культурный для своего времени стихотворец и литературный теоретик усердно работал в обстановке мрачного феодального режима и при наличии неразработанности русского литературного языка. Его стихотворные произведения очень слабы, но заслуги его в изучении нового русского стихосложения несомненны. В его требовании писать «простым русским словом, каковым мы между собой говорим», было заложено зерно большой поэтической истины. Он положил основы нового русского стихосложения, изучив переход от силлабического к силлабо-тоническому стиху. Его произведение «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» и ряд других теоретических работ правильно предугадали основную линию развития будущего русской поэзии. Избиение Тредьяковского Волинским вызвало жалобу поэта в Академию наук. Эта жалоба является одним из потрясающих человеческих документов, вызванных феодальным угнетением. Поэтому замечательны своей правдивостью строки Пушкина о Тредьяковском в письме к Лажечникову от 3 ноября 1835 года. «За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волинского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя».

Эпоха, в которую жил Лажечников, ворвалась в роман не только в трактовке основных образов, но и некоторыми второстепенными его деталями. Характерное свидетельство оставила Татьяна Пассек, познакомившаяся с И. И. Лажечниковым в Твери. Она рассказывает в своих воспоминаниях, чьи черты И. И. Лажечников присвоил облику тайного советника Щурхова (Хрущова), сообщника Волинского.

«С первого дня нашего знакомства с Иваном Ивановичем мы так сблизились, что в продолжение почти трех месяцев, проведенных нами в Твери, редкий день с ним не виделись. В этот-то период времени Иван Иванович писал свой роман «Ледяной дом» и постоянно читал нам из него отрывки в рукописи, входя так глубоко в роли героев и в события, что чувства, мысли их отражались в чертах его лица, и картины оживали. Лажечникова чрезвычайно за-

бавляли наши рассказы о странностях, оригинальных капризах и выходках Ивана Алексеевича Яковлева (отца Герцена). Его уединенный образ жизни, три польские собачки, постоянно находившиеся при нем и, с того времени, как Александр (Герцен) поступил в университет, а я вышла замуж, заменявшие нас, его поношенный халат на мерлушках, красная шапочка с лиловой кисточкой, мешанье в печи дров — все это так понравилось Лажечникову, что он принарядил этими странностями добродушного чудака советника и при нас уже вместил в свой «Ледяной дом».

Но этим дело не ограничивается: вошли в «Ледяной дом» и пушкинские образы. Их встречаем мы в эпиграфах, они также входят и в органическую ткань романа. «Где ж маменька ужасного честолюбца? — вопрошает Лажечников, описывая окружение Волынского и упомянув о молодом Подачкине. «Видите ли направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темнокоричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета?» (ч. I, гл. I). Тот же образ настойчиво всплывает и при описании той же барской барыни Подачкиной: «Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться» (ч. III, гл. II).

Пушкинская «Пиковая дама» написана в 1834 году и была для Лажечникова в момент написания романа самой свежей литературной новинкой. Нельзя не заметить кстати, что сравнение барской барыни Подачкиной с графиней «Пиковой дамой» крайне поверхностно и может быть понято лишь как не совсем удачное ироническое сравнение.

В отличие от позднейших исторических романистов Лажечников почти не пытается делать речь своих героев соответствующей эпохе. Его придворные и сама императрица говорят языком николаевского двора. Попытки ввести в роман моменты исторической перспективы крайне слабы у Лажечникова. Он отмечает, что во времена Анны Иоанновны «самоваров тогда еще не было» (ч. III, гл. V). Он пытается дать читателю почувствовать внешнюю разницу между Петербургом Анны Иоанновны и Петербургом николаевского времени: «Какой мороз! — сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. — Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки; здесь опять палаты, и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А между ними луга да площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее!» (ч. I, гл. II).

При описании маскарада Лажечников сообщает: «...тут был полный доморощенный маскарад, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изыщны; зато они веселились не равно-

душно, не жеманно» (ч. I, гл. VII). Ту же цель преследует мимоходом сделанное замечание о расположении комнат в доме Волынского: «В тогдашнее время не было в домах ни мужниной, ни жениной половины; все было между ними общее» (ч. IV, гл. III). Но эти внешние и случайные упоминания, конечно, не дают исторической перспективы — они лишь подчеркивают, что перед автором собственно и не стояло такой задачи.

В самой манере изложения Лажечникова и в направленности его мысли чувствуется ориентировка на читателя, принадлежащего к «приличному» и «воспитанному» обществу. «...убегают русалки, с распущенными волосами, в одежде по моде русалок, какую они в подводном царстве употребляют», — шутит Лажечников специально для «прекрасного пола» своего времени, занятого модами (ч. II, гл. V).

Автор отчетливо представляет себе своих читательниц и их реакцию на все «опасные» места его произведения. Он даже пускается в разговоры с этим предполагаемым читателем, вступает с ним в салонно-шутливые объяснения. Особо нагляден пример с описанием того, как отнеслась Мариорица к записке Волынского.

«...Мариорица ошупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви; наконец, поцеловать раз, еще раз, нежно, страстно, роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца, — вот что делала Мариорица и что делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви (пожалуй, если угодно, от жениха!)».

И Лажечников немедленно вступает в переговоры с читательницами:

«Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копьями своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда! неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!»

Виноват, виноват: я пошутил; и если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме» (ч. I, гл. VIII).

Попытался Лажечников провести в романе и слабую, завуалированную проповедь свободы чувства. Исследователь творчества Лажечникова С. Венгеров даже сравнивает в этом отношении Лажечникова с Жорж Санд: «Разве не этот принцип сделал всемирно известным имя Жорж Санд»<sup>1</sup>. Конечно, подобное сравнение

<sup>1</sup> С. Венгеров. Иван Иванович Лажечников (Критико-библиографический очерк). — И. И. Лажечников. Собр. соч., т. 1. СПб.— М., 1901, с. XCIV.

крайне преувеличено и Лажечниковым не заслужено. Традиция сочувствия несчастным любовникам, которые в силу семейных, религиозных или каких-нибудь других причин не могут соединиться, была свойственна огромному числу литературных произведений, предшествовавших Лажечникову. Но верно то, что Лажечников проявил такую горячую симпатию к жертвам светских условностей, что она оказалась очень яркой и характерной чертой его романа. Белинский обратил на это внимание и пришел к выводу, что Мариорица любила Волинского, «как восточная женщина»: С. Венгеров в этом случае, в общем, справедливо возражал Белинскому, что «Мариорица любила не как восточная женщина, а как европейская, и именно того фазиса европейской мысли, когда было сознано, что только сама же любовь может устанавливать для себя законы»<sup>1</sup>.

Вопрос об отношении цензуры к роману Лажечникова остался, к сожалению, до сих пор не исследованным. В единственной монографии, посвященной Лажечникову, — принадлежащей С. Венгерову, — вопрос этот совершенно не затронут. Е. М. Шуб, впервые поднявшая архивные материалы цензурных дел о Лажечникове, освещает цензурную историю романа ««Ледяной дом»»<sup>2</sup>.

Надо добавить, что Лажечников ухитрился в романе об эпохе императрицы Анны Иоанновны вставить комплимент, прямо и непосредственно адресованный не кому иному, как... Николаю I. Описывая знаменитые «родины козы», Лажечников доходит до момента, когда дерзкие «взбунтовавшиеся» вельможи кружка Волинского не желают дать на зубок новорожденному. Шут Педрилло передает им требование царицы, но дерзкие недвижимы. Что это? бунт? Что делать царице? «Петр, Екатерина и... (умолчим: он жив — живым хвала столько похожа на лесть) пошли бы навстречу беде. Так делают великие духом; но Анна Иоанновна была больная женщина, и любимец ее умел пользоваться ее немощами. Оторопев и бледнея, она шепотом просила его усилить свои предосторожности на случай худого намерения» (ч. III, гл. VII). Как видно, чрезвычайно прозрачный намек на Николая I позволил Лажечникову нелестно высказаться об императрице Анне Иоанновне.

Но было бы неправильно не отметить той общей черты романа, о которой уже говорилось в связи с частным случаем — обрисовкой в романе образа императрицы Анны Иоанновны: несмотря на общий тон «политической благонадежности» автора и комплиментов самодержавию, роман часто оперировал образами отнюдь не в пользу последнего. В этом легко убедиться на ряде примеров, показывающих социальную заостренность положений в романе Лажечникова. Чего стоит, например, одна замечательная сцена той

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> См. примечания в настоящем издании.

страшной ночи, на которую была обречена шутовская свадебная пара, покинутая в ледяном доме. «Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине, на ледяных свечах; но этот фосфорный огонь не греет — вот и он слабее перебегает по ледяным дровам, цепляется за них, бьется, умирая, исчезает... Холодно, мрачно, как под землею! Сердце замерло... Нет более сил выдерживать. Стучатся в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их, припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб не забыть их благодетелей, обещаются озолотить их. Ничто не помогает. Отчаяние берет верх. От мольбы переходят к проклятиям; все проклинают, что только носит имя человеческое; ломают и уничтожают все, что могут разломать и уничтожить, слятся разрыть стену... наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель... Глаза слипаются, дремота одолевает их более и более; смерть уже протягивает на них руки, усыпляет их, убаюкивает сказками, сладкими видениями; еще одна минута... и они заснули бы навеки» (ч. IV, гл. V).

Эта картина страшного конца царицыной забавы говорила сама за себя.

Отвратительное пресмыкательство придворных кругов разоблачено в образе Подачкиной: «Ведь мой Петенька еле-еле не князь, ходит у ручки государыниной и при сучке ее величества, и коли задумает, так и самому Волинскому несдобровать» (ч. III, гл. II). В романе то встретим мы гайдука, танцующего на морозе и посылающего «проклятия всем барским затеям» (ч. I, гл. I), то описание конюшен, бироновских лошадей, житью-бытью которых завидуют люди.

В «Ледяном доме», как и в более ранних произведениях Лажечникова, имеет место протест против крепостного права. Подачкина — шпионка, личность гнусная и отвратительная — была «барской барыней» в доме Волинского. «Заметьте,— пишет Лажечников,— она — *барыня*, но только *барская!*.. Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени». Эта «барская барыня» «...спала и видела, чтобы произвесть своего сына в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь своих людей: высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин!» (ч. I, гл. I). Тот же характер носят мечты госпожи Кульковской — и эти «мечты» особенно ясно показывают отношение Лажечникова к крепостному праву: «...она уж столбовая дворянка, может покупать на свое имя крестьян и колотить их из своих рук... Осмелся кто из крестьян пискнуть перед ней: кликнула — заплочный мастер садится на облучок ее повозки — летят, приехали, и по ее мановению, без дальнего суда, расправа готова. Все дело нескольких целковых и власти боярской. Чудные времена, славные времена!» (ч. IV, гл. V).

Произведение Лажечникова проникнуто чувством глубокого гуманизма. Замечательны страницы, рисующие яркие картины гнета

и издевательства бироновских приспешников и самого Бирона над нерусскими народностями. Образ украинца Горденки, замороженного слугами Бирона, свидетельствует об этом ярче и сильнее всех. Помимо этого, в романе то тут, то там разбросаны отдельные штрихи, рисующие грубое издевательство над личностью человека: в описании шутовской свадьбы и процессии нерусских народов говорится о татарине и татарке верхом «...на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи» (ч. IV, гл. V). Интересна в том же отношении первая глава «Ледяного дома» — смотр согнанных со всех концов национальных пар. «Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанях, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты, в Петербург, в круг полутораэта пар... перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засученная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его... в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека» (ч. I, гл. I).

«Ледяной дом» И. И. Лажечникова — это один из первых русских исторических романов, обладающий живым и ярким историческим сюжетом, образы которого не лишены социальной остроты. В некоторых своих картинах роман верен исторической истине. Но в целом он все же не является исторически точным. «Ледяной дом» органически связан с первой третью XIX века, с эпохой, в которую он написан, и своими основными образами тем-то особенно и интересен для нас, — продолжает литературную традицию декабристов.

В целом роман «Ледяной дом» — живой и волнующий памятник русской культуры. Он имеет все права на внимание советского читателя.

*М. Нечкина*



ЛЕДЯНОЙ  
ДОМ








ЧАСТЬ  
ПЕРВАЯ

Глава I  
СМОТР

Какая смесь одежд и лиц,  
Племен, наречий, состояний!  
Пушкин \*

Поник задумчивой главой.  
Пора весны его с любовью, тоской  
Промчалась перед ним. Красавиц  
томны очи,  
И песни, и пиры, и пламенные ночи,  
Все вместе ожило; и сердце понеслось  
Далече...

Он же \*



Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-егермейстера Волинского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвертом дне святок (заметьте, 1739 года), ныне весь Петербург молчит тишиною келии, где осужденный на затворничество читает и молитвы свои шепотом. После того как не спросить, что за разгулье в одном доме Волинского?

Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни, все богомольцы, продиночке, много

по деое, идут домой, молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют: сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и, того гляди, собеседники отправляются в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплечного мастера \*. Вот, сказали мы, идет народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон; а в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят. до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет? Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чу! да вот и белорусец усердно надувает волынку, жид смычком разогревает цимбалы, казак пощипывает кобзу; вот и пляшут и поют, несмотря, что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба и роя снег от досады, ревом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны!

Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому, продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смешения языков.

— Мордвы! чухонцы! татары! камчадалы! и так далее...— выкликает из толпы по чете представителей народных великий, превеликий или, лучше сказать, превисокий кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно бы показывать на масленице в балагане,— гайдук его превосходительства. Он поместился в сенях, танцуя невольно под шипок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы; на зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. Долой с нее овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей. Тут, не слишком учтиво, оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щеку или нос и, отряхнув каждого, сдает двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным, узорочным перилам. Легкие, как Меркурии \*, они подхватывают чету и с нею то мчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым пана-

прѣм \*, всѣющим на их голове, и за лоснящимся отливом их шелковых чулок, то пинками указывают дорогу неуклюжим воспримышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда, при рассказе о золотой старине, изъясляла сожаление, что мода на бегунов-людей заменилась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы,—говорила старушка,— не знали одышки, оттого-де, что легкие у них вытравлены были зелиями. А одежда, одежда, мое дитяtko, вся, как жар, горела; на голове шапочка, золотом шитая, словно с крыльями; в руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником: махнет ею раз, другой, и версты не бывало!» Но я с старушкою заговорился. Возвратимся в верхние сени Волинского. Здесь маршалк<sup>1</sup> рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настезь, и возглас его повторяется в передней. Боже мой! опять смотр. Да будет ли конец? Сейчас. Вот кастелян и кастелянша, оглядев набело пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты, в Петербург, в круг полутораста пар, из которых нет одной, совершенно похожей на другую одеждою и едва ли языком; перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засуеченная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его.

Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра, ее стремящей; в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека.

---

<sup>1</sup> Дворецкий (прим. авт.).

Было б чему и нашим современникам подивиться в зале вельможи! Глубокие окна, наподобие камер-обскуры, обделанные затейливыми барельефами разных цветов, колонны по стенам, увитые виноградными кистями, огромные печи из пестрых изразцов, с китайскою живописью и столбиками, с вазами, с фарфоровыми пастушками, похожими на маркизов, и маркизами, похожими на пастушков, с китайскими куклами, узорочные выводы штукатуркою на потолке и посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань разыгрывается необыкновенным блеском: на все это и нам можно бы полюбоваться. Бедные дикари не знают, где стоять, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающуюся в налощенном штучном полу. Смешно видеть, как и наши простодушные предки, входя в залу вельможи, принимают картины в золотых рамах за иконы и творят пред ними набожно крестные знамения.

Посреди залы, в богатых креслах, сидит статный мужчина, привлекательной наружности, в шелковом светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома, Артемий Петрович Волынско-й. Он слывет при дворе и в народе одним из красивейших мужчин. По наружности можно дать ему лет тридцать с небольшим, хотя он гораздо старше. Огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение; пригожим девицам мамки, отпуская их с крестным знамением на куртаги<sup>1</sup>, строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынско-го, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра.

Из-за высокой спинки кресел видна черная, лоснящаяся голова, обвитая белоснежною чалмою, как будто для того, чтобы придать еще более достоинства ее редкой черноте. Можно бы почесть ее за голову куклы, так она неподвижна, если бы в физиономии араба не выливалась душа возвышенно-добрая и глаза не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего.

В нескольких шагах от Волынского, по правую его сторону, сидит за письменным столом человек, которо-

---

<sup>1</sup> Приемные дни во дворце (с нем.).

го всего можно бы спрятать в медвежью муфту. Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны; на нем видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увертлив в речах, глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на все ответы. Эта маленькая каракулька, ученая, мудреная и уродливая, как гиероглиф,— секретарь кабинет-министра, Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему с высоты кресел, и собственные свои. Чего Во-лынской не договаривает, то он дополняет.

В отдалении, почти у двери передней, стоит молодой человек. По одежде он не солдат, не офицер, хотя и в мундире; наружность его, пошлую, оклейменную с ног до головы штемпелями низжайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос — достаточный изъяснитель подвигов, совершенных его обладателем, и указатель пути, по коему он идет. Это Ферапонт Подачкин, вольноотпущенный Во-лынского и в должности пристава. Ему-то поручено было доставить в Петербург из Твери сто разноплеменных пар, собранных там с разных мест России,— доставить живьем и незапятнанных морозом. По какой же *протекции* получил он столь важный *пост*? Мать его — *барская барыня* в доме кабинет-министра. Она спала и видела, чтобы произвесть своего сынка в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь *своих* людей: высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин! Во-лынской, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе Подачкиной, помня старые заслуги мужа ее, бывшего его дядьки: за исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. А там, кто ведает, на какую высоту полез бы он, открыв себе ключом четырнадцатого класса врата в капище почестей! \* Надо заметить, что в тогдaшнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского асессора \*,— о, ох! этот уже аттестат! И вот Ферапонт, по батюшке Авксентиевич, близок уже к своей цели. Еще один шаг, одно барское спасибо — и новое ваше

благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотре: или дворянское достоинство, или палки на спину. Он теперь необыкновенно низко повесил голову — признак, что дух его встревожен и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах.

Сравните белое лицо кандидата в благородия и черное лицо невольника: кажется, они поменялись своими назначениями. Где ж маменька ужасного честолюбца? — Видите ли направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета? Она неподвижна своим туловищем, вытянутым, как жердь, хотя голова ее трясется, вероятно от употребления в давнопрошедшие времена сильного притирания; морщинчатые кисти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника; веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на свое создание, на свое сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить: это она, дражайшая родительница драгоценного дитятки.

Мы сказали уже, что Подачкина (по имени и отчеству Акулина Саввишна) — *барская барыня*. Это звание в старину было весьма важное: в него избирались обыкновенно жены заслуженного камердинера, дворецкого, дяльки и тому подобной почетной дворни. Она присутствовала при туалете госпожи своей, заведовала ее гардеробом, служила ей домашними газетами, нередко докладчицею по тайным делам мужниной половины, и играла во дворе *своем* посредническую роль между властителями и слугами. Заметьте, она — *барыня*, но только *барская!*.. Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени. Впоследствии и мелкие дворяне завели у себя такое должностное лицо. Еще и ныне в степной глуши звучит иногда имя барской барыни, но потеряло уже свое сильное значение.

Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале! Уж по этому можно судить, что Вольинской, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его.

— Как думаешь, Зуда? — сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным удовольствием к секретарю

своему,— славный и смешной праздник дадим мы государыне!

— Об нем только и говорят в Петербурге,— отвечал секретарь, привстав немного со стула.— Думаю, что он долгое время занимать будет стоустую молву и захватит себе несколько страниц в истории.

Кабинет-министр дал знак головою, чтобы секретарь садился, и продолжал усмехаясь:

— Разве наш господин Тредьяковский удостоит сохранить его в своих виршах...

— О которых все столько кричат.

— Потому что их никто не понимает.

— Известно, однако ж, что ваше превосходительство с некоторого времени сделались самыми ревностными поклонниками нашего Феба \* и очень частенько изволите черпать в тайнике его.

— Ты хочешь сказать, с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку. Да, бывший надутый школьник Тредьяковский, ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, неоцененный человек; я осыпал бы его золотом: не он ли выучил Мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски?.. И если бы ты знал, какое слово!.. В нем заключается красноречие всех твоих Демосфенов и Цицеронов \*, вся поэзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессору элоквенции! <sup>1</sup> Я ему это обещал и настою в своем слове.

Волынской говорил с особенным жаром; только слова: *молдаванская княжна, Мариорица*, старался он произнести так тихо, что, казалось ему, слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть поймавшей на лету несколько двусмысленных слов, подернуло кошачьею радостью, старался обратить разговор на другое.

— Слышно, что господин Тредьяковский,— сказал он,— действительно собирается описать подробно, в нескольких томах, праздник, который вам поручено устроить.

---

<sup>1</sup> Красноречия! (с лат.)

— Потянемся и мы с тобою, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава!.. Расхохочутся же наши внуки, а может быть, и пожмут плечами, читая в высокопарном слогое, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как бы дело шло об устройстве государства.

— Разве, утешая этим больную владычицу севера, которая столько жалует вас, вы не творите полезного...

— Для одного курляндца... Посмотри, он еще затеет какие-нибудь торжества, игрища, все под видом неограниченной преданности к государыне; но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловче свои штуки...

Барская барыня сделала опять легкую гримасу; сын ее вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Вольнского, но, за недостатком дара божьего, остался при своем недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щелкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему:

— Осмотритесь! вы забыли уроки Махиавереля...\*

Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарем. Первый замолчал; другой свел свои замечания на приходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание.

Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом, наподобие отсеченной сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, рязки из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная коса, роскошь русской девы<sup>1</sup>, с блестящим бантом и лентою из золотой бити\*, едва

---

<sup>1</sup> В Торжке есть поговорка:  
Ты расти, расти, коса,  
до шелкова пояса;  
вырастешь, коса,  
будешь городу краса  
(прим. авт.).



не касается до земли. Ловко накинула девушка на плеча свой парчовой полушубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выкаывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность новоторжской красоты. Богатая *ферезь*\* ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее чичисбей — вы смеетесь? Да, таки чичисбей: <sup>1</sup> горе тамошней девушке, если она его не имеет! Это знак, что она очень дурна: мать сгонит ее с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он неотлучен от нее на вечерних и ночных прогулках. Какой молодец! Удадьство кипит в его глазах: зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторжском побоище. За ними — дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красною шерстью, как будто она исписана кровью; грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов; в ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу\*. Далее миловидная, стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску. Вот и калмык раззевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские; с ним все житье-бытье его — колчан со стрелами и божки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот... Но всех занимательных лиц не перечтешь на сцене.

Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния (заметьте) пригожих женщин,

---

<sup>1</sup> Счаливан\* (прим. авт.).

какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому ж барина пригожего, зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь; черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть; в глазах начали толпиться думы; наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах; действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться; казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшею. Где были тогда думы Вольтинского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства; не бил ли оземь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера; не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя, или, как тать, в ночной глуши, под дубинкой ревнивого мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем также не полагать, что он заседал в Кабинете \*, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснения, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает, может статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру! Где были тогда думы Вольтинского, неизвестно нам; но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные владычествовали попеременно; все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству.

Женатый лет с восемь на пригожей, милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать в свою пользу был большой

искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Воынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветренности он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслию, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Воынский. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже; особенно один новый номер, по необыкновенной важности, требовал больших трудов для очистки.

Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных, и если б порывы пламенной души его не разрушали иногда созданий его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Бирон полосовал его бичом своим, и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудия казни из рук, которым она вверила только кормило своего государства. В то время, когда раболепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв; когда железный уровень беспрестанно наводился над Россиею, один Воынской, с своими друзьями, не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Бирон же, добиваясь

возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть.

Мы оставили нить нашей повести в зале Воынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность — он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя, красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с орлиною пронизательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы бы сказали: такого бравого мужчину желала своей дочери! Можно ли поверить? — кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным! Однако ж это было так: он смутился, как будто пораженный чем-то.

— Чудесная игра природы!.. — воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде. — Замечаешь ли?

— Я видел... только раза три... и поражен необычным сходством, — отвечал секретарь, сощуриив лукаво свои глазки.

Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство; однакож, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взорам кабинет-министра и секретаря его.

— Как тебя зовут? — спросил ее Воынской.

— Мариулой, — отвечала она.

— Даже имя!.. Диковина!.. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое?

— Таланливо \* оно и тем, что полюбилось вашей милости.

— Остайся здесь; я с тобою еще поговорю.

Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись, потом стала позади кресел вельможи, в некотором отдалении.

— Кто далее? — спросил Воынской.

Явилась малороссиянка, одна.

— Где ж пара ее? — был грозный вопрос Артемия Петровича.— Эй, Подачкин! Я тебя спрашиваю.

При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел; матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.

Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал:

— Это пьяница, ваше превосходительство, презлой, и пресердитый, и преуцрямый, ваше превосходительство...

— Так что ж? ты не мог его усмирить?

— Дордогой я уломал было его. Да под Санкт-Петербургом он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство, мы уж и побайвались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.

— Лжешь! тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат: на это была собственная воля государыни.

— Божусь богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться, колодки прелегкие, и коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да еще в крытой кибитке!

— Куда ж он теперь девался?

— Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он невесть как пропал...

— Бездельник! Знаю все... я хотел только испытать тебя... ты продаешь меня фавориту... Гм! людей сбывают, как поганую кошку!.. люди пропадают среди бела дня! Но я отыщу, хотя б мертвого... хотя остатки вырву из волчьей пасти!.. Пора, пора и волка на псарню!

— Саввишна! — прибавил грозно Волынской, взглянув на барскую барыню, — полюбуйся подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело!

Саввишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения:

— Буди твоя барская воля, батюшка! Ты над нами владыка, а мы твои рабы.

— Ты в этих делах не участница, — продолжал Волынской, смягчив голос, — я знаю, ты всегда была

предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило б набить колодки, такие же легонькие. . кабы я не дал себе слова...

— Батюшка! отец родной! — загопила барская барыня, — помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милостивец, служу сколько сил есть, готова за кроху твою умереть... Вот что ты, глупый, наделал, — прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая.

— С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе отец и мать. Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, мой дорогой Зуда, и тебя...

Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила.

— Смотр остальным завтра!

## Глава II ЦЫГАНКА

Я цыганка не простая...  
Знаю ворожить.  
Положи, барин, на ручку,  
Всю правду скажу.  
Опера «Русалка» \*

Волынской, цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление, и Зуда остались втроем. Тогда Артемий Петрович подозвал ее к себе и ласково сказал ей:

— Смолоду ты была, верно, красавицей?

Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела.

— Да, барин, — отвечала она, — в свое время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалось; может статься, иной целовал эти руки, — ныне они черствые и просят милостыню! О! тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не воротить; не соберешь уже цвета облетевшего.

— Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть ее.

— Кабы имела, я сама привела бы ее к тебе на колена. Народила я деток не для свету божьего; да и кста-

ти! не таскаются за мной, не пищат о хлебе. Уложила всех спать непробудным сном.

— Жаль, очень жаль, что у тебя нет взрослой дочери, а то б сличил... Чудесное сходство! Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более... Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке!.. Знаешь ли, Мариула, что ты походишь на одну мою знакомую княжну как розан увядающий на розан, который только что распукивается?

Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы ее побледнели; но она, сияясь улыбнуться, отвечала:

— Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку.

— Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, старые и молодые девки любят ворожить об суженых.

— Так эта княжна живет ео дворце? — спросила Мариула, и глаза ее необыкновенно заблестали, и румянец снова выступил на лицо.

— Под бочком у самой государыни. Государыня ее очень жалует.

— Куда ж нам, воронам, в такие высокие хорсмы! Чай, одышку схватишь, считая ступени вверх по лестнице, — каково ж, когда заставят считать вниз!

— Со мною сойдешь и взойдешь безопасно, только, чур, уговор, поворожить княжне на мою руку, понимашь...

— Понимаю, понимаю, это наше дело!.. Видно, ты больно заразился ею?

— По уши!

— И... наверно, она... также тебя любит?

— Ты ворожея; отгадай сама!

— Изволь, господин талантливый, пригожий; да только и от меня будет уговор: теперь ты должен положить мне золотой на ручку, а за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату.

— Вот тебе рублевик; золотую фату получишь, когда сбудется, о чем говоришь. Чего б я не дал за такое сокровище!

— Побожись, что не обманешь!

— Глупенькая!.. Ну, да будет мне стыдно, коли я солгу.

— Давай же руку свою.

Волынской усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головой, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила ее, долго рассматривала на ней линии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом:

— Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни; были на ваших головах венцы из камня честна, много лобызаний дал ты ей; да недавно ей спели «упокой господи!», дал ты ей заочно последнее земное целование.

Волынской покачал печально головой в знак подтверждения.

— Как будто по-писаному рассказывает,— произнес лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши.

— Деток у тебя нет; тебе их очень хочется.

— Ты вырезала мое сердце и прочла в нем,— сказал, вздохнув, Волынской.— Что ж далее?

— Скоро, очень скоро опять золотой венец!.. твоя суженая девица... рост высокий, черный глаз из ума выводит... бровь дугой... бела, как кипень...

— Скажи лучше, с маленьким загарцем, как чесаный лен; но что твои белянки перед ней!

— Статья может, и ошиблась,— сказала цыганка, покраснев.— Молвлю еще тебе, что она не из земли русской, а из страны далекой, откуда лебеди сюда прилетают...

— О! да это слишком много; ты уж успела поразведать кое-что...

Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания. Мариула, углубясь в рассматривание ладони, продолжала:

— Линии так выходят; не я их проводила! Смотри, береги сокровище; не расточи его своею ветреностию; береги и себя. В твоей суженой не рыба кровь здешних русских женщин... Первое дитя будет у тебя мужеска пола... Далее черты путаются так, что не разберешь! Довольно для руки сердечной; дай мне правую ручку (Волынской передал ей другую руку). Эта владеет мечом-кладенцем, или... перышком, которое, говорят, режет



исподтишка, что твое железо! Правая ручка достает деньги, честь, славу!.. О! для этих вещей забываете вы и про любовь, а наша сестра горюй и сохни!

— Да какая же ты красноречивая!.. Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину!.. Вот теперь-то и запутаешься...

— Попытаемся!.. Слушай же! Ты в силе у матушки-царицы; но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя. Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав, уложи свое сердце. Силою ничего не возьмешь, разве возьмешь лукавством. Выжди-дай всего от времени... Уступай шаг первому: довольно, если будешь вторым...

— Хоть десятым,— воскликнул Воынской вне себя,— но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы ее счастливою.

— А то, смотри, если эта вторая линия напрямик переступит эту первую,— беда тебе!

— В сторону нашего мертвого Махиавеля! — сказал Зуда,— примемся за живого, который, право, дает советы не хуже хитрого секретаря Цесаря Боргия! \*

— Мариула! — произнес ласково кабинет-министр,— ты умна, как хорошая книга, видишь много впереди и назад, похожа на одну особу, которую... я уважаю, и потому мне очень полюбилась.

— Дорога мне твоя ласка, господин, дороже злата и серебра.

— Когда ж ты хочешь... видеть свою двойню?

— Хоть сейчас,— хотела сказать цыганка и удержалась.— Ныне, завтра,— отвечала она,— мне все равно, лишь бы твоей милости в угоду было.

— Ныне я никуда не выеду; но завтра поговорю о тебе, как о славной ворожее, придворным барышням, явись в полдень во дворец, спроси меня,— тебя позовут, я за это берусь.

— Во дворец?.. Меня заранее дрожь пронимает.

— Пустяки!.. Дом с людьми, как и мы!.. Только не забудь условия.

— Коли надо тебе будет приворотный корешок или заговоры...

— Скорей твое лукавство и мастерство на некоторые дела. Смотри! (Воынской положил палец на свои губы.)

— Не бойся, барин; ты попал не на такую дуру! Если б пытали меня, скорей откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, талантливый мой; не забудь про фату!

— У меня обещано — так сделано! Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее и цыгана, который с ней, полиция нигде не тревожила и что я за них отвечаю.

Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной Цивилле \*. Он отправился с Зудой в другую комнату, а Мариула, произнеся вслед им вполголоса, но так, чтобы они слышали: «Зачем я не знатная госпожа? Зачем нет у меня дочери?» — спешила к товарищу своему.

Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался ее появлению. Жестокый, с лишком в двадцать градусов, мороз прохватывал его до того, что он, за неимением с кем погреться вручную, готов был побарахтаться с медведем. Но как Мариула, после милостивого обхождения с нею кабинет-министра, сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не окостеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз в кухню дворовые люди и перешептывались о чем-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшие о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие ее в мысли, что Вольнской вдовец.

Выходя из дому, она делалась более и более задумчивою и что-то бормотала про себя.

— Какой мороз! — сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. — Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки; здесь опять палаты, и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А меж ними луга да площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее!

Цыганка молчала.

— Сильно же машут мельницы! только они и нагреваются ныне. Уф!

Цыганка все хранила угрюмое молчание.

— Ге, ге! да у тебя щека побелела; оттирай скорей.

— Пускай белеет!.. Кабы мороз изрыл мне все лицо так, чтобы признать меня нельзя было!

— Что с тобой, Мариуленька? Ты больно сердита.

— Лишь бы носа не откусил! (Цыганка закрыла его рукавом своим.) Без носу страшно было бы показаться к ней Сердце петухом поет во мне от одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать. (Немного помолчав.) Завтра во дворец?.. Я погублю ее сходством, я сниму с нее голову... На такой вышине, столько счастья, и вдруг... Нет, я не допущу до этого... Вырву себе скорее глаз, изуродую себя... Научи, Василий, как на себя не походить и не сделаться страшным уродом.

— Дай подумать в тепле; а то и мысли стынут.

— Придумай, голубчик; камень с груди свалишь. Меня не жалея, пожалей только мое дитя, мое сокровище. Возьми все, что у меня есть; мало, я пойду к тебе в кабалу.

— Я твой слуга, ты моя куконка и благодетельница; поишь, кормишь, одеваешь меня... Разве только убить себя велишь, тогда тебя не послушаю. Да из какой же беды хочешь себя исковеркать?

— Вот видишь, Вася, по сонзволению божью, моя Мариорица здесь... На что ж бы я пришла сюда, как не посмотреть на ее житье-бытье? Мариорица в чести, в знати... за нею ухаживают, как за княжной, за нее сватаются генералы... и вдруг узнают, что она... дочь цыганки!.. Каково мне тогда будет? что станется с нею?.. Нет, не переживу этого! скорей накину на себя петлю!.. На беду, она похожа на меня, как две капли воды; вот уж и Волынской и его приближенный признают это... Признают и другие!.. Господи, господи! от одной мысли меня в полымя бросает!.. Из княжон в цыганки!.. Каково так упасть!.. Я ее лелеяла, я берегла ее от этого позора; она не знает, что я мать ее,— пусть никогда и не узнает!.. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею; сладко видеть Мариорицу счастливою, богатою, знатною; не хочу ничем потревожить ее счастья... Умру с тем, что я могла б одним словом... да! таки одним словом... и не сказала его. Ви-

дишь, мне одной обязана она всем. Бог это знает да я! Вот что меня утешает; вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться.

Мариула утерла слезы на щеках.

— Ну, Мариуленька, разогрела ты меня пуще водки,— сказал старый цыган, покрехтывая,— я помогу как-нибудь твоему горю — вот тебе мое слово свято!

Оба замолчали.

Пусто было на улицах и площадях; лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки; по временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи и раздавалась заунывная песнь колодников: «Будьте жалостливы, милостивы, до нас, до бедных невольников, заключенных, Христа ради!» На всем пути наших цыган встретили они один экипаж: это был рыдван, облупленный временем; его тащили четыре клячи веревочными постромками, а на запятках стояли три высокие лакея в порыжелых сапогах, в шубах из красной собаки и с полинялыми гербовыми тесьмами; из колымаги же проглядывал какой-то господин в бархатной шубе с золотыми кистями, причесанный à la rigeon<sup>1</sup>. Окошки были опущены, вероятно потому, что не поднимались, и оттого-то грел он себе концы ушей, не закрытые пуклями<sup>2</sup>, то правым, то левым рукавом шубы. Василий частенько озирался, стараясь, по приметам домов, не сбиться с пути.

— Что ты так посматриваешь по сторонам? — спросила цыганка.— Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказала тебе, ко дворцу.

— Не бойся; я Петров город знаю, как ты свои Яссы. Былому русскому матросу, да еще матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона. Нырну и вынырну здесь, где хочу. Пожалуй, я перечту тебе все дома. Вот эти каменные палаты, как сундук с высокой крышкою, Остермановы<sup>3</sup>. Непода-лечку выходит на луг деревянный домик со столбиками:

---

<sup>1</sup> Как голубь (франц.).

<sup>2</sup> Буклями, локонами (с франц.).

<sup>3</sup> Ныне дом Сената (прим. авт.).

это подворье новгородского архиерея Прокоповича. Направо церковь каменная, огороженная деревянным забором, Исакия Далмацкого. Странно! как ни приду в Питер, все она строится. Диковинные были на ней часы с курантами! Тридцать пять тысяч стоили; как час, так и заиграют свои штуки. Года за четыре, говорят, разгневался батюшка Илья-пророк, что музыка над церковью, да и разбил громом часы. Вот, идем мы теперь мимо адмиралтейской крепостцы: небось не перемахнешь чрез валики, даром что водица в канавах заморожена. Смотри-ко, купол-ат над башнею горит, будто славушка Петра Алексеевича. То-то был великий государь, хоть и больно бивал из своих рук! Зато при нем все шло как по маслу, и житье было привольное, веселое, лишь своего дела не запускай. По этой Луговой линии выступали здесь чинно из болот мазанки, да в мазанках слышны были с утра до ночи песни. А теперь, как очистил их пожар, встали наперекор ему высокие палаты — эки гордые, так и прут небо! Мало высокой кровли, давай и на кровлю надеть шляпу, или будку чванливую... Зато ни гу-гу! молчат, как домовища, и скучны, как остроги.

Цыганка плохо слушала рассказы своего товарища и с нетерпением высматривала вперед, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними так тихо, что скрал шум своих шагов, закричал:

— Стойте! *слово и дело!*

— Батюшка! голубчик! — завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету, — отпусти; мы идем по делу Артемия Петровича Вольнского.

При этом имени незнакомец осмотрелся; видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и примолвил:

— Ступайте! хорошо, что на доброго человека напали, а то б не легко распутались.

И в самом деле эта встреча могла бы повести цыганку *заплечному мастеру*. Молча шли они далее. Но скоро показался трехъярусный дом с корабликом на каждом воротах по сторонам, а за ним Зимний дворец. При виде этих палат язык старика вновь развязался.

— Видишь ли, — сказал он, — этот дом с корабликами по бокам?

— Вижу, ну!

— Это дом Апраксина. А за ним палаты, вот что солнышко играет в окнах незамороженных?

— Не дворец ли уж?

— Да, славное житье в нем, а пуще всего, что там больно тепло. Чай, матушка-государыня ходит теперь, спустя рукава, или поваливается на пуховиках! Уф! брр! экой морозина, так и хватает за сердце!

Цыган, говоря это, проворно плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами.

— Знаешь ли,— произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову,— знаешь ли, что моя Мариорица живет вот тут, в этом дворце?

Старик покачал головою.

— Да, да, неверный, таки живет в этих больших каменных палатах!.. Мариорица — княжна... ее ласкает, любит сама государыня...

— Не морочит ли уж кто тебя?

— Пospорь, я тебе выцарапаю глаза! Сто человек мне это сказывали. Спроси любого прохожего. Все ее хвалят, все ее любят... О! она и сызмала была такая добрая... А Волынской?.. Кабы это случилось?.. Почему ж и не так? Ведь она ему ровнюшка!.. Мариорица княжна... Милая Мариорица!.. Вася, дурачок, миленький, друг мой, что ж ты не говоришь ничего, глухой?

И глаза цыганки прыгали от радости, и щеки ее на морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади.

— Не с ума ли ты сошла, моя кукона?<sup>1</sup>

— Правда, есть с чего рехнуться! Погоди, остановимся-ка против дворца.

— Чтобы на нас опять закричали слово и дело и посадили в каменный мешок.

— Пускай кричат, пусть запрячут! Не боюсь никого. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается... может быть, она смотрит... Она, она! Сердце ее почуяло свою мать... Василий! ведь она смотрит на меня? Василий! говори же...

— Смотрит,— сказал старик, вздохнув и качая головой.

---

<sup>1</sup> По-молдавски: госпожа (прич. авт.).

— Божье благословенье над тобой, дитя мое! Ты во дворце, милая Мариорица, в тепле, в довольстве, а я... бродяга, нищая, стою на морозе, на площади... Да что мне нужды до того! Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик, и мне хорошо; ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое, я не хочу быть и царицей. Как сердце бьется от радости, так и хочет выпрыгнуть!.. Знаешь ли, милочка, дочка моя, дитя мое, что это все я для тебя устроила...

— Вот к крыльцу подают две кареты золотые, все в стеклах, как жар горят. Экой осмеричок!.. А шоры, видно, из кована золота! Знать, сама государыня изволит ехать, а когда она едет, не велят стоять на дворцовой площади.

— Побежим к крыльцу!

— Воля твоя, наживем себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою...

— Погубить? Дурак! разве я не мать? Может статья, Мариорица поедет... хоть одним глазком взгляну...

И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней, ни жив ни мертв. В другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно...

Появилась государыня Анна Иоанновна среди толпы придворных. По лицу ее, смуглому, рябоватому, но величавому, носилось облако уныния, которое, заметно было, силилась она прикрыть улыбкой. Она недомога-ла, и медики присоветовали ей как можно более рассеяния и движения на свежем воздухе. Теперь ехала она в манеж Бирона, где обыкновенно упражнялась с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предупредив никого, и только едва успели придворные послать к герцогу нарочного уведомить его об этом и двух дежурных пажей в самый манеж приготовить там все к приезду государыни. За нею шло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов.

Между этими дамами одна отличалась чудною красотою и собольею островеерхою шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белые перышка неизвестной в России птицы. Черные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались с соболем воротника. Если б в старину досталось описывать ее

красоту, наши деды молвили бы просто: она была так хороша, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Это была молдаванская княжна Мариорица Лелемико.

Государыня села в первую карету с придворною дамою постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьянный сапожок,— и за княжнюю полезла ее подруга, озабоченная своим *роброном*<sup>1</sup>. В это время надо было видеть в толпе два неподвижные черные глаза, устремленные на молдаванскую княжню; они вонзились в нее, они ее пожирали; в этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел; если б они находились среди тьмы лиц, вы тотчас заметили бы эти глаза; они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днем и ночью. Это были два глаза *матери*... Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна: она вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Кареты двинулись. Раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди... В этой же толпе хохотали.

— Что такое? — спрашивали друг у друга.

— Упала какая-то цыганка, — отвечали голоса, — видно, сдавили в тесноте... Да палка не свой брат, сейчас поднимет и умирающего.

### Глава III

## ЛЕДЯНАЯ СТАТУЯ

И так погибну в цвете лет,  
Истлею здесь без погребенья  
И неоплакан от друзей!  
И сим врагам не будет мщенья  
Ни от богов, ни от людей

«Ивик, журавли»  
Жуковский \*

Летний дворец, Летний сад — сколько цветущих воспоминаний увиваются около этих двух имен! Там, говорите вы, в маленьких покоях Петр I созидал дела

<sup>1</sup> Модным платьем с закругленным шлейфом (с франц.).



великие, которых последствия осенят и наших потомков.

Там, под тенью деревьев, им самим посаженных, любил государь, после заповеданных трудовых дней, тешиться, как добрый, простой семьянин. Кому также не известно, что этот сад бывал сборным местом всего Петербурга, когда царь, от избытка удовольствия, спешил сообщить своим любезным подданным и детям весть об успехе важного подвига, совершенного им для блага России? Радость передавалась безусловно; все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ласкаться на зов надежды-государя и угощения матушки-царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества, они не чинились, тем более что, по простому обычаю старины, и сам державный бывал иногда навеселе. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Аллеи кипели и шумели; на скамьях обнимались; в гроте, убранном на диво заморскими раковинами, слышались поцелуи; водометы плескали, и самые мраморные статуи, между перебегающими группами, казалось, двигались. На царицыном лугу народ роился; там деревянный лев, обремененный седоками, беспрестанно нырял в толпе и высоко возносился на воздух; покорные под всадниками лошадки и сани с обнимающимися парами кружились так, что глазам зрителей было больно. Тут же любопытных допускали смотреть в зверинце двух живых львов и слона. Только темная ночь разгоняла пирующих. Когда же государь, распрощавшись с гостями своими, уходил в двухэтажный домик, охраняемый любовью народной, он мог слышать, как провожали его виваты иностранцев и благословения русских.

И вдруг исчезает на время очарование этих воспоминаний. Порог этого храма переступает Бирон, поставив у входа его секиру. В жилище державного и вместе великого святотатственно водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не скрасив славными подвигами своего властолюбия. Наружным величием старается он заменить истинное: к маленькому дому сделаны огромные пристройки; блестящий двор и гвардия герцога курляндского наполняют его. Видны везде

власть, великолепие, фортуна; везде вытягивается временщик; но где сила народной любви? где человек народный, вековой? Дом переменял хозяина, и все в нем и вокруг его изменилось: бывало, походил он на кордегардию, и его все-таки величали дворцом; Бирон силится сделать его дворцом — и он смотрит кордегардией. Ужас царствует вокруг этого жилища; сад и в праздниках и в будни молчалив; не нужно отгонять от него палкою, — и без нее его убегают, как лабиринта, куда попавшись, попадешься к Минотавру \* на съедение; кому нужно идти мимо жилища Бирона, тот его дальними дорогами обходит.

Зимой — именно в то время, в которое происходит начало действия нашего романа, — зимой, говорю я, сад с окозанными водами, с голыми деревьями, этикетно напудренными морозом, с пустыми дорсжками, по которым жалобно гуляет ветер, с остовами статуй, беспорядочно окутанных тогами, как саванами, еще живее представляет ужас, царствующий около его владельца.

Благодарение богу, нечистый дух выкурен из этого жилища с того времени, как посетил его добрый гений дочери Петровой; очарование воспоминаний снова окружает маленький домик в Летнем саду.

Но обратимся к зиме 1739/40 года.

Мы не взойдем теперь в жилище Бирона, а перенесемся через Фонтанку в манеж его. Он расположен на берегу в длинной мазанке с несколькими осьмиугольными окнами по стенам и двумя огромными, из пестрых изразцов, печами на концах. Подле одной печи сделано возвышение в виде амфитеатра с узорочными перильцами и балдахином из малинового сукна с золотой бахромой. Под балдахином стоят кресла с высокою спинкою, обитые малиновым бархатом. У ручек вытягиваются два пажика в высоких напудренных париках, с румяными щечками, как два розана, уцелевшие под хлопками снега, в блестящих французских кафтанах, которых полы достают почти до земли, в шелковых чулках и башмаках с огромными пряжками. По временам кладут они на перила свои детские головы в стариковской прическе, как бы высматривая кого-то. Вот все, что замечательно в манеже. За ним, через обширный двор, тянутся каменные великолепные конюшни, в которых

красавицам лошадям, выписанным из Голстинии \*, Англии и Персии, тепло и привольно. Как их холят и нежат! Люди, ухаживающие за ними, завидуют их жизнью-бытью. От конюшен идет каменная ограда до набережной; за оградю нечистый дворик и посреди его колодезь с насосом, ручкою для качки воды и желобом, проведенным в конюшню. Подле самого колодца дерево почти без сучьев. На главный двор два въезда — с Фонтанки и с Невы.

Вообразим, что мы пришли к манежу за полчаса до пажей, и посмотрим, что делается на заднем дворике.

К дереву крепко привязан подмышки мужчина, высокий, сутуловатый, желтоликий, с отчаянием в диких взорах; на нем одна рубашка; босые ноги оцеплены. Хохол на бритой голове изобличает род его. Это малороссиянин, которого недоставало на смотре Вольнского. Жестокый мороз хватает жгучими когтями все живое; людям тяжело дышать; полет птиц замедляется, и самое солнце, как раскаленное ядро, с трудом выдирается из морозной мглы. Каково ж в одежде тропичных стран стоять в снегу под влиянием такой атмосферы? Однакож малороссиянин еще стоит — не стонет, а только скрежещет зубами. Сначала он дрожал, теперь окаменел; ноги его горели, как на раскаленном железе, теперь онемели. Против него храбрится офицер среднего роста, пузастый, с зверскою наружностью, в медвежьей шубе. Это адъютант герцога курляндского, Гроснот. По обеим сторонам малороссиянина человека с четыре конюхов.

— Обругать его светлость! писать на него доносы! — кричал Гроснот ломаным русским языком и сиплым от досады голосом, остря кулаки на свою жертву. — Знаешь ли, с кем тягаться?.. Мы всчешем тебе хохол курляндскою гребеночкой; мы собьем с тебя панскую спесь, поганый Мазепа!

Малороссиянин глубоко вздохнул и поднял глаза к небу.

— Что? мороз не уговаривает ли тебя? Скажешь ли, где бумаги?

— Ни! — произнес твердо малороссиянин.

— Посмотрим! Гей, ребята! ушат с водою! — закричал адъютант.

Разом накачали конюхи воды в ушат. Лицо мало-

россиянина исковеркали судороги; потом глаза его налились кровью и впились в своего мучителя.

Гроснот тряхнул головой, как бы для того, чтобы избавиться от неподвижного взгляда своего мученика, и дал приказ двум конюхам стать на скамейку, приготовленную у дерева, и поднять туда ж ушат с водой.

— Скажешь ли, куда девал донос? — спросил он.

— Передал богу, — был ответ.

— Окатите ж его!

И ушат воды вылит на голову несчастного.

Облако пара обхватило его, но скоро исчезло, подрезанное морозом. Хохол его унизался бусами, темя задымилось; рубашка стала на нем, как бумага картонная.

— Го-го-го! — застонал малороссиянин в этом жестком мешке, собрав последние силы, — дойдет бумага до императрицы, хоть сгину... Скажи своей... бесовой собаке... Бог отплат... брр...

Здесь он захлебнулся.

— Еще ушат и еще! удвоить порцию! — заревел адъютант.

Другой ушат воды обдал мученика с ног до головы. На этот раз рубашка покрылась чешуей, и струи, превратясь будто в битое стекло, рассыпались с треском по снегу.

После третьего ушата хохол повис назад, как ледяная сосулька, череп покрылся новым блестящим черепом, глаза слиплись, руки приросли к туловищу; вся фигура облачилась в серебряную мантию с пышными сборами; мало-помалу ноги пустили от себя ледяные корни по земле. Еще жизнь вилась легким паром из уст несчастного; кое-где сеткою лопалась ледяная епанча, особенно там, где было место сердца; но вновь ушат воды над головою — и малороссиянин стал одною неподвижною, мертвою глыбой.

— Государыня будет скоро в манеж! — закричали на дворе, — вот и пажы приехали.

— Лей, лей проворнее! а то мне и вам беда! — командовал испуганный адъютант.

Еще два-три ушата, и нельзя было признать человека под ледяною безобразною статуей. Она стала на страже колодца. Солнце, выплыв из морозной мглы,

вспыхнуло на миг, как будто негодуя на совершенное злодеяние, и опять скрылось во мгле.

— Государыня едет! — закричали опять на дворе. Гроснот возвратился в манеж, будто ни в чем не бывало, а исполнители его подвига — в конюшню.

Государыня любила верховую езду и была в ней очень искусна. Нынешний же раз, чувствуя себя слабою, сделала только два-три вольта, сошла с лошади, села на кресла под балдахин, окруженная своею свитой, и с высоты любовалась мастерскою ездою Бирона, статного, довольно красивого, хотя жестокость его прокрадывалась по временам сквозь глаза и вырезывалась неприятным сгибом на концах губ. Он был в светло-голубом бархатном кафтане. На лошади под ним, изабеллова цвета \*, блистал чепрак, облитый золотом и украшенный по местам шифром государыни из бирюзы; крупные же бирюзовые камни вделаны были в уздечку. Герцог подъехал, наконец, к возвышению, где находилась императрица, и, скинув перед ней шляпу, поникнув несколько головой, ждал себе лестной награды. Государыня встала с своего места, подошла к перилам, приветствовала всадника улыбкой, ласкала рукою прекрасное животное, на котором сидел Бирон и которое положило свою голову на перила, как бы ожидая и себе внимания царицы. Разные нежные имена были даны любимице Бирона, названной им бриллиантом его конюшни; красавица, казалось, от удовольствия била землю копытом. Велено было принести кусок хлеба, который и схватила она осторожно из нежных рук. Придворные дамы любовались этою сценою; вся душа пажиков была в глазах их, сверкающих от радости; одна Марнорица не заботилась о том, что делалось около нее, и часто обращалась взорами ко входу в манеж.

— Едем! — сказала, наконец, Анна Иоанновна, кивнув благосклонно Бирону, и он, соскочив с лошади, оставшейся как бы вкопанною на своем месте, свел государыню с возвышения.

У входа в манеж тряслись на морозе Гроснот и нечто в розовом атласном кафтане, которое можно было б изобразить надутым шаром с двумя толстыми подставками в виде ног и с надставкою в виде толстой лысой

головы, о которую разбилась бы черепаха, упав с высоты. В этой голове было пусто; не думаю, чтобы сыскалось сердце и в туловище, если бы анатомировали это нечто, зато оно ежедневно начиналось яствами и питьями, которых доставало бы для пятерых едоков. Это нечто была трещотка, ветошка, плевалый ящик Бирона. Во всякое время носилось оно, вблизи или вдали, за своим владыкою. Лишь только герцог продира́л глаза, вы могли видеть это огромное нечто в приемной зале его светлости смиренно сидящим у дверей прихожей на стуле; по временам оно вставало на цыпочки, пробиралось к двери ближайшей комнаты так тихо, что можно было в это время услышать падение булавки на пол, прикладывало ухо к замочной щели ближайшей комнаты и опять со страхом и трепетом возвращалось на цыпочках к своему дежурному стулу. Если герцог кашлял, то оно тряслось, как осенний лист. Когда же на ночь камердинер герцога выносил из спальни его платье, нечто вставало с своего стула, жало руку камердинеру, и осторожно, неся всю тяжесть своего огромного туловища в груди своей, чтобы не сделать им шуму по паркету, выползало или выкатывалось из дому, и нередко еще на улице тосковало от сомнения, заснула ли его светлость и не потребовала бы к себе, чтобы над ним пошутить. Вы могли видеть нечто у входов верховного совета, сената, дворца и даже Тайной канцелярии, когда в них находилась его светлость; на всех церемониях, ходах, пиршествах и особенно жирных обедах, где только обреталась его светлость. Этот кусок мяса, на котором творцу угодно было начертать человеческий образ, это существо именовалось Кульковским. Высочайшее его благо, высшая пища его духа или пара животного, заключалось в том, чтобы находиться при первом человеке в империи. В царствование Екатерины он находился при Меншикове, в царствование Петра II при Долгоруком, ныне же при Бироне. Так переходил он от одного первого человека в государстве к другому, не возбуждая ни в ком опасения на счет свой и ненависти к себе, во всякое время, при всех переменах, счастливый, довольный своей судьбой. Где был временщик, там и Кульковский; привыкли говорить, что где Кульковский, там и временщик. Сделаться необходимою вещью,

хоть плевательницею этого,— вот в чем заключалась цель его помышлений и венец его жизни. И он достиг этой цели: от привычки видеть каждый день то же бесстрастное, спокойное, покорное лицо, Бирон скучал, когда занемогал Кульковский. Всякое утро и вечер первый человек в империи приветствовал его улыбкой, иногда и гримасой, которая всегда принималась за многоценную монету, а если герцог в добрый час расшучивался, то удостоивал выщипать из немногих волос Кульковского два-три седых волоса, которых у него еще не было. Знак этой милости, несмотря на боль, особенно радовал его. Для поощрения ж к дальнейшему ревностному служению иногда поручали ему первому повестить о награде или немилости, ниспосылаемых герцогом. Кроме этого, во всю жизнь его давали ему, еще при Екатерине, одно важное поручение в Италию; но он, исполнив его весьма дурно, возвратился оттуда католиком. И веру свою переменил он от желания угодить первому человеку в Риме, то есть папе, которого тужли удостоился поцеловать за этот подвиг. О ренегатстве его, скрываемом им в Петербурге, только недавно узнала государыня и искала случая наказать его за этот поступок не как члена благоустроенного общества, а как получеловека, как шута. Надо, однако ж, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всем, что делалось в глазах его и о чем не приказано ему было говорить, хотя б то было о прыщике, севшем на носу его светлости.

Когда государыня, у входа в манеж, заметила Кульковского, она улыбнулась; молдаванская княжна, взглянув на него, едва не захотела Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградою дворика: тут Анна Иоанновна, по какому-то внутреннему побуждению, обернулась направо, и в глаза ее блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в саях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе.

Кликнули Гроснота.

— Что такое? — угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. В этом вопросе подразумевалось: «Дурак! что ты сделал?»

Гроснот, не смутясь, отвечал:

— Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую.

Ответ был услышан государынею.

— Этот случай,— сказала она ласково Бирону,— да-ет мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами.

— Как то было при его величестве, блаженные па-мяти,— прервал герцог.

— С бóльшими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?

— С прошлого месяца он начинает другой полвека.

— Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном двор-це. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к мое-му двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле.

С последним словом императрицы карета тронулась, облепленная по бокам дворец гайдуками, а сзади двумя турками. Пятидесятилетнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе не-весты: надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героической твердостью, несмотря на поздравления насмешников-пажей, просящих его, как товарища, не лишить их своей дружбы.

Скоро манеж и двор опустели, и под вечер ледяная статуя отвезена... куда — вы узнаете после.

#### Глава IV

### ФАТАЛИЗМ

Восточной странностью речей,  
Блистаньем зеркальных очей  
И этой ножкою нескромной...  
Ты рождена для неги томной,  
Для упоения страстей.

«Гречанке». Пушкин

Волынской лежал в своем кабинете на диване. Он решил целый день не выезжать и сказался больным, ожидая возвращения Зуды, которого послал отыскивать



следы пропавшего малороссиянина. Этот малороссиянин был для него тяжелая загадка.

Грудь его разрывалась от досады, когда он помышлял, что властолюбие Бирона, шагая по трупам своих жертв, заносило уже ногу на высшую ступень в России. Герцог имел свой двор, свою гвардию; иные, будто ошибкой, титуловали его высочеством, и он не сердился за эту ошибку; считали даже милостью допуск к его руке; императрица, хотя выезжала и занималась делами, приметно гасла день от дня, и любимец ее очищал уже себе место правителя.

«Жду случая свергнуть его,— думал Волынской,— жду перемены к нему государыни; а когда этот случай настанет?» К этим мучительным мыслям присоединилось и чувство, столько же, если не более, мучительное. Женатый, он любил...

Какая же несчастная была предметом этой любви?

Восемнадцати лет, княжна Мариорица Лелемико испытала уже так много превратностей, что можно бы было наполнить ими долголетнюю романическую жизнь.

С малолетства лишившись отца и матери, на пепелище дома, разграбленного и сожженного янычарами, Мариорица досталась в удел хотинскому паше. Он готовил ее для собственного гарема, но, пока пленница росла вместе с своими прелестями, старость предупредила его замыслы. Тогда честолюбие заменило в нем все прочие страсти, и хотя он с помощью скамейки садился на лошадь, но все еще метил в сераскиры или по крайней мере в трехбунчужные. Мысль угодить повелителю правоверных, подарив ему диковинную красоту, блеснула в его голове, и с того времени смотрел он на княжну как на лучшее украшение султанского гарема, как на будущую свою владычицу и покровительницу. Он видел уже в ней любимую султаншу, а себя одним из первых сановников под луною. Дочь нельзя более нежить и утешать, как он нежил и утешал ее. Пиастры сыпались иностранцам, чтобы развить в ней все дарования, способные обворожить падишаха. И старик мог рассчитывать верно, судя по наружным и душевным ее прелестям. Когда Мариорица, разбросав черный шелк своих кудрей по обнаженным плечам, летала с тамбурином в руках и вдруг бросала на своего опекуна молниеносные, сожи-

гающие взоры или, усталая, останавливала на нем черные глаза свои, увлажненные негой, избытком сердечным, как бы просящие, жаждущие ответа; когда полураскрытые уста ее манили поцелуй — тогда и у старика поворачивалась вся внутренность. Он вздыхал, очень тяжело вздыхал, и готов бы был отдать свой Хотин, свою бороду и все прошедшие и будущие милости падишаха за несколько минут давно прошедшей молодости. Оканчивалось тем, что он обращался мысленно к пророку, а там снова к мечтам честолюбия. Иногда только, когда вкушал соку плода, запрещенного кораном, он приходил к своей пленнице и осмеливался коснуться устами своими прекрасной ножки ее, приложив наперед, в знак почтительности, правую руку к чалме, а левую подбрав свою бороду. И шалунья из прихоти допускала его к этой милости; а куда не простирается прихоть женщины? Ей было весело, что борода паши, довольно пушистая, щекотала ее нежную, пышную ножку. Случалось и то в подобных изъявлениях особенного ее благоволения, что шаловливая ножка, будто ненарочно, сваливая чалму с головы старика, обнажала таким образом огромную сияющую лысину. Княжна при виде ее смеялась до слез и позволяла ему за это удовольствие подремать на ее коленях. Впрочем, она любила пашу как благодетеля своего, как родственника и умела это изъяснить ему даже в своих детских шалостях.

Мариорице даны были учителя, каких она только вздумала иметь. Она танцевала, как мы уж сказали, с такою ловкостью, что приводила в исступление и старика, и играла на гитаре с большою приятностью. А как ее учительница танцевания и музыки была француженка, то она в скором времени выучилась говорить и писать на этом языке с большою легкостью. От христианской веры, в которой она родилась, остались у ней тайные понятия и золотой крест на груди. Каким образом этот крест попал к ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее из пожарища, когда горел отцовский дом, строго наказывала ей никогда не покидать святого знамения Христа и, как она говорила, благословения отцовского. Эта самая женщина продала ее хотинскому паше. Француженка, узнав, что Мариорица родилась христианкою, старалась беседами

на языке, непонятном для черных стражей, ознакомить ученицу свою с главными догматами своей веры. От этого учения и гаремного воспитания ее сочетались в душе Мариорицы, пламенной, мечтательной, и фатализм магометанский и мистицизм христианский, так что в небе, созданном ею, обитали и чистейшие духи и обольстительные девы пророка, а на земле все действия человека подчинялись предопределению.

Старый паша любил ее сначала как будущий предмет своих удовольствий, потом как средство достигнуть чести и, наконец, как дочь. Он избавлял ее от делания шербета, конфет и других трудов домашних, сносил ее прихоти и капризы, лелеял ее и берег, как дорогую жемчужину, на которую обладатель ее боится дышать, чтобы не потемнить ее красоты. Прислуга, стооя от боязни наказания, стерегла ее денно и ночью. Ни один взгляд молодого мужчины не перелистывал еще ее девственных прелестей, этой роскошной поэмы, в которой мог бы зачитаться и сам небожитель, как некогда пустынный заслушался пеночки на целое столетие. Пришла пора везти Мариорицу ко двору верховного владыки, и паша задумывался и откладывал отъезд. Самые мечты честолюбия не радовали его. Настало, однакож, время им расстаться, но, по воле судьбы или предопределения — так называла ее Мариорица, — загорелась война между Турцией и Россией \*, и в губернаторы хотинские назначен сын опекуна, известный под именем знаменитого Калчан-пашы. С того времени старик возненавидел тайно султана и явно своего преемника, хотя единокровного, и поклялся скорей передать свои сокровища, в том числе и воспитанницу, неверным, собакам-христианам, нежели тем, которые так жестоко оскорбили его старость и долготелную службу. Тут грянула ставучинская битва \*, столь славная для русского оружия, как будто нарочно для того, чтоб выполнить клятву старика; ибо вслед за тем Хотин был сдан русским, а прекрасная Мариорица, с богатствами двух пашей, отца и сына, в числе с лишком двух тысяч человек обоого пола, досталась в добычу победителей. Ее воспитатель сам представил ее Миниху, как молдаванскую княжну, и поручил милостям государыни. Участь княжны, попавшейся к неверным псам-магометанам, тронула военачальника.

Он взял ее под особенное свое покровительство и с офицером (старым, израненным) послал, отдельно от других пленников, в Петербург, описав ее чудесную историю, как сам слышал, государыне.

При дворе и знати была тогда мода на калмыков и калмычек, не менее бешеная, как на дураков, шутов и сказочников обоего пола и разного состояния, начиная от крепостных до князей. С жадностью доставали детей азиатской породы, как дорогую собачку или лошадь, и не один супруг пострадал от холодности своей половины, если не мог подарить ей в годовой праздник восточного уродца. Калмыков этих приводили *в веру крещеную*, лелеяли, клали спать с собою в одной спальне и выводили *в люди*, то есть в офицеры, или выдавали *вамуж* за офицеров с богатым приданым, часто на счет и к невыгоде родных детей. Судите после этого, какую же суматоху должен был произвести в Петербурге приезд Мариорицы. Романическая ее жизнь, ее красота, ее род и отечество вскружили всем голову до того, что, если б можно было, каждая знатная госпожа не пожалела бы дать половину своего имения, чтобы иметь при себе молдаванскую княжну. Ныне в исступлении говорят: «Ah! j'enrage, ma chère<sup>1</sup>, что не могу иметь к вечеру NN райской птички». Тогда говорили вздыхая: «Ах! мать моя, каков этот иностранный немец Миних, прислал сюда только одну молдаванскую княжну, а сказывают наши, полонил их тысячу, да отослал к своим, в немецкую землю,— ну съела бы его зубами!»

Сама государыня была в восхищении от Мариорицы, поместила ее в ближайшей от себя комнате между своими гоф<sup>2</sup>-девицами, нарядила в полунациональную, полурусскую одежду, как можно богаче, и в учителя русского языка выбрала для нее служащего при С.-Петербургской академии *де сиянс*<sup>3</sup> Василия Кирилловича Тредьяковского. Этот вельми ученый муж каких языков не знал! На французском писал он стихи едва ли не лучше, нежели на русском; из Фенелона Телемака воссоздал знаменитую «Телемахиду»\*, с цитатами гре-

---

<sup>1</sup> Ах! я в бешенстве, моя дорогая (франц.).

<sup>2</sup> Придворными (от нем. Hof — двор).

<sup>3</sup> Академии наук (франц. academis des sciences).

ческими, латинскими и прочими, и в два приема исчерпал весь гений Роллена \*, своего учителя. И потому он должен был служить Мариорице, посредством французского языка, проводником к познанию русского. Обладая способностями необыкновенными и побуждаемая к изучению его силою внутреннею, творящую чудеса, она в несколько месяцев могла свободно изъясняться и на этом языке.

Мариорица не успела еще образумиться от зрелища новых и странных предметов, поразивших ее при дворе русском, от новой своей жизни, ни в чем не сходной с той, которую вела в гареме хотинского паша, и успела уже под знамя своей красоты на вербовать легион поклонников. Лесть мужчин, их услужливое внимание преследовали ее до того, что стали ей приторны; старухи, у которых не было дочек, называли ее ненаглядною; молодые говорили, что они от нее без ума, наружно ласкали ее, как любимую игрушку, как любимицу государыни, но втайне ей завидовали. Так ведется со времен двух первых братьев! \*

Года, кажется, за два до приезда ее в Петербург, когда русские уполномоченные в Немирове<sup>1</sup> вели переговоры с турками, старый паша, ее воспитатель, в шутку говорил, что если Мариорица не любит его, он уступит ее русскому послу Волынскому, о котором слава прошла тогда до Хотина. «А молод ли он? хорош ли он?» — шутя спрашивала Мариорица своего воспитателя. И что ж? По странному стечению обстоятельств, этот самый Волынский, когда она, по приезде в Петербург, остановилась в отведенной ей квартире, был первый из придворных, который ее встретил и от имени государыни поздравил с благополучным прибытием. Увидеть мужчину ловкого, статного, красивого, с глазами, пронзающими насквозь сердца, с черными кудрями, свободно падающими на плеча (Волынский редко пудрился), и сделать сравнение с ним и турецким длиннородым козлом или черным евнухом, значило с первого приступа склонить оружие. При кабинет-министре, не знавшем иностранных языков, находился тогда переводчик, вовсе не любезный и непривлекательный. Лицо круглое, как

---

<sup>1</sup> Польском местечке, пограничном с турецкими владениями (прим. авт.).

мапемонда<sup>1</sup>, синеватое, задавленное масляным галстуком, на котором покоился тучный, двумя ступенями, подбородок; бородавка на левой щеке, умильно-важная физиономия, крутой сияющий лоб, вделанный в мучной насаленный оклад с двумя мучными же мортирами по бокам и черным кошельком назад, одним словом, это все был сам Василий Кириллович Тредьяковский. «Жаль,— думала Мариорица,— что этот дурной, а не этот пригожий мужчина, должен со мною объясняться». Волинскому некогда было думать: увлеченный красотой молдаванки, он спешил выражаться красноречивым подлинником взоров и словами через своего толмача\*. Слова эти дышали теплотою Востока и, благодаря верности перевода, щекотали сердце неопытной девушки, приводили ее в какое-то смущение, ей доселе неведомое. Мариорица хотела знать фамилию посланного к ней от императрицы.

При имени Волинского княжна затрепетала. Фатализм, которым она с малолетства была напитана, сказал ей, что это самый тот, неизбежимый ею, суженый ей роком, что она ведена с пепелища отцовского дома в Хотин и оттуда в страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рождении назначено ей любить русского, именно Волинского.

Прибавьте к этому пламенное воображение и кипучую кровь, весь этот человеческий вулканизм, с одной стороны, с другой — примешайте вкрадчивую любезность, ум, страсть в каждом движении и звуке голоса — и рецепт любви готов. Маленький доктор, в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами, попав раз к таким пациентам, то и дело посещает их и каждый раз, очинивши исправно свое перо, пишет на сигнатурке: *repetatur*<sup>2</sup>, *прибавить того, усилить сего*.

Волинской вышел от молдаванской княжны в каком-то чаду сердечном, видел только по дороге своей два глаза, блестящие, как отточенный гранат, как две черные вишни; видел розовые губки — о! для них хотел бы он превратиться в пчелу, чтобы впиться в них, — видел только их, отвечал невпопад своему переводчику или вовсе не отвечал, грезил, мечтал, забывал политику,

<sup>1</sup> Карта полушарий (с франц.).

<sup>2</sup> Повторять (лат.).

двор, Бирона, друзей, жену... В его голове и сердце все было эдем, восторги, райские минуты, за которых не взял бы веков; все было я и она! А препятствия? Их не существовало, их не могло существовать: девушка так неопытна, воспитана в гареме, готова для гарема; по глазам ее видно, что у ней в жилах не кровь, а огонь... жена еще не скоро придет из Москвы; можно найти и средства задержать ее... кабы умерла? (да, и эта преступная мысль приходила ему в голову!..) остальное dokonчит искусство, притворная и, может остаться, истинная страсть.

И вот княжна Лелемико во дворце. Сама государыня заботится доставить ей покой, приятности всякого рода, показывает ей свой Петербург, свое войско, учреждает для нее игры, праздники, балы и, привыкшая видеть около себя притворство и лесть, утешается, как чистосердечно, простодушно, чувствительно дитя полуденной природы, как все новое занимает ее и утешает. И Мариорица почти везде за государыней и везде видит Волинского, и скоро едва ли не одного неизбежного Волинского. Все молодые мужчины кажутся ей куклами, попугаями, существами бездушными. Сначала он не может говорить ей о своей любви; но при каждом свидании взорами своими волнует ее душу, так что ее душа, кажется, бежит вон из тела. Нередко танцует он с нею (она выучилась уже европейским танцам). Пожатие руки его проникнуло тонким ядом все ее существо; она смущена новым для нее ощущением, хочет отнять руку и не отнимает... В другой день, на другое пожатие она отвечает ему тем же... и ей кажется в эту минуту, что земля и небо готовы перед ней и над ней раскрыться. Эпоха сладостная для влюбленных! Они не забывают ее ни в будущих сильнейших восторгах, ни в муках любви. Возвратясь в свою спальню, она горела вся в огне и заснула в обворожительных мечтах.

К учителю русского языка летали от Волинского перстеньки, табакерки, и подвигалась кафедра элоквенции в академии *де сиянс*, и потому можно судить, что он действовал по точной инструкции кабинет-министра. Первые слова, которые ученица затвердила, были: *милый друг! люблю тебя!* Как сладко, как обворожительно выговаривала она эти слова! В слово *милый*

она вставляла р, отчего произносила *мирльй*; но эта ошибка придавала ему какую-то особенную прелесть в устах ее. И сам Василий Кириллович, слушая первый выученный урок, почесывал свое темя, как будто у него под черепом что-то жгло. Ни при ком не произносила Мариорица этих слов, как при Тредьяковском, догадываясь, что он перенесет их на крыльях своего усердия Артемию Петровичу. Лекции русского языка проходили часто между учителем и ученицей в разговорах о кабинет-министре, которого благородство, щедрость, чувствительность превозносились до небес. Разумеется, учителю строго запрещено было упоминать о том, что Артемий Петрович женат: это выполнялось свято. А девушке и не приходила в голову мысль, что тот, кто ее любит, мог иметь неразрывные связи с другой, что любовь его преступна. Разумеется, и княжна умоляла Василия Кирилловича не сказывать Вольнскому, что она иногда говорит о нем: учитель обещал, но был верен своему слову только до первой встречи с покровителем. Вскоре могла она сама понимать по-русски вкрадчиво-нежные выражения Артемия Петровича, выражения тем более опасные, что они были новы для нее, как сама любовь.

Можно догадаться, что при таких обстоятельствах любовь бежит огнем по пороховой дорожке. И что ж? Во всем этом, как вы видите, был виноват фатализм.

Далее... Не все же вдруг сказывается: дайте мне, как жаворонку, завести мою песнь от земли.

## Глава V

### ТАИНСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Скажи, в чем тут есть главное уменье?

— В том, — отвечал сосед, —

Чего в тебе, кум, вовсе нет:

В терпенье.

Крылов\*

Победа, смерть ли? будь, что будет,  
Лишь бы не стыд!

Языков\*

Итак, Вольнской лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами: любовью к Мариорице и завистью к Бирону. Мечты его нарушены



приходом араба, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезвычайною милостью, или какою-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Бирона, и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде.

Герцог дружески сожалел о нездоровье Артемия Петровича, присовокупляя, что он без него, как без рук; что ее величество изволила об нем с большим участием проведывать и, в доказательство своей к нему милости, назначила ему в награду двадцать тысяч рублей по случаю мира, заключенного с турками.

— А! — сказал про себя Вольнскойой, оставив на минуту чтение письма, — временщик думает купить меня этим известием; но ошибается! Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости!

Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и уведомляли, что государыне угодно сделать прибавление к нему построением ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которого уже и невесту ищут. Ее величеству желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра чем свет.

Вольнского, знакомого с махиавелизмом Бирона, не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий — последнее он уже наперед отгадывал, — но изумило его то, что в послании его светлости — ни слова о приложенной бумаге.

«Вам угодно было знать, — писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным, — куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр. Исполняю не только это желание. но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас донныне. Плачу тем дань не званию и богатству вашему, не видам каким-либо, но высокому достоинству человека, которое в вас нашел. Давно уже благородная ваша душа привязала

меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я: вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде; вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения, доставляют обергофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всем, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добраться, кто именно из ваших домашних передает эти сведения.

По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знайте только, что я иностранец; но, ущедренный Россию, я нашел в ней свое второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын ее. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Бирона вертятся кругом одной его особы, что он живет только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает ее своей оброчицей. Боже! как он трактует русских!.. Чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами».

При этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием; руки его дрожали.

«Наступает важный случай открыть государыне его своекорыстие: дело об удовлетворении поляков за переход войск чрез их владения, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды (вот как нам все известно!), скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставляю вам нужные заметки и тут же напишу три слова: *теперь или никогда!* О! тогда скорей, богатырски опрокиньте стену, перед которою дает он фейерверки и за которою душит и режет народ русский; откройте все сердцу государыни... Вы, с вашею благородною смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы, одни можете совершить этот подвиг. Если вы падете в этом деле, то падете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами

участь вашу, какова бы она ни была, клянусь вам в этом своею честью. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе! Может статься, чрез сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего: «Россия гордится ими!..» Жить в истории — как это приятно!..

Пишу много; сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый! Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши.

Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из черниговской провинции, по прозванию Горденко. Он занимал должность хорунжего \* в стародубовском цвете \* и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа \* тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодной водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О! когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях и, в наказание за свою неосторожность, должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Бирона. Когда ж он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, его пощекотали батогами. Этот способ лечить и жажда мщенья возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменял собою простого малороссиянина, которого, в числе других, везли сюда на известный

праздник. Но ищейные клеветы Бирона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали переключку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая: его свели на задний, нечистый дворик за конюшню. Там, раздев его до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтоб он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег.

Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению, в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите.

В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселину среднего камня, на левом углу сграды Летнего сада к Неве».

Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волинской то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Бирона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое; то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя.

Иностранец?.. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот?.. Злодей! из одной улыбки его светлости вызовется, вместо меха, своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека, невинного, как младенец. Другой? Глупец! готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюк чужих злодейств. Третий? Подлец! доставляет за фальшивые определения жене Бирона бриллианты и се-

ребряные сервизы. Четвертый? Родственник клеветы его, Липмана, и ненавидит кабинет-министра. И так далее перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин?.. Загадка! тайна!.. Голова его пылала, сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога; но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся.

Когда же Волынской хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник в диком бору, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался, по-тогдашнему, милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказания его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы, от большого до малого, были одеты исправно, накормлены сыто, получали, сверх того, в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу; их заслуги предкам Волынского ценились как должно; старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского; немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не призирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый *маршалок*, увидев издали девушку на коленях мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар: к счастью, выяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной! — говорили служители об Артемии Петровиче, — мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудю-предателем. Не барская ли барыня?.. Чем же она может быть недозвольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам; деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата.

Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине... может статься, нетерпение видеть сынка офицером?.. Зуда намекал не раз, что это женщина опасная... Да опять, как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете, между самыми близкими друзьями. Зуда?.. Этот мог бы всех скорее!.. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет,— прибавил он, рассуждая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе,— сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит; настоящий Козьма-бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подличать пред фаворитом? Хотел бы он денег? я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывести его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслию видеть в нем человека, мне преданного. Десять лет в моем доме! Десять лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы!.. Друг мой!.. Нет, нет, лучше погубить себя, чем его подозревать! Не он, не он, не может быть! Но... диавол-дух или человек-диавол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его!»

Волынской позвал своего араба.

— Николай! — сказал он ему с особенным чувством, — любишь ли ты меня?

— Когда вы говорите мне слово ласковое, — отвечал тронутый араб, — мне кажется, что со мною говорит старик отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца, и матери, и родины.

— Ты меня никогда не продавал?

— Я, сударь?.. да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель!

— Слушай же: у нас дома есть недобрый человек, который выносит сор из избы, оговаривает своего барина.

— Знаю!

— Знаешь? — спросил изумленный Волынской. — Кто ж это?

Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой.

— Говори, я тебе приказываю.

— Не могу, мне Зуда не приказал.

Воынской вспыхнул.

— Так ныне Зуда ваш господин, так он более меня значит! Зуда командует моими людьми против меня!.. Вот каков Зуда!.. Скоро делается он моим баринном; скоро мне воли не будет в своем доме!

Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал:

— Не могу! я поклялся Николою!.. Он говорит, что это для вашего же добра...

«Что за тайна?..— подумал Артемий Петрович,— посмотрим, к чему это все ведет!»

— Хорошо! — прибавил он вслух,— встань! делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно, становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое. Да вот и Зуда, легок на помине!

В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет-министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его; но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съжившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.

— Выдь вон,— сказал Воынской арабу, потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: — Ну что слышно о малороссиянине?

— Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера.

— Пойман?

— Да, ваше превосходительство; что ж тут удивительного?

— От кого ты знаешь эту весть?

— Я сам видел его.

— Видел?.. Какое плутовство!

— Позвольте спросить, о чем плутовстве вы говорите?

— На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатое чудесами.

Волынской подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и, когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки.

Сощурился Зуда, покачал головкой, отвечал твердо:

— Нет, в первый раз вижу,— и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе середину лба пальцем; на лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец, Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой.

— Что? прочел ли? — спросил Волынской.

— Прочел.

— Что ж ты думаешь после этого?

— То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастья. Это я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда, уступить временщику. Да! таки уступить!.. Послушайте, какая слава о нем в народе.

— Любопытен знать.

— Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить! как же вы хотите против него действовать?

— Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!

— Который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу...

— Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй — ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовства, совершающиеся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах? Стоит только раскрыть Петербург. Архипастыр<sup>1</sup>, из-

---

<sup>1</sup> Тверской, Феофилакт Лопатинский (прим. авт.).



мученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытщенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека — движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая — Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем, — этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?

Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев ворко на секретаря. Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастью, горькая существенность, но существенность, которую, при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был Волинского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.

Две свечи на бюро тускло горели; огромная тень кабинет-министра быстро двигалась по стене. Он продолжал:

— Как? выступая на битву против врагов отечества, вы оробеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, статья может, оставите по себе неутешную вдовушку, плачущих ребят!.. Пускай неприятли топнут жатвы, жгут хижины, насилуют жен и девиц — не ваши поля и дома, не ваша жена и дочь! До них скоро ли еще доберутся! А ты покуда успеешь належаться на теплой печке, в объятиях своей любезной.. Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить?

— Позвольте...

— Нет, сударь, не слушаю вас, не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов. Я лучше прочту еще

раз, что пишет мой тайный друг. (Волынской взял бумагу, развернул ее и прочел вслух: «Он властвует над русскими, как над рабами») Слышите ли, сударь, над рабами?.. И вот что говорит в благородном негодовании своем иноземец!.. (Это слово залито было такою ирониею, что захватило на миг его дыхание. Покачав головой, он опять с жаром продолжал.) А мы, русские, мы протянули свои воловьши шеи под ярмо недостойного пришельца, мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин. Простой народ не выдерживает жестокостей его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свой и заслуги предков, истлив свой стыд, как трут, которым он зажигает свою трубку, лезят, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке! Князя, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле, рядом с бессмертным Петром, или в сенате, бесстрашно говоря ему правду, спешат наперерыв записаться в скомоорохи, в шуты... Не посоветуете ли мне пойти вприсядку для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне приложиться к его ручке?.. Нет, сударь, не дожидетесь этого от меня с вашим выходцем: скорей сожру я руку, которую он протянет мне, хотя бы этим поганым куском подавиться!.. Пляшите, господа, под его дудочку, вертитесь кубарем под его кнутик; лобызайте секиру, омытую кровью ваших братьев, деритесь в драку за пригоршни золота и разнокалиберных игрушек, которые бросает он вам из окон своих высоких палат... Мое назначение другое (тут Волынской поднял голову и произнес с особенною твердостью): я русский боярин, не скомоорох. Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его. В этом я поклялся пред образом спасителя,— мне достался крест по жеребью — я опоясался им, как мечом; я крестоносец, и если изменю клятве своей, наступлю на распятие сына божия!

— Все ли вы сказали? — прервал Зуда Артемия Петровича.

— Все, что должен был сказать и что исполню.

— Позвольте мне в свою очередь сделать вам вопрос один только.

— Будем слушать и отвечать.

— Может быть, не с такою твердостью, как доселе говорили.

— Увидим, увидим! Ну, к делу, господин грозный противник!

— Противник всегда, в чем вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышенно ваше рвение к пользе отечества, кто с этим не согласится? Но при этом подвиге необходимо условие, и весьма важное: собираясь в свой крестовый поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорицы опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь: или великий, трудный подвиг, или...

— Или волокитство, хочешь ты сказать,— прервал Волинской, несколько смутившись и покраснев.— О! эта шалость, из тысячи подобных, не опасна!.. Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна... это правда; но один поцелуй — и страсть промелькнет вместе с ним, как потешный огонек.

— Он сожжет это полуденное растение и отуманит вас, сына севера, крестоносца, запаянного в броню железную! Что станется тогда с вашею доброй, любезной супругой, которая вас так любит?

— О! она женщина холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно.

— Пока они неопасны! Что станется тогда с вашим предприятием, с вашими друзьями, которых вовлекли в него, с вами самими?..

— Ну, полно, честный иерей Зуда! Твоих проповедей до утра не переслушаешь. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь о домашних моих шпионах?

— То, что главный почти в руках моих.

— Я тебя не понимаю.

— Не могу более объясниться; на днях все узнаете. Но до вашего похода,— прибавил Зуда, вздыхая,— не угодно ли будет запастись орудиями Махивеля; они вам очень нужны.

— Ты хочешь сказать, лукавством и осторожностью, которых во мне недостает...

— Так же, как в вас слишком много благородства для борьбы с Бироном.

— О, что касается до этого, то я с тобой опять не согласен. Но обратимся к нашему учителю, Махиавелю. Ввернул ли ты в перевод выражение насчет нашего курляндского Боргио?

— Исполнил скрепя сердце, хотя со всею осторожностью,— сказал печально секретарь, как бы давая знать, что это ни к чему не послужит.— Не угодно ли вам будет прослушать последнюю главу?

Волинской дал знак согласия, и скоро принесена огромная тетрадь, прекрасным почерком написанная. Зудасел и начал читать вслух главу из Махиавелева «*Principie*»<sup>1</sup>, которого он, по назначению кабинет-министра, перевел для поднесения государыне. Но едва успел пробежать две-три страницы, прерываемый по временам замечаниями Волинского, присовокупляя к ним свои собственные или делая возражения, как вошел араб и доложил о прибытии Тредьяковского.

— Вели впустить его,— сказал Волинской, приметно обрадованный этим посещением,— Махиавелю и политику в сторону!..

Он вошел...

## Глава VI

### ПОСРЕДНИК

Пыщутся горы родить, а смешной  
родится мышонок!

Вступ. к «Телемахиде» \*

О! по самодовольству, глубоко прорезавшему на лице слово: *педант!* — по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции, Василия Кирилловича Тредьяковского. Он нес огромный фолиант под мышкою. И тут разгадать не трудно, что он нес — то, что составляло с ним: *я и он, он и я Монтаня\**, свое имя, свою славу,

<sup>1</sup> «О государе» (итал.).

шумящую над вами совиными крыльями, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес «Телемахиду», это высокое произведение, которое почти целый век, то есть до появления «Александрюды» \*, не имело ничего себе равного.

— А! дорогой гость, добро пожаловать! — сказал Вольнскойой, кивнув ему и взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как бы несли камень задавить его.

Гость отвесил глубокий поклон у двери так, что туловище его с нижнею частию фигуры составляло острый угол,— два шага вперед, другой поклон, еще ниже третий. Лицо его утучнялось радостью; желая говорить, он задыхался, вероятно от того ж чувства; наконец, собравшись с силами, произнес высокаторжественным тоном:

— Великий муж! как дань моего глубочайшего высокопочитания пришел я положить к подножию вашему энтузиасму моего счастья.

— Поведай, поведай, что такое,— сказал с усмешкою хозяин,— но с уговором, чтобы ты сидел. Я буду мечтать, что беседую с Омиром \*, повествующим мне о прекрасной Елене \*.

— Помилуйте, я и постою пред лицом вашим.

— Да, боже мой, садись, я тебе приказываю.

Тредьяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой.

— Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком и я обретаюсь состоянии. Но дух, как Иракий \*, чего не возможен! Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа \* и... и помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возмните, какое бы благополучие меня ныне постигло.

— Что ж, ты видел государыню?

— Насладился ее божественным лицезрением, но этого не довольно.

— Она говорила с тобою?

— Еще выше и гораздо выше.

— Да не томи же нас!

— Итак, познайте, ваше превосходительство, я призван был в царские чертоги для чтения моего творения... Весь знаменитый двор стекся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти должное благоговение пред богоподобною Анною... распустил за благо стать на колена... и в такой позитуре прочел почти целую песню... Хвалы оглушали меня... Сама государыня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемиловитвейшею оплеухою.

Тут Вольнской едва не лопнул со смеха; Зуда закусил себе губы.

— Не помыслите, великий господин, чтобы сия оплеуха была тяжка, каковые дают простые смертные своими руками; нет! она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала преутраенные душевные пружины в подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя. Она едва-едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства облепил все мое естество. Не памятую, что со мною тогда совершалось, памятую только, что сия оплеуха была нечто между трепанием руки и теплым дуновением шестикрылого серафима. Проникнутое, пронзенное благодарностью сердце бьет кастальским ключом, чтобы воспеть толикое благоденствие, ниспосланное на меня вознесенною превыше всех смертных.

— Поздравляем тебя от чистого сердца,— сказал Вольнской. Не зная, как освободиться от энтузиазмуса своего гостя и между тем боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции, что у него за книга под мышкою.

— А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Ее велено... (вы понимаете, кто велел)... показать вам... Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке.

— Много чести; зачем беспокоиться!

— Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия.

Кабинет-министр внутренне досадовал; но, желая разобрать смысл намека на знаменитую книжицу, потребовал ее к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однакож, уговором, чтобы он обрадовал его секретною весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственно на сердце, мигнул глупо-лукаво на Зуду, как бы считая его помехою, и поспешил обратиться к своему любезному предмету.

— Вот, извольте видеть, высокомощный господин, эта книжица есть...

Тут Василий Кириллович начал говорить и говорил столько о Гомере, Виргилии \*, Камоэнсе \*, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнул из кабинета; в слух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов — так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы «Телемахиды», он нашел закладочку... На ней, в нескольких словах, заключалось для Волынского все высокое, все изящное, о чем оратор напрасно целые полчаса проповедовал; на ней было начертано: *Мариорица; твоя Мариорица — скучно Мариорице!* Слова эти горели в глазах влюбленного Волынского; он видел уж впереди, и очень близко, шифры, переплетенные огнем, пылающие алтари, потаенные беседки, всю фантазмагорию влюбленных. Чего не изъяснил он, не перевел, не дополнил в этих словах! Любовь скорее всякого профессора научит анализу того, что говорит любовь.

«О Мариорица! милая Мариорица! — думал он, — мы и заочно чувствуем одно; нам уже скучно друг без друга. Ты теперь между шутами, принуждена сносить плоскости этих двуногих животных; предо мною такой же шут, которого терплю потому только, что он бывает у тебя, что он с тобою часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя, вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души».

В то самое время, когда Волынской, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом с своею

страстью, портрет его жены, во всем цвете красоты и счастья, с улыбкою на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделяясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нем; но надолго ли?.. Взоры его обратились опять на магические слова: *твоя Мариорица*, и весь мир, кроме нее, был забыт.

И вот кабинет-министр, в восторге своего счастья, взглянул на небо, как бы прося исполнить скорей преступные его желания.

— О победа! о венец труда великого! — воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторженное движение Вольинского относилось к одному месту из его поэмы. — Какое же место привело вас в такой энтузиазмус? соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтоб он мог сам поласкать его.

Вольинской смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры наугад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочел:

Видят они <sup>1</sup> весь шар земли, как благную грудку;  
Все ж преобширны моря им кажутся водными капли,  
Коими грязная кочечка-та по местам окроплена \*.

Это место превосходно! исполнено силы, великолепия!  
Я ничего подобного не знаю.

— Го, го, го, есть места еще лучше. Если позволите прочесть вашему признательному пииту!.. Например, когда Калипса \*, воспаленная *паренком* любви и ревностью, дает *окрик* на Телемаха и дядьку его.

Здесь Василий Кириллович встал и, сам воспалась гневом, замахав руками, вскричал так, что по сердцу собеседника его пробежала дрожь:

Прочь от меня, прочь далее, прочь, вертопрашный детина;  
С ним же ты совокупно прочь, старичишка безмозглый!  
Ты почувствуешь, мощен колико гнев есть богинии,  
Ежели не отвлечешь его ты вскоре отсюда.  
Больше видеть его не хочу; и к тому не терплю я,  
Чтоб которая из нимф слово спустила  
Иль на него чтоб и невозбранно коя смотрела \*,

---

<sup>1</sup> Боги (прим. авт.).



Чувствуете ли, ваше превосходительство, какую красоту причиняет слово *прочь*, четырежды повторенное. Это по-нашему называется: фигура усугубления.

«Дух-мучитель!» — подумал Воынскойой, истерзанный самолюбием сочинителя, и сказал вслух:

— Хорошего понемногу, Василий Кириллович! Дайте мне отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж!

— Ага, ваше превосходительство, вы истинный меценат, вы постигли меня, вы отдаете мне справедливость. Но я поведаю вам анекдотец, как могут ошибаться и великие люди. Теперь, не краснея, смею предьявить его во услышание мира, ибо я на предмет своей знаменитости успокоен. Пускай букашки, цепляясь за былинки, топорщатся на Парнасус; пусть рыбациска холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на сопелке свою одишку на взятие Хотина\*, которую несмысленные ценители выхваляют до небес: моя труба зычит во все концы мира и заглушит ее; песенка потонет в 22205 стихах моей приимы! 22205 вернейшим счетом!.. Не легко сказать; возьмись-ка кто написать!.. Сколько ни обгложут из них мои зоилы, сиречь завистники, все останется мне их довольно для существования в потомстве.

— Скорей к повествованию, Василий Кириллович, и потом жаждущему хоть каплю воды: одно слово о княжне. Когда ты скажешь мне его, я велю принести подарочек...

Глаза будущего профессора элоквенции заблестали огнем. Он рассыпался в благодарности, окрился и повествовал:

— Итак, я поведаю вашему превосходительству вкратце анекдотец о себе и Петре Великом. Извольте ведать, что я обучался элементам наук и древних языков в архангельской школе. Уже в летах младых я обещал в себе изобильные надежды. Единожды, когда со благоволил посетить наш вертоград блаженные и вечно достойные памяти наш вертоград блаженные и вечно достойные памяти государь Петр Первый, профессор подвел меня к его императорскому величеству, яко вельями прилежного и даровитого студента по всем ветвиям наук, особенно в риторике и пиитике. Еле четырнадцатилетний паренище, я выучил наизусть главу об изо-

*бретении* со всеми цитатами и эпитафиями, как помилюй мя боже, и сочинил стихословный акростих: «Как по-добает чествовати богов земных?» Сей акростих был поднесен его императорскому величеству, и он, возрев на него, соблаговолил изречь: «*Лучше б написал он мне о рыбной ловле дешнего края!*» Ге, ге, ге, о рыбной ловле: заметьте, ваше превосходительство! Осмелюсь присовокупить, впрочем не утруждая вашего драгоценного внимания: Петр Алексеевич хотя и был государь премудрый, но в риторических извитиях не обращался, греческого и латинского языков не любил. Сожалительно весьма; чего бы он с познанием их не сотворил! Но обращаюсь к существу повествованию. Потом всемилоостивейший государь, блаженные и вечно достойные памяти, соблаговолил подойти ко мне, выведенному из ряду прочих школьников, поднял державною дланью волосы на голове моей и, взглянув пристально мне в очи, а скиптроною ударив по челу моему, произнес: «*О! этот малой труженик: он мастером никогда не будет*». И я дерзаю днесь изрещи: *Петр был государь великий; но во мне-то и ошибся!* Приинки ныне, о тень божественная, на мою «Телемахиду», на Ролленя дважды в двадцати четырех томах, и сознайся пред ними в своей опрометчивости.

Волинской очень смеялся этому анекдоту; но чтобы разделаться с своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилоостивейшей оплеухе, велел арабу принести обещанную пару. Между тем решительно приступил к Тредьяковскому, чтоб он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне.

Василий Кириллович рассказал за тайну, что ее сиятельство была очень скучна, узнав, что его превосходительство сделался нездоров, что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору и нет ли какой в городе, ей неизвестной; когда ж Васплий Кириллович, как новый Парис \*, вручил ей золотое яблоко, она казалась очень довольною. Далее спрашивала об играх и затеях святочных, собиралась ныне же, когда

месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженом; наконец, во время урока, принялась чертить свое имя и еще кое-что... Но, несмотря на старания учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать ее, боясь, что она попадет в руки Артемия Петровича. (Мы видели, однакож, что эта самая записка очутилась в «Телемахиде», между листами, вместо закладки и дошла к кому следовала: так-то хитра любовь женщины! Верьте, что она, когда нужно, проведет не только профессора красноречия, но и поседелого в дипломатии мужа.)

Утешенный Вольтинской, с новым запасом для своих волшебных замков, выпроводил от себя Тредьяковского, а этот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья, ему подаренную, и свою «Телемахиду», отправился с этим сокровищем домой. Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет-министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. Велено пригласить.

## Глава VII

### ПЕРЕРЯЖЕННЫЕ

«Послушай, говорит, коль ты умней не будешь,  
То дерзость не всегда легко тебе пройдет.  
На сей раз бог простит: но берегись вперед  
И знай, с кем шутишь!»

Крылов \*

Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали;  
За ворота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали.

Жуковский \*

Еще на лестнице послышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. И какая беда с профессором элоквенции! Ему навстречу ватага переряженных. Его оглушили, засвистали, защекотали: от парика его пошла пудра столбом. В этой суматохе он думал не о себе; нет, великий муж мыслил, подобно Камюэнсу,

гибнущему в море \*, о спасении «Телемахиды» и праздничной пары. Жалея о своем детище, которое могло бы пострадать от приступа маскарадных героев, он повернул медвежьей стопы назад: его затерли и увлекли. Как огромный гремучий змей, втянулись они в зал, составили польский, сгибаясь в кольца и разгибаясь в бесчисленных изворотах, но не выпуская из своего круга бедного, измученного кропателя стихов. Тут были инка \*, гранд и донна, испанцы только по женским мантильям, на них накинута, и по перьям на шапочках с бриллиантовыми аграфами \*. Шлейф донны несли два карла. Сбитенщик с огромным подушечным брюхом давал руку турку, трубочист с знатным ариергардом на спине — великолепной Семирамиде \* в фижмах, чертенок — капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надетая на ручку половой щетки, нос из расщепленной надвое лучины, а ноги — просто человеческие, в сапогах. Рядом ревел и медведь: эту роль играл человек в медвежьей шубе, вверх шерстью. Одним словом, тут был полный замороженный маскарад, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны; зато они веселились не равнодушно, не жеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды; он один хранил угрюмое молчание. Заметно было по жилистым, полновесным ручкам донны и Семирамиды, что они способны управлять не иглой, а палашом.

Одна из масок остановилась в сенях; ей навстречу — барская барыня.

— Что нового? — спросила первая.

— Цыганка после смотра долго оставалась наедине с барином, — отвечала вторая на ухо переряженному, — допытайте ее хорошенько... За мной строго присматривают...

Разговаривавшие слышали шум шагов внизу лестницы и бросились каждый в свою сторону.

Прервавший их тайную беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и в долгополой мантии с иероглифами и зодиаками, с длинною тростью в одной руке и урной в другой.

Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, плясали уморительно по-стариковски, приводя в движение подушки, которыми обвязались; закидывали хозяина вопросами на разные чудные голоса, пускали шутихи остроумия и по временам намекали ему о некоторых тайнах его, известных только его друзьям. Это мучило Артемия Петровича; он не выдержал и приказал *маршалку* выведать от кучеров, стоявших у подъезда, кто были переодетые. Кучера сначала отговаривались, но гривна на водку все открыла: они рассказали, что главные маски были гоф-интендант Перокин и тайный советник Щурхов, друзья Воынского, с своими близкими. Узнали еще, что этот маскарад возвращался уже из дворца, где увеселял больную государыню. В самом деле, Артемий Петрович, сличая рост и ухватки своих друзей, уверился, что это точно они, да и карлы были те самые, которых он видал у Перокина и Щурхова. Вельможи эти были не молодых лет, но в тогдашнее, нещекотливое на приличие время старость и знать под веселый час любили подобные затей в кругу приятельском или по заказу государыни.

Турок потребовал питья у сбитенщика, и этот налил ему из своей баклаги густого токая.

— В чужой монастырь с своим уставом не ходят, — вскричал Артемий Петрович, — стакан вдребезги, — и дан приказ расшевелить все углы домашнего погреба, заветного хранилища богатых заморских вин.

Пир поднялся горой; стопы и чары, постукивая, начали ходить кругом; разлилось море вина, хоть купайся в нем. Инка, турок, Семирамида пили по-русски. Капуцин, осушая стопу, ссылался, что соблазнил его нечистый, а бес приговаривал, что, попав в общество капучина, поневоле научишься пить. Гости продолжали говорить не своими голосами, изредка обстреливая Бирона и его приверженцев; хозяин, увлекаясь живостью своего характера, не выдерживал и осыпал герцога

посылками с убийственной начинкой. Только долговязый рыцарь молчал, как немой, но пил за двоих. Надо оговориться, что Артемий Петрович, дав слово гостям не нарушать их маскерадной тайны, свято исполнил его; гостям же бумажные забрала позволяли, осушая стопы, сохранить свое инкогнито. Между тем Зуда с ужимочками, с улыбочками и приветствиями подходил то к одной, то к другой маске и каждого ощупывал по роду его ответов.

— Ах! — возопил инка, — из столицы солнца, где жгли меня и лучи его и жаровни испанцев, я прибежал прохладиться в Россию.

— Ошиблись, ваше индейское величество! — подхватил Волинской, — здесь научили жарить на морозе без огня и угольев.

Индеец посмотрел на беса, бес на индейца; а хозяина в это время дернул за полу кафтана волшебник.

— Кой черт его дергает! — вскричал Волинской. — Да, братец, господин волшебник, эта наука не доморощенная, привезена к нам из-за моря нерусским Вельзевулом\*.

— Нерусским! да из какой же земли? — спросил грозно турск.

— Пасую ответом! — закричал чертенок.

— Из земли выходцев, где главные достоинства — счастье и отвага, — прервал Волинской, — жаль только, что он не наш выходец, и навеки!

— Хват! перещеголял и меня! — восклицал бес, хлопая в ладоши.

— Скажи мне, пожалуйста, братец, — спросил шепотом сбитенщик Артемия Петровича, отведя его в угол залы, — кто это волшебник?

— Да ведь он с вами приехал?

— Нет, он увязался за нами на лестнице! не шпион ли герцога?

— А вот я скоро с ним разделаюсь, сдерну с него фальшивую рожу.

— Постой, два слова...

— Боже! он погубит себя, — шепотом говорил Зуде волшебник, отведя его в сторону, — он, верно, принима-

ет его за друга... Сердце замирает от мысли, что он проговорится... Он с бешенством на меня посмотрел, грозился на меня, показывал, что сдернет с меня маску... Я погиб тогда. Отведи его, ради бога!

— А меня ты узнал скоро? — спросил сбитенщик хозяина.

— Разом.

— Кто ж я?

— Перокин.

— Плутнице!

— В другой раз прячь получше свои толстые жабры, пышные губки и бородавку на ухе, а карлом своим не хвастайся.

— Есть ли новости, брат?

— О, важные! Малороссиянин.

— Ну что? тише...

— И мертв и жив.

— Что за притча! Каким же образом?

— До вас я только что получил...

— Сюда, Артемий Петрович! время не терпит, — вскричал странным голосом Зуда, увлекая за собою упиравшегося волшебника, — плутоват, как Махиабель!

— Махиабель? — повторил Воынской, — я разом к тебе буду, — прибавил он, обратясь к сбитенщику, и бросился в ту сторону, где Зуда возился с астрологом. Этот от Воынского, далее и далее, и в противный угол залы, где никого не было.

— Вы губите себя, — сказал он Артемию Петровичу, схватя его за руку и легонько пожав ее.

Зуда присовокупил шепотом:

— Слушайте его, а не то беда! — Потом сказал вслух: — Колдун вовсе не пьет.

— Избавьте меня! — умолял жалобным голосом астролог, — зато я предскажу вам будущность вашу. Выньте из урны ваш жребий.

— Посмотрим, посмотрим!

Хозяин опустил в волшебный сосуд руку; между тем чародей протяжно запел непонятные слова, как муэдзин взывает на минарете к молитве.

— Эй, люди, сюда! — закричал Вольтинской, — держите его! беда колдуну, если он напроорочит мне худо: утоплю его в вине.

Человека три ухватились за волшебника; из них и Зуды составила порядочная группа, почти закрывавшая главные лица этой сцены. Молчаливый рыцарь встал с своего места и, не слыша, что они говорили между собою, впился в их душу глазами, сверкающими из-под маски, которую в это время коробило.

Вольтинской вынул из урны свернутую бумажку и прочел: «Берегитесь! все ваши гости лазутчики Бирона, учившие роль ваших друзей и приехавшие к вам под именами их. Они хотят втереться к вам в кабинет. Не оскорбляйте рыцаря: это брат герцога».

Рука записки была та же, которую писали длинное таинственное послание.

— Хитрая штука! — вскричал хозяин, стараясь не казаться озабоченным. — Предсказывать, что мне не будет более успеха в волокитстве!.. Качать его за то!.. Эй, качать колдуна! Осторожнее! — прибавил он потихоньку одному из своих слуг, взявшихся за волшебника.

И двадцать молодых, исполняя свято приказ своего господина, под лад песни бросали гостя вверх, как мячик, и принимали его бережно на руки, будто на пуховики. Между тем Артемий Петрович шепнул под шумок одному из своих слуг, чтобы стерегли вход в кабинет, отослали домой сани приехавших гостей и запрягли три удалых тройки с собственной его конюшни; потом, возвратясь к мнимому Перокину, продолжал начатый с ним разговор.

— Вот видишь, любезный друг, — сказал он, — я только что пред вами получил прошение на имя государыни за подписью какого-то Горденки и еще нескольких важных лиц. В нем описываются злодеяния Бирона. Но — слышишь? просят вина! Не взыщи. Завтра в восемь часов утра приезжай ко мне с нашими задушевными — я вам расскажу все подробно.

— Зачем откладывать?.. завтра... что-нибудь помешает...

— Нас могут услышать.

— Войдем в кабинет...



— Не могу, право слово!.. Эй! маршалок! бокал сюда! — закричал грозно Воынской, пристав к шумящим гостям, и запел:

Чарочка моя,  
Серебряная,  
Кому чару пить,  
Кому выпивать...

Да какая же чара! — прибавил он, наливая бокал, — не только с хмельком, да и с зельицем...

Выпивать ее  
Артемию Петровичу,—

запели два-три голоса с коварною усмешкой.

— А я так думаю — всем гостям моим,— возразил с такою же усмешкой хозяин.

И чара обошла всех гостей, кроме волшебника, успевшего скрыться.

— Эй! скорей еще вина!

Чертенок, воспользовавшись обращением Воынского к своему дворецкому, погрозил вслед ему пальцем и примолвил:

— Поболе таких вин, как твои, господин хозяин, и ты не увернешься от наших когтей.

На эту шуточную угрозу, Воынским услышанную, он отвечал:

— У нас, по милости хозяина, во всякое время найдется довольно вин, чтобы виноватым быть. Беда, беда сбитенщику! За ним, я вижу, опять недоимка. Зуда, не отходи от него, пока не очистит, а то в доимочный приказ, и на мороз босыми ногами.

— Что скажете вы на все это, господин рыцарь? — спросил чертенок молчаливого крестоносца.

Рыцарь молча ударил по эфесу меча своего.

— Ошиблись, господин! вы вместо секиры привесли благородный меч,— сказал Воынской горячась.

— Не миновать тебе и ее! — был ответ рыцаря, как будто вышедший из могилы.

Хозяин вспыхнул, но старался скрыть свое негодование.

— Что-то помалчивает наша Семирамида? — лукаво спросил инка.

— Она горюет, — продолжал Вольнской, — что ошиблась в выборе своего рыцаря. Но добрая Семирамида узнает когда-нибудь свою ошибку — к черту угрюмого конюшего (при этих словах рыцарь нахохлился), и блаженство польется в ее стране, как льется теперь у нас вино. Друзья, за здоровье Семирамиды!

— За здоровье Семирамиды! — воскликнули гости, и стопы зазвучали.

— Виват! — возгласил турок.

— Ура! родное ура! — закричал хозяин.

— Виватом у нас в Петербурге встречает войско свою государыню.

— Войску велят немцы-командиры, а нам кто указывает! Ура! многие лета царице! веки бесконечные ее памяти!

— Слышишь? — сказал чертенок шепотом, толкнув монаха, — память ей вечная!

— Да, да, я слышал, — отвечал капуцин, — слышал, верно, и благородный рыцарь. Мы все свидетели; от этого он не отопрется.

Вольнской подошел к своим слугам и приказал, чтобы качали попеременно всех его гостей.

— Бойчее! — прибавил он мимоходом, — разомните им кости!

Этот приказ развязал руки качальщиков. Надо было видеть, как летали турок, чертенок, капуцин и прочие маски.

— Злодеи! разбойники! тише, родные, пощадите! — кричали они, посылаемые сильными руками к толку.

При этом действии славили гостей под именами Перокина, Щурхова и других, за кого приказано было людям принять их. Едва унеся свое тело и душу из этой потехи, они еще принуждены были щедро наградить за славление: так водилось у наших предков. Перокин более всего держался за свои уши, но бородавка на одном из них не уцелела. Вольнской притворился, будто этого не заметил. Грозный рыцарь, по просьбе его товарищей, Семирамида, из уважения к ее высокому сану и послу, и Тредьяковский, который уже храпел на стуле в

углу комнаты, обняв крепко свою «Телемахиду», одни избавились от торжественного возношения под потолок.

— Умирать! — закричал Волынской, став на средину зала. И вся многочисленная дворня, бывшая в комнате, окружив своего владыку и преклонив голову, пала к нему в ноги, как морские волны, прибитые взмахом ветра к подножию колонны, стоящей посреди пристани. Несколько минут лежали слуги, будто мертвые, не смея пошевелиться; но вдруг, по одному мановению своего господина, встали, затанув ему громкую песню славы. Под лад ее подняли его на руки и осторожно покачали. Когда ж эта русско-феодальная потеха кончилась, Волынской нарядился в богатый кучерской кафтан и предложил своим гостям прокатиться.

Согласились тем охотнее, что замашки хозяина грозили уж опасностью. Каково ж было их изумление и страх, когда они, вместо своих экипажей, нашли у подъезда сани с людьми, им вовсе не знакомыми? Три бойкие тройки, прибранные под масть, храпели и рыли снег от нетерпения.

— Извините, друзья, — сказал Волынской, — ваши сани отосланы. Размещайтесь смелее; я вас покатаю и развезу по домам.

Незванные гости не знали, как вырваться из западни: надобно было согласиться и на это предложение хозяина, который в подобных случаях не любил шуток, и постараться во время катания ускользнуть от него подобру-поздорову. Когда ж почти все маски разместились, продолжая свое инкогнито, Артемий Петрович приказал кучерам на двух санях, при которых на облучках усесть еще по двое дюжих лакея, чтоб они умчали своих седоков на Волково поле и там их оставили.

— Слышите! на Волковом поле сбросить их! — произнес он грозно; потом, обратясь к гостям, прибавил: — Шутка за шутку! прощайте, господа! Теперь смейтесь на мой счет сколько вам угодно! катай!..

Несчастные жалобно возопили, но кучера гаркнули, свистнули, полозья засипели, бубенчики на лошадях за-

лепетали, и в один миг сани, навьюченные жертвами шпионства, исчезли из виду.

— Теперь,— сказал Воынской, садясь кучером в третьи сани, где поместился рыцарь печального образа, довольно нагруженный вином, и обратясь к нему,— позвольте отвезть вашу светлость к Летнему дворцу. Вы уже довольно наказаны страхом и, прибавлю, стыдом, что попали в шайку подлых лазутчиков. Знайте, за час до вашего приезда меня известили о вашем посещении, и потому я приготовился вас встретить. Мои шпионы не хуже герцогских. Вы, думаю, поймете, что шутками насчет вашего брата хотел я только доставить вам и вашим товарищам пищу для доноса. Уверьте, однако ж, его светлость, что как я, так и друзья мои никогда не потерпим личного оскорбления, даже и от него. Мы спокойны: клевете и зависти не сделать белого черным. Преданность наша государыне всем известна; должного уважения нашего к герцогу мы никогда не нарушали. Но для всякой предосторожности, чтобы не перетолковали в худую сторону моих шуток, ныне ж донесу ему обо всем случившемся в моем доме, и об оскорблениях, мне лично сделанных людьми, играющими роль его лазутчиков. Надеюсь, если вы не хотите, чтобы нынешняя история известна была государыне, и вы подтвердите мое донесение. Вот Летний дворец! извольте сойти, целы и невредимы; благодарите за то родству вашему с герцогом курляндским. Покойной ночи, Густав Бирон!

Не отвечая ничего, со стыдом вышел рыцарь из саней и скрылся у входа в жилище герцога. Оставшаяся при нем свита выпрыгнула за ним, как лягушки, распуганные на берегу, опрометью бросаются в свое болото. Не так хорошо кончили свое ночное поприще их приятели. По буквальному тексту данного приказа, они выброшены на Волковом поле, получившем свое знаменитое название от волков, приходивших туда каждую ночь доканчивать тех, которые при своей жизни не были пощажены жестокостью собратий, а по смерти их пренебрежением.

Маски в лунную ночь на кладбище — и еще каком, боже мой! — где трупы не зарывались: инка, Семирамида, капуцин, чертенок, это разнородное собрание, борю-

щееся с мертвецами, которые, казалось им, сжимали их в своих холодных объятиях, хватали когтями, вырастали до неба и преследовали их стопами медвежьими; стая волков, с вытьем отскочившая при появлении неожиданных гостей и ставшая в чутком отдалении, чтобы не потерять добычи,— таков был *дивертисмент*, приготовленный догадливою мезтью героям, храбрым только на доносы. К довершению их горя, надо было им пройти до своих квартир несколько верст пешком и на морозе.

Торжествующий Воынской, обещааясь быть вперед осторожнее (что он не раз уже обещал), отослал слуг домой и в кучерской одежде поехал шагом мимо Зимнего дворца.

Луна, полная и свежая, как дева, только что достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом небе округленные, роскошные формы свои: то едва закрывалась сквозной косынкой облачка, то шаловливый ветерок сдергивал ее. Ночь была так светла, что можно было читать. На улицах никого. Тишина и игра лунного света придавали этой ночи какую-то таинственность. По Луговой линии во всех домах огни были погашены; одетые к стороне дворца мраком, здания стали, как угрюмые, исполинские стражи его, и простерли вперед тень свою, будто огромные зазубренные щиты. Один дворец изукрашен был огнями, игравшими сквозь окна, как золотая фольга, и, затопленный светом луны, благоприятно обратившейся к нему лицом, блестел мириадою снежных бриллиантов. Воображая себя витязем наших сказок, катился Воынской по снежному полотну мимо этих волшебных палат, где жила его княжна. Словно духи, его преследовавшие, тени от коней его то ровнялись со дворцом, то далеко убегали, ложась поперек Невы.

Раз проехал мнимый ямщик под самыми окнами Мариоричи и мимо маленького дворцового подъезда. Какая досада! никого не видно. В другой, объехав две-три улицы и возвращаясь опять к крыльцу, как бы очарованному для него, он заметил издали мелькнувшие из сеней головы. Ближе — нельзя сомневаться: это головы женские. На лестнице, сошедшей в улицу, захрустел снег

под ножками; хрустнуло и сердце у Вольнского. Сильною рукою замедляет он шаг коней.

Девушки смеялись, бросали свои башмачки, спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком, резвились между собою, пололи снег и, наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали спор.

— Спроси ты,— говорила одна.

— Нет, ты! нет, ты! — слышалась перестрелка тоненьких, нежных голосов — голосов, заставляющих прыгать все струны вашего сердца, особенно когда раздвоятся в святочную ночь, в таинственной ее тиши, когда и живописец-месяц очерчивает для вас пригожие личики говорящих.

Наконец, одна осмелилась и спросила мнимого ямщика:

— Как тебя зовут, дружок?

Вольнской содрогнулся и невольно остановил лошадей; в этом вопросе он узнал звуки Мариорицына голоса.

— Артемием, сударыня! — отвечал он, скинув шапку.

— Артемий? — повторила, задумавшись, молдаванская княжна, и кровь ее, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть из щек.

— Артемий? — закричали, смеясь, девушки, — какое дурное имя!

— Неправда! оно мне нравится, — подхватила княжна.

— Кто бы это был ваш суженый? — продолжали ее подруги. — Все, кого мы знаем, не пара вам: или дурен, или женат.

«Я знаю моего суженого, моего неизбежного», — думала Мариорица и молчала, пылая от любви и чувства фатализма.

Девушки перешептывались, а лихой ямщик все еще стоял на одном месте; наконец, и он осмелился обратиться к ним с вопросом:

— Смее спросить: вас как зовут?

— Катериной! Дарьей! Надеждой! Марьей! — посыпались ответы.

— Неправда, неправда,— сказал гневно один голос,— Мариорицей!

И этот голос был покрыт хохотом подруг ее.

Ямщик вздохнул, надел шапку набекрень и тронул шагом лошадей, затянув приятным голосом:

Вдоль по улице метелица метет;  
За метелицей и милый друг идет.  
«Ты постой, постой, красавица моя!  
Еще дай ты насмотреться на себя,  
На твою, радость, прекрасну красоту;  
Красота твоя с ума меня свела.  
Сокрушила добра молодца меня».

Возвратившись домой, Артемий Петрович застал воспитанника Ролленева спокойно спящим на том же стуле, на котором хмель приютил его. Влюбленному пришла мысль воспользоваться для своих замыслов положением стихотворца.

«Пора к делу! — сказал он сам про себя. — Она так неопытна; давно ли из гарема? кровь ее горит еще жаром полудня: надо ковать железо, пока горячо! Светское приличие, которому скоро ее научат, рассудок, долг, одно слово, что я женат... и мои мечты все в прах! Напишу ей записку и перешлю с господином Телемахом: этот молчаливый посланный гораздо вернее. Она найдет ее... будет отвечать, если меня любит... а там тайное свидание, и Мариорица, милая, прелестная Мариорица — моя!»

И Воынской пишет, исполненный адских замыслов, вскруживших ему голову до того, что он не видит ужасной будущности, которую готовит вдруг и своей супруге и девушке, неопытной, как птичка, в первый раз вылетевшая из колыбельного гнезда своего на зов теплого, летнего дыхания.

Вот что он пишет:

«Не выдержу долее!.. Нет, не достанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариорица, видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукою любви? Почему не могу вырвать его из груди своей, чтобы бросить псам на съедение?.. Мысли мои помутились, горячка пробегает по жилам, уста мои запеклись: одно слово, только одно слово, росинку надежды — и я

блажен, как ангелы на небесах! Видишь, я у твоих ног, обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, все, что для него только дорого на земле и в небе. О милая, бесценная Мариорица! Ужели жестокостью своей захочешь свергнуть меня в бездну тартара? Ужели хочешь видеть труп мой под окнами твоими?.. Реши мою участь. Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе посылаю, и возврати мне ее на имя Тредьяковского завтра поутру, как можно ранее».

Волынской не затруднился сочинить это письмецо: любовь и опытность помогли ему. Не так легко было сочинителю пустить записку в ход. Узел в руках опьяневшего Тредьяковского развязан; но лишь только Артемий Петрович дотронулся до «Телемакиды», как творец ее, по какому-то сочувствию, замычал во сне. Дано ему забыться опять сном, и новый Язон \* опять принялся за похищение золотого руна. Мычание повторилось, но в то самое время, как Волынской, со всею осторожностью, вытягивал из узла громоздкое творение, араб вкладывал на место его также осторожно полновесный фолиант. Послышав тягость в своих руках, Тредьяковский захрапел.

Подрезана бумага под переплетом «Телемакиды», и письмецо вложено в него так, что, коснувшись нежным пальчиком, сейчас можно было его ощупать. Затем велено арабу ехать во дворец, отдать книгу княжне Мариорице Лелемико от имени ее учителя, Василия Кирилловича, который, дескать, ночует у господина Волынского и приказал-де ей выучить к завтрашнему дню, для произнесения пред государыней, первые десять стихов из этой книги, и приказал-де еще переплет поберечь, книги никому не давать и возвратить ее рано поутру человеку, который за ней придет. Арабу наказано было отдать посылку как можно осторожнее, или в собственные руки княжны, или горничной, однако ж так, чтобы он слышал, что книга отдана княжне. С сердцем, полным страха и надежды, как водится в таких случаях, Волынской отправил своего черномазого Меркурия.



Глава VIII  
ЗАПАДНЯ

Кого кто лучше проведет,  
И кто хитрей кого обманет?  
Крылов \*

С сырыми от снега башмаками возвратились гоф-девицы домой из своего путешествия в волшебный мир гаданья. По каменным истертым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате Мариорицы.

— Наши русские барышни свычны со снегом,— сказала княжне ее горничная, уговаривая переменить обувь,— им ничего! а вы у нас прилетная птичка из теплых краев.

— И я хочу быть русской! — отвечала Мариорица; однако ж послушалась, чувствуя, что ноги ее были очень мокры.

Усадили княжну в огромные президентские кресла, которых древность и истертый бархат черного порыже-лого цвета еще резче выказывали это юное, прелестное творение, разрумяненное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу ее форм. Это был розовый лист, павший на рясу чернеца, лебедь, покоящийся в темной осоке. Окруженная подругами, которые смотрели на нее, как бы желали себе: одна — ее мягких волос, свивавшихся черными лентами около шеи и до пояса, другая — ее румянца, третья — ее стана, плеч и бог знает чего еще; замечая в их глазах невольную дань ее превосходству и видя это превосходство в зеркале, осыпанная нежными заботами служанки, стоявшей на коленях у ног ее, Мариорица казалась какою-то восточною царицей, окруженною своими подданными. Горничная проворно скинула с нее обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей; согрешивши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала ее в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такой еще не видывала! вы видели ли?» — и, поцеловав, спешила обуть. Мариорице, раскинувшейся на бархате кресел, которые, казалось, бе-

режно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает в иссохшие объятия милое дитя свое,— Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, видавших ее, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха?

И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орел, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучался у дверей. Служанка вышла и скоро возвратилась с огромною книжицей и поручением от господина Тредьяковского, переданным вполонину.

— Ох! уж этот мне Василий Кириллович! — сказала княжна, топнув слегка ногой и с досады надув губки.— Легко ли?.. выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хотина!.. Выучить наизусть! Мучитель! безбожник!

— Велено еще доложить вам, сударыня,— примолвила торопясь служанка, будто стараясь рассказать выученный урок,— что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егарей-мастера Артемия Петровича Волинского, просит вас переплет книжицы поберечь, ее самое никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет завтра поутру, как можно ранее, потому что книжица эта ему очень нужна.

При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка, в голове сметливой и — нечего греха таить — влюбленной девушки. Угадчик-сердце шибко застучало. Мариорица призадумалась было, как математик над решением трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки, раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая его вслух. От первых стихов:

В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипса...\*  
и прочее,—

гоф-девицы были в восторге.

— Как это хорошо! так и тянет за душу,— говорили они; но вдруг захохотали, смотря лукаво друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения:

Се вдруг узрела она корабля разбитого доски,  
Лавки гребейки почти на дщицы переломаны, весла

Также туда и сюда по песку разметаны, купно  
Щеглу<sup>1</sup>, кормило одно и верви при бреге пловущи...\*

— Не мешайте мне учиться.— сказала Мариорица, приняв гневный вид, и подруги ее, смеясь, высыпали из комнаты.

С робостью осмотрелась кругом Мариорица. В комнате, кроме ее, никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывать ее, шарить в ней...

Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты Груни, ее горничной, была умышленно проверчена щель? Могла ли подозревать, что этой горничной настрого приказано обер-гофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за ее поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок — и именно из дому Вольнского?.. Боже упаси Груню утаить что-нибудь! Домашний лазутчик кабинет-министра уж дал знать герцогу, чрез кого следовало, о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудюю. О! этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчет нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту.

Горничная искренно любила свою госпожу, и нельзя было не любить ее. Обворожительная своею красотой и детскою добротою сердца, Мариорица казалась существом, похищенным из двух раев — магометова и христианского. Груне гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать все свое мастерство и усердие, нежели шпионить против нее, но выступить из повеления Липмана, обер-гофкомиссара, любимца Биронова и крестника государынина, можно было только положи голову в петлю.

Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный герцогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был, по одному только намеку его, оклеветать, пытаться, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому Груня покорилась необходимости. Творя крестные зна-

---

<sup>1</sup> Машта: \* НВ. Толкование г. Тредьяковского. В стихах соблюдено его право- или кривописание (прим. авт.).

меня и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца.

Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника; кровь пошла скоро, скоро, будто колеса в часах, когда порвалась цепочка: Мариорица ощупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви; наконец, поцеловать раз, еще раз, нежно, страстно роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца,— вот что делала Мариорица и что делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви (пожалуй, если угодно, от жениха)!

Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копытами своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда! неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!»

Виноват, виноват: я пошутил; и если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме.

«И он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их! О, какой же он нежный, страстный!..» — говорила про себя Мариорица и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать.

Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку.

И милая восемнадцатилетняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, еще раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать: «Да, я-таки недурна!..» — вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, еще раз поцеловала записку, обещаясь завтра поутру отвечать на нее,— а то, пожалуй, немудрено и убиться беденькому! — положила ее под изголовье и, наконец, заснула, сладко-мучительно заснула.

Груня видела все. Стало ей жаль барышни, и она решила было не исполнить приказ Липмана; но мысль о заводах, куда сошлют ее и где отдадут за какого-нибудь горбатого, кривого кузнеца, придала ей жестокой твердости. Она сотворила крестное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевести дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха, что Мариорица того и гляди может проснуться.

Как беззаботно раскидалось прелестное дитя! Щеки ее горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот рука горничной под подушкой... Мариорица вздохнула... и Груне показалось, что рука у ней отнялась... «Открой она теперь глаза,— думала невольная сообщница шпионства,— меня, как громом, пришибет». Но рука уж под изголовьем... мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение... записка схвачена... рука на свободе.

Груня залилась горячими слезами; плакать, однако ж, было некогда: она обтерла слезы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут чрез камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей: отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась, и чтобы он вручил ее герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи, в тогдашнее время, пажи были наметаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извилинах дворцовых коридоров, слабо освещенных.

Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев в замочную скважину, что он приближается, в одно мгновение ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелек и, оделя их по горсти мелкого серебра, приговорил:

— Заправна, плутишка! люблю молодца! вот вам на сладка!

Пажи поцеловали у него руку; один же из них, делая это, всунул в нее потихоньку известную записку.

— Твоя, помолодше, проводит моя! — сказал Бирон, махнул ему рукой.

В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове:  
— От кого?

— Из отделения молдаванской княжны,— отвечал быстро паж,— записка принесена из дома Вольнского, в книге русского учителя; горничная ждет назад.

Бирон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочел записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце... любимицу государыни?.. Этого довольно, чтобы сгубить соперника!.. Но Бирон ли раскроет и пресечет эту связь в самом начале?.. Нет, он не так прост. Ему нужно продлить ее, усилить даже собственной помощью, запутать молодца и... тогда... Что будет тогда, увидим». Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков ее списать роковое послание. Когда ж это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю тем же исковерканным языком, которого дали мы образчик, но который не станем более употреблять, избегая затруднения в разговорах:

— Какой прекрасный почерк! Золотая ручка! да где ты этому мастерству учился?

— У камер-лакея Исполатова,— отвечал торжествующий паж с самодовольным видом.

— Виват, Исполатов! Только, вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах (при этом слове паж, видимо, опечалился: он думал, что исполнил свое дело, как искуснейший министр). Впрочем, это безделица; я говорю для переду. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письма; а как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои. (Разумеется, пажик поцеловал опять у Бирона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротою стенографа.) Вперед я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький! негодные вещи, которых не любит государыня! Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учишь этому, когда вырастешь.

(Не учишь!.. Лукавец!.. А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать.)

Когда этот урок кончился, Бирон отправил пажу к горничной с строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось: наградой можно избаловать служанку — на нее должен был действовать один страх и гроза.

Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым, сквозным ветром. Взяв от пажу роковое послание, она с этой тяжелой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкой положила записку под подушку.

«Бедная! как сладко спишь ты! — подумала служанка, — может статься, видишь своего любовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, окаянная, попала к тебе на этот раз! Что ж? кабы не я, сделала бы это другая».

И с этими мыслями пошла Груня спать на свое жесткое ложе, молилась, плакала, но не могла заснуть до зари. Поутру рано, пока барышня ее спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали. Ведь наказано было как можно ранее возвратить ее. А то, неравно, бедная княжна вздумает отвечать на письмецо; ответ перехватят, и опять новое горе, новые заботы!

## Глава IX

### СЦЕНА НА НЕВЕ

И труп поглощен был глубокой рекой.  
Жуковский\*

Была глухая полночь. Месяц, насупившись, бросал дремлющий свет на землю. Ни одной живой души по всем улицам Петербурга.

Только на берегу Невы, к Смолянному двору, прорывался конский топот. На дровнях неслись два мужика; один правил бойкою лошадыю, другой сидел позади, свеся ноги. Бороды их густо заинедело. Между ними лежал рогожечный куль, порядочно вздутый. Вид этой поклажи в такое время не предвещал ничего доброго.

Начали спускаться на Неву. Правивший лошадью оглянулся, укоротив бег ее, и спросил своего товарища, не видать ли кого.

— Тфу, пропасть! — отвечал другой, — во всю дорогу вертелось перед глазами черное пятно: то росло, то пропадало.

— А теперь?

— Пропало вовсе.

— Тебе померещилось; а может, и нечисть разыгралась за нами. Полночные часы!.. едем с мертвецом!..

— Не впервинку возить; кажись, по нас в ходу и половица: «*В куль, да в воду!*» Нет, братец, ныне времена жуткие. Курицы по всем частям поют петухом, петухи несутся; сказывают, и оборотень свиньей бегаёт по городу: вчера у дворца хотел ее часовой штыком, ан штык у него пополам.

— Уж и кликуши по церквам вызывают нечисть. Да чего доброго ждать? Нашу русскую землю затоптали немцы, и веру-то Христову хотят под пятау. Привезли сюда сотни две монахов и монахинь; собирается набольший их расстригать, дескать не по его крещены. Вытье такое, хоть беги вон из Питера!

— Немец немцу рознь: и из них бывают добрые люди. Вот, недалеко ходить, племянник комиссара, Густа Иванович... даром, что креста не носит. То-то простота, то-то душа ангельская! Не забыть мне вовеки его милости.

— С того, со безвременья, как поласкали тебя кошками, а надглядывать за секущей было приказано Густу Ивановичу? Помню. Только что ударил тебя раз заплечный, а у него, сердечушки, слезы в два ручья. Видел я сам, сунул он живодеру серебряный...

— И по мне словно мушки стали летать. За то душу свою для него выворочу.

— А мы вот и крещеные, да что делаем! сбываем людей, будто комаров, да и погребаем тела христианские без попа и молитвы.

— Ох, ох, неволя! хоть раз зацрег бы в нее самого хаворита...

— И взмылил бы его, как давеча хохла.

— Что, братенька, был ли на обливанце нашем крест?

— Еще и ладанка.



— Так он под ногу дьяволу не попадет!

Один из мужиков, в которых мы узнаем конюхов Бирона, перекрестился и сказал:

— Помяни, господи, раба твоего во царствии своем!

Другой сделал то же. После чего оба вздохнули и замолкли.

Они уж съехали на Неву. Во многих местах по реке сделаны были проруби, которые от колыхания воды казались живыми пастями, движущимися, как бы готовясь поглотить жертвы, к ним привозимые.

— Экой погост! — произнес один из конюхов, стараясь попасть духом на веселый лад. — Не надобно копать могилки! поделали добрые люди про всякой обиход на весь приход! Ну, матушка Нева, кормишь ты нас добрыми сигадами, да мы не уреживаем пускать в тебя долгоперых ершей.

Тут правивший лошадей остановил ее у ближнего проруба.

— Некстати тешиться, Агафоныч, — сказал другой, слезая сзади дровней. — Вот этак раз... Да что за чудо?.. посмотри-ка по набережной... Сердце так и упало.

— Словно сани летят!

— Не погоня ли?

— Вот уж спускаются на реку. Эка небывальщина.

— Не послал ли сам пригладеть за нами?

— Поскорей бы концы в воду!

— У меня и руки отнялись.

— Трус! поддержи коня, а я спущу мертвеца с дровень да возьмусь за дубинку: нечего зевать!

Между тем как эти слова приводились в исполнение, сани въехали на Неву и стали шагах в пятидесяти от конюхов. Из этих саней выползло что-то маленькое, похожее на человека и обезьяну; но вдруг малютка вырос на несколько аршин. Гигант начал отмеривать реку огромными, саженными шагами. При этом появлении наши конюхи, ни живы ни мертвы, бросились на дровни, взвизгнули и были таковы.

Великан, потеряв их из виду, опять сделался крошечкою. К нему присоединился кто-то, вышедший вслед за ним из саней. Свет месяца осветил лицо араба Волинского. Малютка был Зуда. Ходули помогли ему исплински вырасти в один миг и испугать кого нужно было.

Они во всю ночь караулили похоронный выезд из конюшен бироновских.

Куль распороли, и пред ними засияла ледяная безобразная глыба. Только всемогущая мысль могла проникнуть сквозь эту грубую скорлупу и разобрать под ней человека, некогда сердцевину живого мира. Этот кусок льду, облегший бывшее я, частицу бога, поглотивший то, чему на земле даны были имена чести, благородства, любви к ближним; подле него зияющая могила, во льду ж для него иссеченная; над этим чудным гробом, который служил вместе и саваном, маленькое белое существо, полное духовности и жизни, называемое европейцем и сверх того русским и Зудюю; тут же на замерзлой реке черный невольник, сын жарких и свободных степей Африки, может быть царь в душе своей; волшебный свет луны, говорящей о другой подсолнечной, такой же бедной и все-таки драгоценной для тамошних жителей, как нам наша подсолнечная; тишина полуночи, и вдруг далеко, очень далеко, благовест, как будто голос неба, сходящий по лучу месяца, — если это не высокий момент для поэта и философа, так я не понимаю, что такое поэзия и философия.

.....  
Осмотрев ледяную статую, Зуда и араб похоронили ее в снежном сугробе на берегу Невы.



ЧАСТЬ  
ВТОРАЯ

Глава I  
ЯЗЫК

Но знаешь? эта черная телега  
Имеет право всюду развезжать;  
Мы пропускать должны\*.



Утром вышли наши цыганы с постоянных дворов, где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезенными на игрище.

Дворец, государыня, золотые кареты, прекрасная, разряженная княжна — все это еще кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце ее росло от восторга; она шла наравне с палатами; она мечтала, что с Мариорицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей и что ее слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастье и величие уронить в прах! Для этого стоит ей только вспомнить слова камер-лакея: «*Не тронь ее, братец! видишь, как она похожа на молдаванскую княжну; точно мать ее или старшая сестра!*»

«Вдруг из княжон в цыганки! Каково так упасть?» — повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь ее горю. Только ему одному поверила она частью свою тайну: душа его для тайны Мариулы, как крыша гробовая — раз заколоченная, не открывается ни для кого.

Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу; наконец, придумал способ.

Надо знать, что Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы, таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии и Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей, обманывал кого и где мог и попал было под гвоздь хотинского кадия<sup>1</sup>. Случись при этой беде Мариула, знававшая его прежде и бывшая в милости у хотинского паши, и Мариула спасла его. Обязанный ей своею волей и благосостоянием, он с тех пор не покидал ее и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно: в тучном старике не могли узнать прежнего молодца.

Статистика низших рядов общества, от полатей до подклета, в городе и в округе, была ему известна, как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуге, которую Василий хотел оказать своей куконе, метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в Рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она еще здравствует, он повел к ней Мариулу.

Вот повернули цыганы на *большую прешпективу*. Такое громкое название дано было улице, которая тянулась с перехватами пустырей, от Луговой линии к Аничковой слободе. Тогда Петров город переводился с острова этого имени большою частью на Адмиралтейскую сторону, и потому *прешпектива* застраивалась *нарочитыми* домами. А каковы были эти нарочитые дома, можно судить по лучшему из них, *комедиантскому театральному дому*, деревянному и с крышею из дерну, воздвигнутому, как сказал древний описатель Петербурга, для *отправления трагедий, комедий и опер*. Образчик этого великолепного храма Талии, Мельпомены \*, и прочих, и прочих существовал еще несколько лет тому назад в подмосковном селе Кускове. Другие дома, более скромной наружности, выбегали, однако ж, по вызову правительства на *большую прешпективу* и своими новенькими, черепичными или гонтовыми крышами \* свидетельствовали, что и они достойны показаться в большом свете и стать в указанную линию. Деревянный Гостиный двор в два яруса, с бесчисленными мелкими арками, как стой-

<sup>1</sup> Судья (с араб)

лами, отстраивался на том месте, где стоит нынешний. Он примыкал еще тогда к березовой роще, уступившей ему часть своего достояния, но сохранившей другую, большую часть к стороне Аничковой слободы, как бы убегая от наступчивых, бойких горожан к жителям более спокойным. Но и тут людкость столицы не дала долго отдыхать утесненным гамадриадам \*, завела рынок посреди рощи и в скором времени святотатственно посягнула на последние, кое-где мелькавшие деревья, осенявшие хижину старого инвалида морских баталионов. Где теперь и Аничкова слобода, и гордый комедиантский дом, и домики, чопорно выходившие на большую перспективу, чтобы похвастаться своими черепичными кровлями, как набеленные и разрумяненные купчихи выходят в праздничный день к своим воротам, на людей посмотреть, а более себя показать? Где все, о чем теперь говорили! Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравненных, стали на пепелище первобытного Петербурга, как холодные, великолепные памятники, воздвигнутые наследственной обязанностью над прахом любимых народных поэтов.

Люблю воображать себе этот первобытный Петербург, но только летом, когда закат солнечный набрасывает на него фантазмагорический отлив. Живописно красуется он с своими палатами, важно поглядывающими свысока, и толпою мазанок, постепенно пробивающихся в знать; с своими полуголландскими, полурусскими домиками, над которыми строители истожили независимые, безотчетные затеи, как бы хотели ими сказать: *«Всякий молодец на свой образец»*. Одни кровли домов — уж богатая жатва для взора, любящего везде отыскивать поэзию. С какою негою раскидывается солнышко по мураве их, на которой время подобрало оттенки зеленого, желтого, ржавого и дикого цветов! Последние лучи как хорошо графят розовые черепичные крыши (кое-где в два-три этажа, словно две-три шляпы треугольные, одна на другую нахлобученные, кое-где стрельчатые, минаретные или наподобие голубятен)! Как играет солнечный луч в яблоке адмиралтейского шпица, будто в золотом шарике, который вертится поверх скачущего водомета! Как искрится в крестах божиих

храмов, большею частью деревянных, и выбивает огненный сноп о луженое железо высоких палат! А крыльца разнохарактерные то прячутся на двор, то чванливо подбоченили здания или выступают на улицу; а кораблики с веющими флагами на воротах; а мельницы с вычурными колпаками и ходулями на берегу Васильевского острова, кивающие Зимнему дворцу и смотрящиеся вместе с ним и Меншиковыми палатами в одно зеркало Невы; а подле этих палат свита мазанок, ставшая в ранжир под именем Французской слободы; а Нева без мостов, которую то и дело снует флотилия раскрашенных лодок или из которой вырастают мачты, как частый тростник на озере, и, наконец, роши и луга посреди этого города: все это разве не живопись, не поэзия?

Но зимой, и особенно зимой 1739/40 года, не желал бы я быть в первобытном Петербурге. Это Голландия и Сибирь вместе, одна призванная, другая оседлая, с изумлением сошедшиеся у Финского залива; они косятся друг на дружку и силятся выжить одна другую. Разумеется, что в морозы наша русачка берет верх. Даже и на именитой *перспективе* она является самовластной. Множество пустырей; дома, будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах и ставшие один от другого в стрелковой дистанции, точно после пожара; улицы только именем и заборами, их означающими; каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бироновские ужасы: незавидная картина!

Только к концу *большой перспективы*, около Гостиного двора, русский торговый дух оживляет ее. Бойкие сидельцы, при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масляную головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпевают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречаются и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. «Что вам угодно? Барыня, сударыня, пожалуйста сюда! Что покупаете? Господин честной, милости просим! Что потребно? Железо, мед, бахта, платки, бархат, парча, деготь, бумага!.. Обраща променывать!.. Меха сибирские! Икра астраханская! Сафьян казепский! Ко мне, сударыня, у меня то-

вар лучший! — Не слушайте, он врет... у меня... — Ей-богу, уступлю за бесценнок... с убытком, только для пощину... с легкой руки вашей...» И готовы разорвать прохожего. А вздумай он войти в лавку, так продавец в убыток запросит с него в пять раз дороже, чего товар стоит. Жеманные барыни в разноцветных бархатных шубах, в платочке, обвязавшем по-русски голову, причесанную по-немецки, с большими муфтами, расхаживают по рядам, как павы, и бранятся с купцами, как матросы. Разрумяненные купчихи в парчовых кокошниках и полушубках чинно кивают, как глиняные кошечки, не шевеля своего туловища и едва процеживая сквозь губы свои требования. Кое-где важный господин в медвежьей шубе и, наперекор северной природе, в треугольной шляпе, венчающей парик, очищает себе натуральной тростью дорогу между стаей докучливых сидельцев, представляя последи \* нахалов-слуг разметать влево и вправо эту мещанскую челядь. Волковы и подъяезжие \* извозчики то и дело шныряют около Гостиного двора с отзывом татарских времен: пади! пади! Там кричат: «блины горячи!», «здесь сбитень!», «тут папушники!», бубенчики звонко говорят на лошадях; мерно гремят полосы железа, воркуют тысячи голубей, которых русское православие питает и лелеет, как священную птицу; рукавицы хлопают; мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, бряцашь.

Эти предметы, эта суета торговая новы для наших цыган; на все они заглядываются, всего заслушивают.

Вдруг откуда-то раздается сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Все следом его молкнет, всякое движение замирает, пульс не бьется, будто жизнь задохнулась в один миг под стопую гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряженный до возможного, заменил все чувства; он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни: все прислушивается...

Опять раздается возглас, волнуется, всходит будто со ступени на ступень, ближе и ближе; уж можно слышать в нем слово: «Язык!»

— Языка ведут! Языка!..— повторяют с ужасом сотни голосов.

Слово «Язык» стонет в обоих этажах Гостиного двора, по улицам, слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек — его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал, в свой, чужой дом, сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь, на извозчиков; лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность. И в несколько мгновений *большая прешпектива*, Гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая.

Только на площадке, против Гостиного двора, видны два человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного, стоят на одном месте. Эти два человека наши цыганы.

Оборачиваются...

На них, прямо-таки на них идет, сопровождаемый пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Так по крайней мере он кажется издали.

Цыгане думают бежать, но куда? Уж поздно; их может тотчас настигнуть верховой. Да еще их ли нужно? Они за собой ничего не знают. Не хотят ли спросить их о чем?.. В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя.

Чудовищное существо ближе, ближе к ним; уже в нескольких шагах. Можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О! этот человек существо ужаснейшее. Недаром упреждает его бегство и опустошение. Он равнозначителен чуме, трусу \*, наводнению. Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое слово и дело, оно ведет к допросу, пытке и казни, оно мертвит прежде смерти: не менее ужасно голоса крокодила, раскрывающего пасть, чтобы поглотить свою жертву. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали: «Язык».



Что ж такое был Язык? — Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде, нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались, для исполнения своих видов, корысть или властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд.

Язык подошел к испуганной цыганке и оговорил ее роковым «словом и делом». Ее окружает конвой; полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним. Трясаясь от страха, потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на нее беда, она хочет что-то сказать, но губы ее издают одни непонятные, дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, она следует за ужасным оговорителем.

— Возьмите и меня,— кричит ее товарищ, которого с нею разлучали,— коли она в чем оступилась, так я с нею половинщик. Спросите ее сами, я не отхожу от нее день и ночь; без меня она не зарежет цыпленка.

— На тебя не показывает Язык,— сказал полицейский чиновник,— нам тебя не нужно.

— Вы должны и меня с нею взять; я на себя показываю.

Цыгану возразили убеждениями прикладов.

— Бейте меня, мучьте меня,— продолжал кричать Василий,— растерзайте мое тело по кусочку, выньте мою душу по частям, я не отстану от своей куконьки.

И, несмотря на угрозы и скорое исполнение их, он последовал за своей подругой и госпожой.

## Глава II

### ДОПРОС

А что, пытали? — Да! — Чем? кипятком, клещами?  
— Словами!..

Но что пред ними зуб клещей, в огне смола  
И все, что выдумал ад в сердце человека!..

Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шел Язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала ему навстречу вельможная карета.

Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль ее была о Мариорице.

«Милое дитя мое,— твердила она про себя,— не дадут мне злые люди насмотреться на твое счастье... Еще б только увидеть тебя пристроенною за богатого знатного Волинского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж? я и теперь сделала все, как мать, может быть и то, чего б не сделала другая... Кабы еще к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей!.. хоть бы одну слезинку на лицо матери прежде, чем закрою очи!.. Нет, нет, страшно и подумать, что ты увидишь в цыганке мать свою, страшнее, чем смерть, на которую, может статься, меня теперь ведут! Я свила твое благополучие высоко, высоко; не снесу его в грязь, не дам стоптать людям... Пускай казнят меня: на плахе прошепчу твое дорогое имечко, буду молить бога только о том, чтобы он при тебе заступил меня!..»

Цыганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу и шла спокойнее.

Мысли за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове ее; вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней и всю ее обхватило... сердце ее то кипело, как разожженная сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли ее тайну?.. Может быть, сходство? ужасное сходство!.. Не ведут ли ее к допросу об этой роковой тайне... О! никакие пытки не заставят ее проговориться. Что ей муки? лишь бы о Мариорице помину не было. Неизвестность колебала ее душу из стороны в сторону; смерть, смерть в груди бедной матери. Она торопилась, она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорей к развязке, и по временам молила бога сохранить от беды только одну драгоценную голову.

Марнулу привели в один из мазанковых демиков, позади Летнего сада, принадлежащих к службам герцогским. При входе сдернули с нее шубу. Василия остановили у наружного крыльца: здесь он решил дождаться своей куконьки, хоть бы замерзнуть. Через огромную нечистую переднюю, где стояли дрова, скамейка в инвалидном состоянии и непокрытое ведро с водой, ввели Мариулу в другую большую комнату другого содержания, но не менее мрачную. Продолговатый стол зани-





мал средину этой комнаты по наклону пола, столь эластического, что, ступив на один конец доски, можно было заставить прыгать все, на ней стоявшее. Окна, запущенные на вершок морозом, пропускали в это домовище синеватый цвет. Кое-где по потолку свисла паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль черных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный Кювье\* по слоям пыли, их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, так это зеркало, стоявшее на вощанке, посреди стола; но и этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своею тканью, и бесчеловечие, поместившее разные орудия пытки в боковой комнате, в которую дверь оставлена была, как бы с умыслом, полузакрытою. Это была полицейская канцелярия при доме герцога.

Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного вопроса. Вид особ, представившихся ее глазам, не более был утешителен. У стола, на судейском месте, сидел худощавый старик отвратительной наружности: рыжие космы падали беспорядочно на плеча, голова его, вытянутая, иссохшая, имела форму лошадиной, обтянутой человеческой кожей, с глазами гиены, с ушами и ртом орангутана, расположенными так близко одни от другого, что когда сильно двигались челюсти, шевелились дружно и огромные уши и ежились рыжие волосы. Глаза его, то останавливаясь неподвижно, принимали мертвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонд, или схватывали без пощады слабую душу и держали ее над бездной. Он был одет весь в красно-коричневом, даже до шелковых чулок; богатые, кружевные манжеты, закрывая кисть его руки, возбуждали подозрения, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него, сбоку стола, сидел молодой человек лет двадцати пяти, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было кровинки; мутные, безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то измученную таинственность: он весь похож был на недоговоренный смысл, означенный несколькими точками. Он держал нехотя перо в руках и смотрел более на бу-

магу перед собой, нежели на живые предметы, его окружавшие. Первый был достойный клевет Бирона, обергофкомиссар Липман, второй — домашний секретарь их обоих и племянник последнего, Эйхлер, которого он воспитывал как сына и любил — для себя. Едва умея подписывать свое имя, Липман употреблял это живое оружие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле хотя в нем. И потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу; место кабинет-секретаря было у племянничка на мази.

Чудное это желание не умирать после себя на земле!.. Часто целое потомство, целый народ, человечество пожирает на том поле, которое засеяло самолюбивое или возвышенное чувство одного человека.

По одну сторону зеркала поставили Мариулу, по другую — Языка: ее, красивую, опрятную, в шелковом наряде, по коему рассыпались золотые звезды (мать княжны Лелемико унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато), ее, бледную, дрожащую от страха; его — в черном холщовом мешке, сквозь которого проглядывали два серые глаза и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор.

Начался допрос. Прелюдий уж хорошо объяснял, каков будет самый концерт.

— Смотри, цыганка! — сказал грозным голосом рыжеватый судья, — уговор лучше денег: говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя.

Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулы, как бы прошли по нем пилой.

— Не ведаю за собой ничего, — сказала она, собрав силы, — но о чем спросишь, господин, на все готова отвечать. («Лишь бы не о Мариорице, — думала она, — об этой не заставит меня сказать полслова и то, что вижу в боковой комнате».)

— Еще прибавка к нашему условию: если сознаешься скоро, в чем тебя обвиняют, то мы держать тебя долго не станем. Теперь к делу!

— Слушаю, господин!

— Вот видишь этого урода в мешке: он погубил несколько душ и доказывает, что ты дорогою из Москвы сюда была в коротких связях с его атаманом, который под именем малороссиянина Горденки пробирался в Питер, чтобы ограбить казну.

«А! — подумала цыганка, догадываясь, к чему подбирались допросчики,— слава богу! дело не о моем де-тище; после этого все пустяки, вздор!..»

Тяжелый камень свалился с груди ее; блистающие радостью глаза и улыбка на устах ей изменили.

— Только? — невольно спросила она своего судью.

— Разве этого мало? Дружба с атаманом! это ведет вместе с ним на плаху. Язык, твоя очередь! Говори ж, что ты доказывал на нее. Как ее зовут? какие были у ней плутовские замыслы с атаманом?

Человек в мешке начал свой донос, искусно сочиненный, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обвинуясь сказал бы, что это был он.

И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль Языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях с тем, которого хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами,— цыганку, умевшую понравиться и Вольнскому, с которым она, после смотра, оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса? Не перешел ли этот письменный доказчик в третьи руки, к врагу герцога?.. Личность его светлости с этой стороны не обезопасена; а кто не знает, что личность временщика идет впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плеча два-три злодеяния!.. Скрутив ее таким образом, можно ее допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать: все в воле герцога.

Повести это дело к желанной цели поручено, как мы видели, хитрецу Липману.

— Правда,— отвечала с твердостью цыганка,— меня зовут Мариулой, правда и то, что малороссиянин — бог знает, кто он такой — полюбил меня за мое будто лукавство, часто говаривал со мною и...

— И передал тебе?..—спросил, дрожа от нетерпения, Липман,— ну, голубушка?

«Понимаю,— сказала про себя Мариула,— понимаю и все открою. Что мне до чужих дел! У меня только одно дело на свете...»

— Велите выйти этому мешку,— примолвила она вслух, обратясь к судье,— я знаю, что вам надо.

Спокойствие и твердость, с которою она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допросам. Гроза, собравшаяся на лице обер-гофкомиссара, начала расходиться. Он дал знак Языку рукою, этот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твердостью:

— Вам надобна бумага Горденки, так ли?

— Да, да, моя голубушка! бума... га, которую... но ты... догадлива, ты все знаешь...

— Нст, господин, я ничего не знаю.

— Как ничего?..— вскричал грозно допросчик.— Проклятая цыганка! не ты ли сама?..

— Я не знаю, что в бумаге; но она...

— Ну?..

Липман при этом вопросе приподнялся невольно со стула; глаза его вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть ее тайну.

— Где? — прибавил он нетерпеливо.

— У меня, и со мною теперь,— отвечала цыганка.

Если б она сказала другое, старичишка растерзал бы ее по клочкам; обрадованный ответом, он готов был расцеловать ее.

Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, оборотилась к Липману спиной, вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом:

— Она ли?

Заворотив свси манжеты, Липман схватил трепещущей рукой пакет, сломил на нем печать и, передав его секретарю, задыхаясь, спросил также лаконически:

— Она?..

Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал ее, кивнул утвердительно и, зевая длинною зевотой, отвечал:



— Она! — Потом стал пристально читать ее.

Пока роковое слово не дошло до ушей старика, он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения; но ответ произнесен, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании:

— А!..

Не иначе произнес бы это восклицание алхимик, найдя философский камень; вероятно, не иначе произнес его Колумб, увидя первый берег открытого им Нового Света.

Тут лукавая Мариула, посвященная Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся до Бирона, умела, не путая в них кабинет-министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага, как Горденко — атаман, что ли, она не ведала — умолял, в случае смерти его, подать эту бумагу матушке-царице.

— Я обещала, — говорила она, — между тем у меня было на уме: коли бог приберет его, так запечатанный лист в печь, а то, статья может, напляшешься с ним, что и чертям до слез.

— Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника; а то жаль было мне славной бабенки. Зато и голова у тебя цела, да еще жди милостей от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России — что я говорю, в России? — в подсолнечной! барин добрый, щедрый, стоит только знать его.

— Как же, батюшка, — отвечала Мариула, — про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идет...

Молодой человек едва-едва усмехнулся; но и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать.

— Теперь еще два вопроса, — сказал Липман, — и если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю: ты с богатою обновой.

— Спрашивайте, господин!

— Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?

— Не видала.

— Не проговаривался ли он об ней?

— Никогда.

— Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?

— Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как — не пояснил мне.

— Теперь последний вопрос: о чем говорила ты наедине с Артемием Петровичем Волинским вчера, у него в доме?

Дух занялся у цыганки; бледнея и запинаясь, она отвечала:

— Ничего, господин... право слово, ничего...

— Гм! ничего! Но ты бледнеешь и дрожишь?.. Ничего?.. Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или...

— Признаться, господин великий... боюсь вам богом, это нейдет к вашему делу... пустячки...

— Если это пустячки, так зачем скрывать их?

— Я поклялась...

— Эй! заплочный мастер! — закричал Липман.

Вошел палач.

— О, когда дело дошло до этого, пытайте меня: не скажу!

При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку.

Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием ее; наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки:

— Не ожесточайте ее! Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волинского, если б их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство... просили ее помощи... ведь вам уж сказывали... Любовное дело? не так ли? — прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя ее голосом и взором.

— Да! Больше не ждите от меня словечка, — отвечала Мариула.

— Давно бы так, голубушка, — подхватил Липман, переменяв свой грозный голос на ласковый и дав знак рукою палачу удалиться, — понимаю, понимаю... невеста хоть куда!.. ба, ба, ба, да она в тебя словно вылита!.. Не живала ли ты уж в Молдавии, у какого-нибудь господа подарчика?

— Полноте шутить, — отвечала с сердцем Мариула.

Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю.

— Что ж? доброе дело! — продолжал иронически старичишка, — жених хоть куда! богатый, знатный... свахе будут хорошие подарки...

Жених! невеста! слова эти стучали, как молот, в сердце бедной матери.

— В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное... смотри!.. — прибавил Липман значительно, погрозясь и показывая на губы.

— Умрет в груди моей, — отвечала цыганка с твердостью, оправившись от своего испуга.

— Хорошо, я доволен! Да, да, еще одно дельце?

— Приказывайте.

— Малороссиянин, атаман, не атаман, назови его как хочешь, пропал...

— Так что ж, сударь?

— Малороссиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменен потом Горденкою, теперь налицо... Вот видишь, если узнают, что он пропадал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе, начнутся допросы... пойдет путаница, в которую — долго ли до греха? — и тебя втащут... Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело... тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла... теперь разумеешь...

— И что за Горденко такой, и не ведаю...

— Те, те, те! эка разумница!

— А подруга малороссиянина?

— Об ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогою только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела, — все под присягою сказали...

— И я тоже не прочь!

— Смотри!.. Знаешь, с кем будешь иметь дело!.. Живую зароем в землю...

— Тяните из меня по жилке клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволя болтать на свою голову? Может, еще и пригодится на черный день.

— О, как же! как же! Экое сокровище!.. Ну, не останешься, милочка, без награды от самого.

И, подражая самому, Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губа-

ми, так, что в аде сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидиавольской улыбке, если только тамошние зрители могут любоваться игрою здешних собратов — актеров.

Этим кончился допрос. Мариула, вместо ожидаемой напасти, понесла с собою лишней серебряный рублевик, да еще уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав ее живую и веселую.

### Глава III

## ЛЕКАРКА

— Вася, друг мой! скорей обещанное, или я накину на себя петлю,— сказала цыганка. Сердце ее разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лелемикой.

Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостовераясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повел ее в Рыбачью слободу. Разумеется, они при этом случае избегали *большой прешпективы* и площади Гостиного двора, где все пришло в прежнее суетливое состояние и где толковали во всех углах только о том, как Язык оговорил цыганку, которая будто была женою разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пустите какой хотите глупый слух в толпу — глупая толпа, не рассуждая, всему верит и все повторяет.

Пришли в Рыбачью слободу. На конце улицы постукался Василий в избушку, закуренную дымом до того, что она казалась построенною из угля. Она земно била челом к стороне улицы; соломенная прическа ее, густо напудренная снегом, была растрепана непогодами. Вокруг — ни двора ни кола.

Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырем; пахнул пар, и вслед за ним из отверстия оконного высунулось обвитое этим паром, как облачком, желтовосковое, в густых сборах, лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта ее

вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам.

— Нам до тебя приспело, родная,— сказал Василий,— впусти, не скаешься.

— Хоть и не вовремя пожаловали, добрые люди,— отвечала старуха,— не на улице же в мороз стоять вам: войдите с богом.

По обледенелой лесенке, также черно и уклончиво стоящей, как и все здание, взошли наши странники на площадку ее. Тут Василий дернул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил ее своею тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо *окутанную* и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запущенных морозом. У *искошка*, убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. На ней время и копоть дыма изгладили и потемнили изображение матери божией; но вера живописала чудными красками целый мир благодати. Головой к иконе, на залавке лежала крестьянская девушка, бледная, страждущая. Глаза ее издавали фосфорический блеск, грудь тяжело ходила; волосы, заплетенные в косу, падали на пол; руки и ноги были связаны веревками. Возле нее школьник, исполинского роста, бормотал гнусавым голосом какое-то заклинание бесов. Старушка в синем сарафане, приземистая, горбатенькая, но такая опрятная, чистенькая, как ошелушенный орех, читая шепстом молитву, дала знак рукою гостям, чтобы они сели на залавок. Девушка лет четырнадцати, свежая, румяная, будто умылась только снегом, стояла у шестка и сыпала на черепок какой-то смолы, от которой по избе неслись струи благоуханного дыма. Когда ж школьник произнес громовым, протяжным голосом: «Изыде...» — больная застонала, заскрежетала зубами и

страшно закричала на разные голоса. То слышался в ней лай собаки, то скрип телеги, то хрюканье свиньи. По временам изрыгала она богохульные слова. Ее начало ломать; глаза ее хотели выпрыгнуть изо лба. Веревки на ней лопнули; она сгибалась в кольцо, волною, билась как рыба об лед, цепенясь ногами за стену... казалось, всякая часть тела ее имела притягательную силу... Живот ее вздуло горой... гора эта упала, грудь расширилась необыкновенно, шея напряжилась так, что жилы казались веревками. Школьник и цыган схватили ее за руки и за ноги, но сила их обоих была ребячья в сравнении с женскою — их отшатило. Коса больной, ударив по щеке школьника, провела по нем красный рубец. Ужас окаменил Мариулу; волосы встали на ней дыбом. Одна лекарка спокойно молилась. Вскоре кликуша начала утихать; изо рта у ней забила пена и вслед за тем повалил легкий пар. Когда ж он исчез, старушка подошла к больной, благоговейно перекрестилась, перекрестила ее, сотворила над нею молитву, стала шептать непонятные слова, поводить рукою по телу и очам страдальцы... долго, долго, тихо, таинственно, усыпительно поводила... Глаза лекарки заблестали; на желтоватых щеках выступили по бледно-розовому пятну... Больная пришла в спокойное состояние, взглянула светлыми благодарными глазами на старушку, на образ, пылающий от свечей, вздохнула, перекрестилась, смежила ресницы и заснула с улыбкою на устах. Лицо ее покрыли белым платком. У ног присела девочка, держа их в руках своих. Утомленная старушка сделала несколько шагов до залавка, прилегла на нее и сама в один миг заснула крепким сном. Школьник, потушив свечки, дал знак цыганам рукою, чтобы они не шумели, и уплелся потихоньку из избы. В ней сделалось тихо, так тихо, как будто гений сна накрыл ее крылом своим. Теплота оранжерейная испаряла негу; дыхание сонных настроивало понемногу к дремоте. Не в силах одолеть ее, Мариула и товарищ ее прилегли на залавки — и в несколько мгновений все в этой избушке спало глубоким сном под каким-то волшебным наитием.

Когда они проснулись, был уже вечер. На столе, покрытом скатертью с красною оторочкой, горела сальная

свеча. Девочка, проворная, как белка, ставила на него огромные ломти черного хлеба и огромную деревянную солоницу с узорочною резьбой. Хозяйки не видать было. Котенок играл бумажкой, которую на нитке спускала с полатей трехлетняя девочка. Из-под белых волос ее, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка, и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубые плутоватые глазка.

Пришла и хозяйка.

— Не погневись, родимая,— сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой,— мы уж у тебя и соснуть успели. А все твоё тепло, так и парит с морозу...

— Пар костей не ломит, батюшка. А про божий рай и поминать не к слову грех: тепло земное не для души,— отвечала проворно старушка, засыпая словами.— Видно, поуспали путем-дорогой; и то молвить, снег как месиво, так и путает ножонки. Теперь скажите-ка мне, отколь бог вас несет и за каким дельцем.

— Ты, кажись, Аграфена Парамоновна, не признала меня?

— Не взыщи, родной, не признаю,— сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана.

— Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобою виделись, а еще более, как с тобой свели знакомство. Я из молодого, бравого парня стал брюхан, старичишка, а ты из красивой девки — горбатенькая старушка. Красоту твою рукой сняло, а мою жиром занесло.

Цыган вынул роговой гребень и причесал себе черные с проседью волосы на голове, остриженной в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо свое, густо опушенное бородою.

— Батюшка, как бы вспомнить! (Другая, на месте нашей лекарки, сказала бы, может быть: помоги господи! но она призывала имя господне только в важных случаях.)

— А помнишь, как ты шла от немца-лекаря, к которому посылал тебя отец, и тебя в поле обидеть хотели два солдата... а я проводил честно до дому, лишь поце-

ловал тебя, мою разлапушку, в щечку, словно в аленький цветок.

Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблестало радостью.

— Васенька, родной, василечек ты мой, это ты? — воскликнула она и положила дружески иссохшую руку на плечо жирного цыгана. — Как мне забыть тебя!.. То ли ты для меня сделал? вынес моего сожителя, хворого, безногого, из полымя, как случился у нас пожар...

— Да украл у вас же лошадь.

— Эх, эх! ты все такой же балагур, как бывало, — сказала, развеселясь, лекарка. — Много лет мы с тобой хлеб-соль водили. Кто ж эта молодица?

— Моя кукона, по-русски — госпожа моя.

— Так ты пошел в кабалу?

— То есть в неволю?.. Нет, Парамоновна; разве ты меня не знаешь... Кто велел бы мне оставить службу у доброго царя, кабы не сидел у меня царь в голове — проклятая цыганская волюшка. Мариула, вот видишь, сделала мне добро, ни мало ни много — от плахи избавила; и поэтому-то хоботу \* я ей служу, называю ее своею госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякою околесицей. К тому ж она цыганка, наша сестра! Назови ж она меня не в шутку своим слугою, так я... ей кланяюсь, даром что люблю ее пуще сестры родной. Эй! Мариула, поцелуй же старую мою знакомку.

И госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги.

— Как же тебя в Питер принесло? Уж не на бесовское ли игрище, что твоя товарка так нарядна! Мы уж со внучками досыта налюбовались звездочками на ее одежде, точно с господнего неба сняла.

— Мариуле нужно было в Питер; мне везде хорошо, где со мною воля и насущный хлеб — бояться нечего за старые грехи мои: ты меня не признала, так никто не признает, — на игрище мы попали, потому что нас за это холят, да одевают, да кормят хорошо, а к тебе пришли за снадобьицем; вот и вся недолга.

— Чем богаты, тем и рады старому другу.

— Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабечка, сухотная, чахотная, что ли, все покрехтывала да



покашливала, словно у ней в горле что стояло? Вот дал он ей снадобья какого-то жгучего, да и велел ей пить по капельке в воде на зарях. Смотри, говорил он ей, пузырька не разбей,— а то наделаешь таких проказ, что свету божьего невзвидишь.

— А она, глупенькая, тут же выронила бумажку, которую заткнут был пузырек, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давленной клюквой кто ее обрызгал.

— Э, ге! видно, с этою шуткою шутить не надо,— сказал значительно цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало, как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое.— Однако,— продолжал он,— мы не так глупы, как эта бабенка... побережемся...

— Для кого ж вам это снадобьице? Ты, кажись, не сухотен (старушка плюнула и перекрестилась); твоя названная госпожа хоть и грустна, а, бог с ней, здоровехонька.

— Вот видишь, родная,— подхватила Мариула,— одна богатая барыня в Питере просила меня лекарства от сухотки и обещала меня озолотить, коли ей помощь сделаю. Васе я это рассказала; он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь от таксй хворости, и привел меня сюда. Помоги, Парамоновна; барыши все пополам.

— Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно; только о барышах ни словечка; мы люди свои, а я еще в долгу у твоего и моего Васеньки.

Тут лекарка подошла к коробу, подозвала старшую девочку, называя ее своею внучкой, велела ей осторожно вынуть пузырек, замеченный соломинкой в бумажной пробке; потом отдала его Мариуле с крепким наказом давать больной лекарства по одной капле, и то в воде.

— А передать,— продолжала она,— недолго принять на душу грех смертный: и ты и я пропадем навеки. Теперь поставь снадобье на полку, а завтра возьми его с бережью, помолясь богу. Чай, вы у меня отведаете хлеба-соли да переночуете? Мороз так и воротит лицо — долго ли до греха? попадешь и под снежную пелену.

Мариула и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырек, куда ей указали.

Сели за скромную сельскую трапезу. Меньшая девочка, босая, слезла с полатей и заняла возле своей бабушки почетное место, выглядывая исподлобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о блаженстве прошедшего. Этот предмет разговора — общее место у необразованного класса народа во все веки; тогда оно было горькою истиной. Жаловались на временщика, на нужды народные и жалели о государыне, которой некому было молвить правду за ее деток; скорбели также, что в нескольких деревнях, по соседству с Рыбачьей слободой, ходила какая-то немочь и валила малого и большого, но что, благодаря бога, она миновала до сих пор слободу. Рассказывали также об игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезенных туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнообразных животных, на которых будут возиться эти люди по городу, и даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижинки. Так-то царь думает, а народ ведает. Между тем беседу прерывали несколько раз болящие. Одна просила поправить ее от зубов, другая — от жабы. И ту и другую маленькая добренькая старушка лечила молитвами, приговорами и осязанием, которое ныне назвали бы магнетизмом. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая все во имя бога, довольна была наградой более, нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияло святынею добра.

Молодую пациентку ее пришли звать на посиделки в соседнюю избу. Когда она ушла, цыган и цыганка просили лекарку рассказать, отчего приключилось с несчастною девушкою такая немощь. Старушка охотно согласилась исполнить их желания.

Глава IV  
РАССКАЗ СТАРУШКИ

Слово не мимо идет.  
Русская пословица.

— Сотворим-ка знамение крестное; всякое дело со крестом вернее,— сказала старушка и, когда исполнила свой завет, а за ней последовали ее слушатель и слушательница, приступила к делу.

— Этому было, ни мало ни много, тому назад десятка полтора лет, о святки, в часы ночные, как бы не обмолвиться, разве за часок до первых петухов. Православные в слободе улеглись все спать. Лишь в нашей избе горела лучина; мы с дочкою, покойницей, пощипывали и чесали лен да поджидали сожителя ее из Питера. Разгуляйся вдруг погода такая, что носа нельзя высунуть на двор; метель сердито скребла окошко, ветер укал, будто просился к нам, инда жутко становилось. Вперемежку, только что он, поугомонившись, отдохнул крохотку, слышим: возле самого угла избы бранятся, да как? — прости господи! — словно в кабаке. Плюнула я на этот грех — до молитвы ли? отворила окошко, высунула голову и вижу: батюшки, светы мои! метель сеет часто, часто, что твои нитки на моталке у проворной мотальщицы, вихорь крутит винтом снег вдоль загороды, воротилки в село занесены, и мужик возится в сугробе с клячонкой — у сердечной только что рыло да спина чернеются. Мужичку бы Христом да богом покликать кого на помощь, а он, остервенившись, такую несет клятву на погоду, на слобожан, что не прочистили, вишь, про него сугробов, на себя, на жену, на свое детище.

— Да неужели есть такие родители? — сказала цыганка с ужасом, — кровь свою проклинать!..

— Мало каких людей на свете нет! Не мешай же мне спросами, сизая голубка, а то, на старости лет, мудрено ли сбиться? Вот, слышу, голос-то знакомый, мужичка из соседней деревушки. «Ахти, Сидор! — молвила я ему, — в такую ли пору браниться? Перекрестись-ка лучше да призови господа на помощь, а мы с дочкою придем к тебе да разгребем сугробец». — «Помоги, матушка, сударушка, разлапушка, и такая и сякая! — вопил

мужик...— хозяйка родила дочку, сама хвора, того и гляди протянется; взмолилась, поезжай-де к батьке, в Рыбачью, да привези ей и детищу молитву. Провал их возьми, когда вздумала родить!..» — «Экой грех, экой грех! слово не мимо идет! — молвили мы промеж себя с дочкой,— видно, хмельной! погубит он свою и их душу». Ведомо нам было, рыльце-то он свое окунал частенько в зелено вино. Как придет дурь в голову, решето деньги мерит, проспится, не на что решета купить, бьет хозяйку не на живот, а на смерть: давай денег в кабак, а нет, так холсты неси в заклад. Житье бедной было такое, хоть живой в землю лечь. Взяли мы с дочкой по лопате и ну разметывать сугроб. Работа далась легкая и скорая — снег был рыхлой, а мужичку покажись она тяжелою — мудреного нет, оттого, что лошаденка его завязла ногою в завор\*. Умен был, хотел, чтобы клячонка сломала грудью жерди. Спасибов наклал он нам с короб и помчал по селу.

Сказывала я вам до сих пор, други мои, что своими оченками видела; теперь стану рассказывать слышанное. Вот подъехал Сидорка к поповскому дому. На стук его вышел священник и, выведав, за каким дельцем тот приехал, впустил его к себе. Спросил у мужичка шапку, прочел в ней молитву новорожденному младенцу и родильнице и, перекрестя, надел на голову мужика со строгим наказом, крепко-де бы держал ее на голове, а приедучи домой, встряс бы из нее молитву на тех рабов божиих, на чье имя взята она. Денег у Сидорки за душой и полушки не было, а полез будто за кисой. «Ахти, батька! — молвил он, будто в испуге,— вез тебе два алтына, да, зная, дорогой обронил». — «Бог простит! — сказал отец духовный,— когда-нибудь сочтемся».

Мы только что прилегли: слышим, катит наш Сидорка мимо избы, словно буря, затянув песню с разными прибаутками.

Деревушка его от нашей слободы рукой подать, много-много с полверсты. Отъехал он вряд ли за околицу, чует, на голове шапка свинец свинцом, так и давит голову: то поправит ее слегка, то крошечку приподымет. Он погонять лошадь, а шапка режет ему лоб, словно железный обруч. Вдруг, отколе ни возьмись, навстречу ему сани, вороной жеребец в запряжке, хрипит и мечется

клячонку изгрызть. Сидит в санях мужичище рыжий, шапка саженная с двумя заломами, борода по колена огневая, так и чешет ее по сторонам ветер, как охапку льну. Видно, грех на грех наехал. «Свороти!» — грозно гаркнул он. Сидорке стоило бы смиренхонько, с молитвою, отвести свою лошадку в сторону; где ему, озорнику? кричит: «Я сам-ста не хуже тебя! Хаворит Меншиков, что ли, едет?.. Эка фря! Своротишь сам!..» Да к этому дугнул проезжего недобрыми словами. Не стерпел этих позорных слов рыжий мужик, скок с саней, клячонку за уздцы, втоптал ее по уши в снег, Сидорку по рылу, инда у этого искры из глаз посыпались, а по шапке его не тронул. Осерчал наш Сидорка, хватъ сам врага кулаком — мимо, еще — опять мимо; а недобрый проезжий, с нами сила крестная! в сани и погнал шажком на вороном жеребце. Мужичишка наш и пуще прежнего разгорелся; схватился за шапку с молитвой и швырком ее в нечистого — глядь, будто огонек взвился к небу, а врага и след простыл; только поднялся по полю такой бесовский хохот, что твои лягушки в болоте! Делать было Сидорке нечего; отыскал насилу шапку свою, вытащил клячонку из снегу — с бедной пар так и ваил — и поехал домой с недобрými мыслями: затаю, дескать, хозяйке, что молитву потерял. Шастъ к себе на двор, вошел в избу; только что хотел крестное знамение сотворить, да не смог: из-за печки сверкнул кто-то очами и подразнил языком, пусто бы ему было! В избе вой и плач, хоть вон беги. «Госпешай, батюшка,— молвили ему соседки,— хозяйюшка твоя на отходе». Снял тут Сидорка шапку и, словно добрый человек, потряс ее над умирающей — слышит, за печкой кто-то захохотал, родильницу перевернуло к стене; взвизгнула бедная, замачала рукой и испустила душеньку. Он к младенцу с тем же благословением: у девчонки косило рот и живот дуло, пока отец держал над ней шапку.

«Будь проклята ты!» — вскричал он так, что на всех ужас навело, и посыпались соседки вон из избы. Шлепнул он с сердцов шапку на пол и пошел на полати спать; только худо ему спалось. Видит он — с нами крестная сила! — и рассказывать, так мороз подирает, — бес с рожками нянчит младенца, а мертвая в саване сидит и плачет и упрасивает его отдать ребенка... С тех пор уж

Сидорке все грезился нечистый. Спит ли? Душат его саженой шапкой с двумя заломами. Пьет ли зелено вино? Голосят ему в ухо: «Пропил ты и так молитву!» Осушил ли стклянку? на дне дразнят его языком; какая-то рыжая борода по губам вытирает, и кто-то шепчет ему: «Молитвой закуси!» Обезумел Сидорка: то бранится сам с собой, то спрашивает невидимо кого; в ину пору отмахивается попусту, в другую пору белугой вопит: «Батюшки! режут! душат!» С тем и пошел ровнехонько через год в могилу; лишь перед смертным часом покаялся отцу духовному, что пьяный бросил шапку с молитвой, которую он дал ему.

— А девочка? — спросила цыганка с ужасом.

— Девочка что-то больно кричала, как стали ее крестить, но потом росла себе пригожая и смышленая, только смаленька все задумывалась да образов боялась и ладану не любила. А как вошла в пору да в разум, порассказал ей неведомо кто, как отец потерял молитву ее. С того дня ей попритчилось, и стала она кликать на разные голоса. Вот ее-то, бедную, видели вы. Кажись, теперь нечистому недолго в ней сидеть. Помощь божья велика нам, грешным. А вы помните, други мои, слово дурное и хорошее не мимо идет.

Чем начала старушка рассказ, тем и кончила, то есть крестом. Долго еще после того мерещился в глазах слушателей пьяный, безумный Сидорка, и нечистый с рыжею бородою на вороном жеребце, и как нянчил-то он младенца в полночь, и как спрашивала мать отдать его. Пуще всех задумывалась Мариула и собиралась узнать, носит ли дитя ее на груди крест, благословение отцовское.

## Глава V РУСАЛКИ

Дитя ее для нее не целое ли  
человечество?

Б а л ь з а к \*

К ночи все прилегло в избе, но заснули крепко только бабушка да маленькая внучка, обе равно спокойные духом, обе с детскою непорочностью, готовые перелететь от земли в лоно бога. Мариула не могла сомкнуть

глаз; в голове ее гнездились замыслы. Старшая внучка, повозившись немного на полатах, слезла с них осторожно, надела белый *сушун* \* и тихо, как тень, прокралась из избы. Цыгана подмывали тоже думы. Он видел, как пригожая девушка выплелась из общей их спальни. Любопытство сильно толкнуло его под бок, и Василий, почти вслед за ней, пробрался в сени и на крыльцо — надворное, хотел я сказать, забыв, что хижина стояла без двора и загороды, одна-одинехонька, как бобыль без роду и племени.

Ночь была светлая, по-вчерашнему. Серебряный месяц, казалось, весь растопился и разлился по белой скатерти равнины; далеко, очень далеко означался на ней малейший куст, который при каждом дуновении ветра принимал вид движущегося человека или зверя. Деревни с своими снежными кровлями казались рядами огромных белых шатров. Где-где подслеповато мигал в них огонек, утешая издали робкого путника. В одном Петербурге чаще проблескивали огни, будто плашки сквозь декорации, оставшиеся после великолепного освещения. Цыган сделал скачок глазами вдоль улицы, чтобы посмотреть, куда пойдет бабушкина внучка; но след ее уже простыл. Прислушиваясь, он потонул было в глубокой холодной тишине; вдруг обдали его, точно кипятком, мурлыканье и возня кошек над его головой.

— Чтоб вам подохнуть! — вскричал цыган, плюнув с досады, — напугали меня пуше Языка.

Не успел он еще успокоиться, как слуху его сказался далекий шум шагов. Прислушивается — это не походка одинокого путника. Скрип, скрип, скоро, скоро и много, очень много — должна быть целая толпа. А никого нигде не видно!.. Вот тянется гул из Петербурга: часы бьют полночь. Что-то, кроме мороза, подрало по сердцу Василия. Хотя и не твердый христианин, однакож сотворил он крестное знамение; собравшись с духом, сошел с лестницы и — за угол избы. Первый предмет, бросившийся ему в глаза, — смоляная бочка, ярко пылавшая в поле. Еще несколько шагов вперед, и видит: вдали, за овинами, убегают русалки, с распущенными волосами, в одежде по моде русалок, какую они в подводном царстве употребляют. В один миг они и скрылись. Не обманули ли его глаза?.. Снег шуршит еще

под их ногами. Что ж тут? Уши обманывают?.. Это недобрым отзывается. Вот какие чудеса творятся в Рыбачьей слободе! Ге, ге, ге! Недаром говорят, рыбаки водят дружбу с русалками! Видно, нынче шабаш их? Окаянные и смоляную бочку зажгли для праздника, все так же, по-нашему, по-человечьи!

В таком страшном раздумье, потирая себе частенько глаза и вертя пальцем в ухе, Василий возвратился на площадку лестницы; но лишь только стал на нее — слышит опять беглый скрип, все ближе и ближе, яснее и громче. За несколько минут он видел русалок взад; теперь они бегут, обратясь к нему лицом. Месяц обрисовывает их приятные и неприятные формы, разрумяненные морозом. Ведьмы водяные обошли слободу кругом. Василий присел на корточки и сотворил молитву, снизанную наскоро из нескольких молитв, худо выученных. Девки чем ближе к нему, тем более уходит дух его в пятки. Хоть бы дать стрелка в избу, если б не боялся привстать и показаться. Чего доброго? защекочут. Толпа ж большая! Однако же мороз не шутит и с ними, гонит их порядком, едва не вскачь. Вот поровнялись с избушкой, в двух шагах от нее... Дух занялся у цыгана... Впереди идут рядом две толстые-претолстые, будто беременные — должны быть матки! За ними всё молодые, и между ними, ахти! нельзя ошибиться — бабушкина пригожая внучка. В русалки завербовалась! каково?.. а дома, словно святая, воды не замутит, да и крест кладет не хуже раскольника. Матки несут что-то в руках: у одной черный петух, у другой черный кот или кошка. Слышно клохтанье и мяуканье; только не разберешь, кот ли клохчет и петух мяучит, или наоборот. За ними одна молоденькая русалка — и провал ее возьми! такая пригоженькая, что на старости подсловал бы ее — несет огромный клубок, который, словно живой, вертится в ее руках. Потом бежит соха, запряженная несколькими дюжими девками, и сильно вспахивает снег. Чем ватага далее, тем более храбрится цыган. Он слезает опять с лестницы, становится за углом избы и видит: остановилась нечисть у смоляной бочки. Русалки связали два противные конца какой-то нитки вместе, зарыли тут бедного петуха и кота, обежали несколько раз горящую бочку с какими-то бесовскими приговорка-



ми, зашли за нее в одежде русалок, а вышли из нее в одежде слободских девушек и женщин, закидали огонь снегом и бросились все врассыпную по слободе. Внука лекарки прямо к себе на лестницу, и в избу. Шасть за нею и Василий. Вот он ее поставит пред бабушкой и образом в допрос!..

Между тем в избе было не без дела. Мариула, как мы сказали, не могла сомкнуть глаз. Голова ее пылала одною мыслью, что она погубит дочь сходством: как нарочно та в нее вылита. Другим матерям это сходство служило бы утешением, для нее же оно — мука. Судьба зовет ее во дворец; Волынской назначил ей быть там на днях... А удовольствие смотреть на Мариорицу, говорить с ней?.. Можно ли отказаться? Но там увидят цыганку вельможи, статья может, государыня, увидят рядом с княжной Лелемикой, и довольно одного намека, одного подозрения, чтобы уронить Мариорицу в общем мнении — милую ее Мариорицу, которую она любит более своей жизни, более своей души. Мысль эта душит ее и на будущее время нигде не даст ей покоя! Надо избавиться от этой муки.

Пузырек с ядовитым веществом на полке. (Мариула хорошо заметила, где он стоит.) Старушка сказала, что если жидкость попадет на тело, то выйдут на нем красные пятна, которые одна смерть может согнать. Чего ж, ближе к делу?.. Василий вышел, а то бы он помешал, может статья!.. Цыганка не рассуждает о последствиях, о собственной гибели: одна мысль, как пожар, обхватила ее. Раздумывай, береги себя другая, а не она!..

Дрожа, как преступница, и между тем вся пылая, Мариула встает с залавка... осматривается, прислушивается... все спит. Слава богу, что все спит!.. Два-три шага, легкие, как шаги духа,— и сна у полки... Рука ее блуждает... наконец, схватывает пузырек... бумажная пробочка вон, и... боже! что с нею?.. глаз ее поврежден... кипящий свинец режет щеку... бьется мозг в голове, будто череп сверлят... пред остальным глазом прыгают солнца... в груди тысячи ножей... И только один стон, один скрежет зубов в дань всем этим мукам; и посреди этих мук слабая, далекая мысль о Мариорице! Эта мысль торжествует надо всем.

Что ей делать? Разбудить лекарку? Умереть на месте? Зачем нет с нею теперь Василия?.. «Господи, господи, помоги!» — может она только сказать и, шатаясь, идет искать своего товарища. Ей кажется с каждым шагом, что она наступает на ножи, на вилы. Дверь сама собой отворяется; кто-то дает ей место: это внука лекарки, идущая с ночной прогулки, из беседы русалок. Цепляясь за стены, Мариула выходит на площадку лестницы, и Василий ее окликает.

Мариула не в силах отвечать, только стонет; хватается за его рукав, крепко, судорожно сжимает его и, готовая упасть от нестерпимой боли, виснет на нем. При свете месяца цыган всматривается в лицо своей куконьки и каменеет от ужаса. Он не сомневается более: несчастная мать изуродовала себя крепкою водкой.

— Мариула, Мариула! что ты сделала? — говорит Василий сквозь слезы, схватывает ее бережно в охапку и вносит в избу.

Он будит всех, он жалобно просит у всех помощи. Лекарка и старшая внука опрометью бросаются, одна с залавки, другая с полатей; спрашивают, где пожар; высекают огонь, бегают и толкают друг дружку; маленькая внучка, испуганная тревогою, плачет. Суматоха, стоны, спросы, ответы; вся избушка вверх дном. Лекарка, узнав, наконец, отчего кутерьма, и взглянув на одноглазое, изрытое лицо Мариулы, теряет голову; не знает, за что приняться, говорит, делает невпопад, но, вспомнив бога и сотворив молитву, приходит в себя. Она употребляет все средства, какие только предлагают ей знания ее и усердие, и только к рассвету все опять затихает в избушке. Никогда еще, со времени ее существования, не тревожились так сильно ее обитатели.

Поутру стучались в хижину; несли, по ежедневному обычаю, приношения лекарке: кто вязанку дров, кто горшок с похлебкою только что из печи, кто пришел с вызовом истопить избу. Долго не было ответа. Наконец, вышла старшая внука и извинилась, что к бабушке нельзя: она-де ночью возилась с одною больной и только к утру прилегла отдохнуть. Приношения осторожно приняты, услуги отложили до полдня.

И в самом деле, только что к полдню проснулись в избушке. Сделали новые перевязки больной и между

тем спросили, как ее угораздило, после строгого наказа, испытать лютого зелья. Цыганка рассказала, что она впросонках слышала, как на полке возился котенок; она встала, хотела по нем ударить и зацепила рукавом за пузырек... остального будто за жестокою болью не помнила.

— Не кручинься, бабушка,— примолвила цыганка,— мой грехи, видно, меня и попутали; захотела вдруг разбогатеть!.. В городе же скажем, что обварилась кипятком, вытаскивая горшок из печи...

Сильно упрекала себя старушка, зачем дала цыганке такое опасное снадобье; но Мариула оправдывала ее так убедительно, так увертливо сваливала на себя беду, что Парамоновна успокоилась. Она бескорыстно желала сделать добро другим; не ее же вина, если ее не послушались. Что тяжелей всего было для нее — надо было прибегнуть ко лжи, которую она считала тяжким грехом. Разгласив же истину, можно было на старости лет познакомиться с тюрьмою или с чем-нибудь худшим.

Несколько дней пробыли цыганы у лекарки, и когда раны на лице больной стали совсем заживать, подали ей кусочек зеркальца, чтобы она посмотрелась в него. Половина лица ее от бровей до подбородка была изуродована красными пятнами и швами; она окривела, и в ней только по голосу признать можно было прежнюю Мариулу, которой любовались так много все, кто только видал ее. Она посмотрелась в кусочек зеркала, сделала невольно гримасу и — потом улыбнулась. В этой улыбке заключалось счастье ее милой Мариорицы.

Между тем во время курса лечения цыган, узнав, что его госпожа вне опасности и достигла, чего желала, начал шутить по-прежнему. Раз, когда вышла из избы старшая внучка лекарки, он рассказал о шабаше русалок. Смеялась очень старушка рассказу, но разочаровала цыгана, объяснив, что не водяные ведьмы напугали его, а рыбацкие слобожанки.

— Вот видишь, родимый,— говорила она,— исстари ведут здесь этот обычай, коли слышат по соседству повальные немочи. Девки запахивают нить кругом слободы; где сойдется эта нитка, там зарывают черного петуха и черную кошку живых. Впереди идут две беременные бабы, одна, дескать, тяжела мальчиком, а другая —

девочкою. Немочь будто не смеет пройти через нить. А коли спросишь, для какой потребности петух, и кошка, и смоляная бочка, не могу тебе в ясность растолковать. Старики ж наши про то знавали доточно; видно, умнее нас бывали <sup>1</sup>.

Василий часто заставлял краснеть, как пунцовый мак, пригожую внуку лекарки, напоминая ей русалочную, светлую ночь.

## Глава VI

### С ПЕРЕДНЕГО И С ЗАДНЕГО КРЫЛЬЦА

Недруга догнать, над ним занять  
И победу одержать, вступая в бой  
Труд немалый.

ветр способный  
удобный,  
К а н т е м и р \*

Всегда за ним выборна таскалася свита,  
Что на день рано с утра крестова  
Теми, которых теперь народ почитает  
И от которых наш брат милость  
Сколько раз, не смея те приступить  
Дворецкому кланялись с полными  
И когда батюшка к ним промолвит  
Заторопев, онемев, слезы у иного  
Текли из глаз с радости, иной  
Всем наскучил, хвастая, что был  
С временщиком говорить...

набита  
ожидает.  
к нам сами,  
руками!  
хоть слово,  
не спокоен,  
он достоин  
О н ж е \*

Просим из бедной хижины Рыбачьей слободы несколькими днями назад в палаты герцогские. Однако ж прежде позвольте оговорку. Вы знаете, что без нее не обходился ни один рассказчик, начиная от дедушки нашего Вальтера Скотта \*.

<sup>1</sup> Поверье, описанное в этой главе, существует еще и поныне в некоторых великороссийских губерниях (прим. авт.).

У кого, кроме крестьянина, нет переднего и заднего крыльца! Эти два входа и выхода всего живущего, следовательно мыслящего и чувствующего, в ином доме могли бы доставить новому Фонвизину \* материала на целую остроумную книгу. Не думаю, чтобы лестницы, особенно задняя, где-нибудь представили столько занимательных сцен, как у нас на Руси. Но об этом когда-нибудь после. Ограничусь изображением того, что в данное нами время стекло у герцога курляндского с обоих крылец.

С пробуждением дня жизнь зашевелилась в палатах его; но только какая жизнь? караульная, украдчивая, боязненная. Сначала лениво ползла она с истопниками, конюхами и полостерами по задним дворам, по коридорам и передним; но лишь раздалось слово: «Проснулся!» — все в доме вытянулось в струну; шаги, движения, слова, взоры, дыхание выровнялись и пошли в меру; бесчисленные проводники от великого двигателя — *Бирон* — навели в несколько минут весь Петербург на этот лад. Казалось, душе скомандовал кто-то: «Слушай!» — и душа каждого стала во фронт, чтобы выкидывать свои однообразные темпы.

Огромные переходы вели к дому; в них и на лестнице расставлены были по местам, в виду один от другого, часовые из гвардии герцогской. Каждый из них, облитый с головы до ног золотом, казался горящим пучком, все они — золотою цепью, к которой, увы! за порогом невидимо примыкала железная, опутавшая всю Россию. Огромную переднюю затемняли, как туча саранчи, павшая на маленькое пространство, множество скороходов, гайдуков, турок, гусар, егерей, курьеров и прочей барской челяди, богато одетой; между привычным нахальством ее затерты были ординарцы от полков гвардии. Смотря на косые взгляды слуг и грубые ответы их, смотря, как они зевали и ломались на залавке при входе не слишком значительного человека, вы сейчас отгадали бы, что господин — временщик.

В приемной зале, подле двери самой передней, сидел уж Кульковский. Он пришел в последний раз отдохнуть на своем стуле и насладиться на нем закатом своей службы *при* первом человеке в империи с тем, чтобы

он напутствовал его покровительским взглядом на новое служение. Заметно, что он несколько смутен, и как быть ему веселым, беззаботным по-прежнему? он прощается с приемной комнатой герцога, как своею родиной. Здесь, у золотого карниза, где изображен сатир, выкидывающий козьими ногами затейливый скачок, улыбнулись ему тогда-то; тут, у мраморного стола, положили на плечо могущую и многомилостивую руку, которую он тогда ж поцеловал; далее светлейший, ущипнув его в пухлую, румяную щеку, подвел к огромному зеркалу, только что привезенному из Венеции, чтобы он полюбовался на свою рожу и лысую голову, к которой сзади приклеены были ослиные уши. А стул, драгоценное сиденье проходящего величия его? О! его понесет он в сердце своем сквозь все бури и превратности мира. В последний раз принес он горяченькие новости искателям фортуны, именно, что любимая кобыла герцога ожеребилась; потом — надо же поставить себя рядом с чем-нибудь герцогским, — что у него готов уже пажеский кафтан, который изволил пожаловать ему его светлость, и, наконец, что Эйхлер сделан кабинет-секретарем, о чем еще никто не ведал, кроме его, Кульковского, и самого герцога. Улыбка и пожатие руки знатных, просивших его не забыть их при дворе, пожатие мимоходом руки герцогского камердинера, все это, увы! в последний раз осветило поприще его минувшей службы. Что ожидает его вперед? Роль шута! Это бы хорошо: он будет первый шут в империи по знатности рода. Но опасны плутоватые пажи; облепят его насмешками, как мякушками, не дадут ему и отсидеться на стуле! Новости не через него будут идти. Так-то изменчива фортуна!

Понемногу входили в приемную залу должностные лица — со вздернутым носом, плюющие на небо за порогом Биронова жилища, а здесь сплюснутые, как пузырь без воздуха, сутуловатые, с поникшим, робким взором выжидающие рока из двери во внутренние покои. Слов между проходящими не слышно; заметно только шелест губ, движения рук, улыбка, сверенные по масштабу самого униженного страха. Все, однакож, люди с весом! Они меряют бархат и парчу плечами и локтями; ког-

да они стали в ранжир вдоль стены и окон, больно глазам смотреть на них, так блестят золото и яркость цветов на их одеждах. Не видно ни бедной вдовы с просьбою о пенсии по смерти мужа или о принятии сироты в учебное заведение, ни старика крестьянина с жалобою, что все молодое семейство распродано по одиночке или отдано в рекруты в зачет будущих наборов<sup>1</sup>; не видно ни торговца с предложениями новых промышленных видов, ни художника, вытребованного неожиданно-негаданно к получению награды за великий труд, который он творил для потомства, а продавал, наконец, за кусок хлеба. Ни одного просителя между проходящими — всё искатели. Золотое время! Ждут они час, два и более.

Довольно холодно, если не жутко, как вы видите, на передней половине. Что-то дается на задней?

Бросив мельком взгляд в уборную герцогини, куда и откуда суетливо и увертливо шныряют факторы<sup>2</sup> разного рода, народа и звания, ювелиры, купцы, портнихи, секретари-слуги и служанки-секретари, войдем в берлогу самого медведя, именно в кабинет герцога.

Герцог любил великолепия. Можно вообразить, как он облепил его затеями комнату, откуда дождил Россию жгучими лучами своего властолюбия. Покрытый батистовым пудрамантом и нежа одну стройную ногу, обутую в шелковый чулок и в туфле, на пышном бархате скамейки, а другую спустив на персидский ковер, сидел он в креслах с золотою герцогскою короною на спинке; осторожно, прямо взглядывался он по временам в зеркало, в котором видел всего себя. Туалетом своим он занимался до кокетства, подобно искуснейшему каллиграфу, желающему пленить знатока малейшею живописною черточкой в своем письме. Несмотря, что голове его доставалось от парикмахера, убравшего его, он был терпелив, как бумажный болван, на котором обдeldывают прически. Только один волосубиратель его мог обходиться с ним так деспотически, не страшась мщенья. За парикмахером пришел камердинер и одел его с ног до головы. Кто увидел бы его, когда он, по окончании туалета, с торжествующей улыбкой любовался своей

---

<sup>1</sup> Не анахронизм ли эта отдача в рекруты? (прим. авт.)

<sup>2</sup> Посредники (с лат.).

фигурой, мог подумать, что главная цель его жизни была пленять наружностью. Но лишь только камердинер вон из кабинета — на место его зверообразный Гроснот с пакетами. Распечатан один, другой — и щеголь, привлекательный мужчина, исчез. По тигру повели рукой против шерсти. Глаза его налились желчью, лицо ископилось; он кусал себе губы, кусал ногти — временщик воспрянул.

— Дурак!.. мешается не в свое дело...— сказал он вполголоса, рванув и разорвав алансовые \* манжеты на рукаве, которых клочки испестрили персидский ковер.

Благовзвучный эпитет, вырвавшийся у него, принадлежал его брату Густаву за то, что принимал глупое участие в маскарадном наезде против Волынского. Письмо об этой экспедиции лежало перед ним ископанное. Герцог был взбешен, а когда он находился в этом состоянии, ему нужна была жертва. Алансовые манжеты пострадали, но кружева — вещество, а не существо, которое могло бы чувствовать свои страдания. Гроснот стоял пред ним; он бросился на Гроснота.

— И ты,— вскричал он, запинаясь от злобы,— дурак, скотина!

Адъютант, одушевленный чугуном, привыкший к таким взрывам, молчал. Ни одной тени страха или оскорбленного самолюбия на лице.

— Вы преступники, сударь, и я с вами говорю, как с преступником! — вскричал грозно Бирон.

Адъютант хранил молчание. Повелитель его все более и более утихал.

— Прикажи ослу караулить огород, он все гряды перетопчет... Давай этим господам поручения!.. Ни догадки, ни сноровки! Ломят наповал, напрямик!.. Вчера велено тебе было пытаться малороссиянина, а ты?..

— Заморозил его нечаянно одним лишним уша-том,— отвечал хладнокровно Гроснот,— одним бездельником на свете меньше!

— Знаю, что он был злодей, собака; но все-таки следовало позаконнее... по крайней мере не у меня на дворе... Да, да, где вздумали допытывать?.. Там, куда могла приехать моя всемиловитейшая государыня, которая все примечает, все видит... как это и случилось.



— Некогда было откладывать, ваша светлость; Липман приказал мне кончить скорей...

— Мне черт вас побери с Липманом! С ним и раздельвайтесь, когда дело дойдет до ответа. Я ничего не знаю, не хочу ничего знать. У меня чтоб мертвый был жив! Слышишь?..

— Слышу, ваша светлость!

— И если малороссиянина потребуют налицо к Во-лынскому, чтоб он был налицо, хоть обернись сам в него!.. Слышишь? а не то комендантом в рудокопную фортецию! \*.

— Вина наша с господином обер-гофкомиссаром, на нас и падет ответ. Но обстоятельства уж ее исправили.

— Позвольте узнать, чем и как?

— Могу только доложить, что от Горденки ни волкам, ни могильщикам поживиться будет нечем и что малороссиянин, наряженный к празднику и смененный самозванцем, здесь налицо. Но как это сделалось — объяснит вашей светлости сам господин Липман. Я только знаю, что мне велено знать.

— Хорошо, что так, — сказал герцог, утихая, — я тебя люблю, к тебе привык; ты мне предан и исполнительен... и потому желал бы от души, чтобы ты выпутался здоров и цел из этой негодной истории. Но вот и гофкомиссар... Ступай к своему месту.

Адъютант Гроснот и обер-гофкомиссар Липман могли во всякий час дня и ночи входить без доклада к герцогу. Но степень доверия к этим двум лицам была различная. Каждый имел свой департамент. Первый был только строгий, безотговорочный исполнитель тайных приговоров, исправная хлоплушка, которою колотил людей, как мух, не зная, однакож, за что их душил: одним словом немой, готовый по первому взгляду своего повелителя накинуть петлю; другой — ловкий, умный лазутчик, советник, фактор и допросчик по всем делам, где дух человека и гражданина выказывал себя в словах, или даже намеках благородным противником властолюбивой личности временщика. Стоило Бирону тронуть эту струну, чтобы со всех концов России дали отзывы. Если б кто, как брадобрей Мидаса \*, зарыл свою тайну в земле и герцогу нужно было бы ее знать, Липман вырастил бы на этой земле тростник, и ветер,

шевелия его, рассказал бы тайну. Сам временщик, сколько ни изучал уловки и хитрости неблагонамеренного политика, сколько ни старался подражать лукавству тогдашнего вице-канцлера Остермана, образца в искусстве надевать на себя личину, смотря по обстоятельствам, однакож никогда не мог достигнуть совершенства в этой науке, не имея ни довольно ума, ни довольно власти над собою, чтобы достигнуть своей цели. В случаях же, где необузданность характера его могла изменить, или где лукавства его недоставало, работал Липман, как крот в норе, а темных проводов из его норы было довольно подо все места, начиная от дворца до нищенской лачуги.

Таким образом, каждый из двух соперников, герцог курляндский и Волынской, имел по советнику равно лукавому. Разница между ними была в том, что Зуда с возвышенною и благородною душой действовал из одной бескорыстной преданности и любви к своему доверителю и другу, во имя прекрасного и высокого, а Липман, готовый на все низости и злодейства, служил своему покровителю и единомышленнику из честей и злата.

Липман вошел в кабинет, весело съезжившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину. Но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, сбавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине...

— Все об нем! Да дадут ли мне с ним покой!..— сердито прервал герцог, желая некстати поиграть лукавством с своим советником.— Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни!.. Если б и вздумал кто... так одно слово...

— Ваша светлость,— отвечал Липман униженно и с усмешкой, расшевелившею его уши,— не желаете, конечно, заставлять меня приобретать вновь неоцененное доверие ваше, которое я почитал уже своею неотъемлемою наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю...

— Что забавляюсь. Да, да, любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоем заметил предвестие чего-то хорошего. Знаю, как дело наше важно, по связям

его с польскими делами; но уверен также, что в особе нашего обер-гофкомиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей.

— Вы отгадали. Дельце, несколько запутанное, которое Гроснот неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, конечно благополучно.

— Да, да...— сказал герцог, запинаясь от удовольствия.— Гроснот погорячился; зато и объявил я ему, что в случае беды он один отвечать будет. Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь! И так?..

— Я имел счастье вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам много расторопность людей, вам преданных.

— И тобою ж избранных, мой скромный друг!

Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так, что за дверью никто не мог слышать его разговора:

— Воевода, подписавшийся, для вида, между прочими в доносе Горденки и давший мне знать обо всем, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику, и, догадавшись, что Горденко будет нужен на другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет; настоящий малороссиянин налицо, и кто скажет противное, напутает на себя беду. В это дело замешалась было цыганка, умная и лукавая, как сам бес. Однакож благодаря средствам, данным мне вашею светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал.

Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу, и этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клевету.

— Управься мне с доносчиками, как хочешь, лишь бы концы в воду,— сказал герцог и вынул из бюро несколько листов, которые и отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки.— Вот тебе бланки на их судьбу! Выбрав нужное для себя, сожги бумагу.— Потом прибавил он благосклонно: — Ты сделал мне ныне подарок, и я у тебя в долгу. Твой племянник пожало-

ван в кабинет-секретари: объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом звании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж.

— Милости ваши велики; чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов, великий мой протектор! Позвольте моему племяннику самому... светлейший, едва я не сказал — ваше высочество...

— О! с высочеством не так поспешно...

— На этот случай я буду пророком: много-много чрез полгода вся Россия поднесет вам этот титул...

Бирон ласково погрозился пальцем:

— Лыстец!.. Ну, где ж твой племянник?..

Тигр забавлялся с лисицей.

— Господин Эйхлер! — закричал обер-гофкомиссар, отворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома, — его светлость желает вас видеть...

На этот зов явился сонный долговязый Эйхлер, поклонился, как студент при первом дебюте своем в свет, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении, выставя свой бекасиный нос вперед.

— Благодарите его светлость за новые милости, которые ниспосылает он на вас от высоких щедрот своих, — сказал ему Липман, показывая глазами, чтобы он подошел к руке благодетеля, — вы пожалованы в кабинет-секретари.

Дядя не иначе обращался к своему племяннику, как местоимением *вы*.

— О, конечно... милости... ваша светлость, благодеяния вечно незабвенные... — сказал племянник, запинаясь и кланяясь; но, будто не понимая приказа дяди, не подошел к руке герцога.

— Довольно, довольно, — прервал, усмехаясь, Бирон. — Не бойкий оратор, ха, ха, ха! в Демосфены не попадет! да нам их и не надо. Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших кабинет-министров. Остерман — кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить! — именно Остерман предвещает в нем великого дипломата. (Эйхлер отвесил поклон.) Люблю, что подчиненный мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему... Продолжай, продолжай, молодой человек, и пом-





ни, что скромность, скромность и скромность — первые добродетели и покровители кабинет-секретаря, и что первый враг — язык.

Тут Бирон кивнул Эйхлеру, и когда этот, догадавшись, что ему надо вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеей своей шпаги ручку кресел и потащил было их за собой, герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде:

— Не отесан еще, хотя более года секретарствует при мне, но выполируется со временем в кабинете, при дворе... Теперь,— продолжал он,— с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны; но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее...

— Борьба с буйным, непокорным Волинским, угодно вам сказать?

— Да, этого человека ничем не удовлетворишь, ничем не задобришь и не испугаешь! Он везде, где только может, мне поперечит, он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове; он портит мне беспрестанно кровь... и пока голова на плечах его, я не тверд, у меня связаны руки, я сам-друг властвую... ты понимаешь меня?

— Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, которая хочет все сокрушить, что только нерусское.

— Мятежники! я их в бараний рог!.. Мужики, от которых воняет луком!.. Не всем ли нам обязаны? и какова благодарность! О, как волка ни корми, он все в лес глядит!.. Животные, созданные, чтобы пресмыкаться, хотят тоже в люди! Я их!.. Я им докажу, что водовозная кляча герцога курляндского дороже русского... Гм! Они не знают, с кем тягаются... не на Кульковского напали!

Говоря это, Бирон судорожно тряся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал:

— Впрочем, мы, по твоему совету, нашли слабую сторону этого Ахиллеса... \*

Липман не читывал не только Гомера, и календаря, но догадался тотчас, о чем дело шло.

— Вы изволите намекать на интригу его с молдавскою княжной: прекрасный способ! Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно в этих тенетах, и

как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню ее с своей стороны...

— Изволишь видеть, служанка ее работает усердно... вчера паж доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно. Надо, однако ж, повести это дело еще хитрее и сильнее; участить переписку... доставить свиданьице наедине... а там черт возьми, если не поймает птичку на зерне!.. Понимаешь, надо будет...

— Навести вас или самую государыню.

— Ты, дорогой мой, схватываешь мои мысли, как любовник взгляд своей любезной. Государыня не надышит на девчонку; лелеет ее, как дитя свое, бережет от дурного глаза, видит в ней свое утешение, любимую игрушку; а тут... сам демон в образе Волынского обезобразит, искомкает это сокровище.

Адский восторг вылился на лице временщика.

— О! тогда голова мятежника в ваших руках— подхватил достойный клевет с торжествующим видом.— Чтоб довершить потеху, мы постараемся еще взбесить его в самом дворце... А пока голова у него свежа, признаться, опасен бунтовщик. Мы поведем это дело прекрасно; ручаюсь за успех жизнью своей. Цыганка неволью помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюбленным... Ваша светлость доставит ей... этой чудной, небывалой гадальщице, халдейке — все, что вам угодно будет сказать об ней,— вы доставите ей вход во дворец, свободный ход во всякое время к глупенькой княжне.

— Да, да, государыня любит гаданье с тех пор, как альманачник Бухнер напрозорил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии... Астролог в юбке — это новое! Мы употребим эту небывальщину в дело!

— Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доказчик.

— Добро, все добро, все семя для богатой жатвы! Ты золотая голова; тебя бы надо в кабинет-министры.

— Я стою выше, я ваш кабинет-министр. Забыл еще одно обстоятельство. Надо всеми средствами поддерживать слухи, что Волинской вдовец... это необходи-



мо! А то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны, я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать...

— Обещаю то ж с своей стороны.

— Надо бы на время задержать жену его в Москве... но об этом хлопочет уж сам верный супруг.

— Ха, ха, ха! Придумать нельзя ничего лучше. Поди сюда, мой вернейший и умнейший советник, дай себя поцеловать.

И герцог курляндский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для приятия благословения от пастыря духовного.

Ущедренный этой наградой, Липман продолжал:

— Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета... имя забываю...

— *Историю Иоанны неаполитанской* \*, на полях которой написано рукою мерзавца: *Она! она!*

— Приноравливать к кому вздумал! Сам на себя петлю надевает! В придачу еще вчера вечером...

— Я перебыю тебя, любезный,— сказал Бирон голосом сожаления и качая головой,— признаться, меня вчерашняя маскарадная история огорчила за тебя. Ох, ох, бедный! идти с Волкова поля пешком, в жестокий мороз...

— Обо мне не извольте беспокоиться. Мое тело и душа готовы за вас в пеклу. Для вас, если б нужно было, я вырвал бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили так хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами... шепнула что-то хозяину и все вывернула с изнанки налицо. К тому ж и ваш братец порыцарствовал некстати...

— Брата под арест! Хоть для виду надо же удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным. Любопытно, однако ж, знать, кто эта секретная особа, которой известны ваши тайны... (призадумавшись) это нехорошо, это что-то неловко!

— О! я отыщу этого секретника во что ни станет и... бог свидетель, вымещу на бездельнике мое ночное путешествие и ваше беспокойство, которое стоит, чтобы ему тянуть жилы клещами. Но это пустячки при наших успехах! Кстати, Волынской и вчера проговорился на-

счет государыни. Он пил с насмешкою за ее здравие, припевая ей память вечную.

— И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни.

— Посылал вас... (Липман, усмехаясь, потирал себе руки).

— К черту?.. это не новое! Посмотрим, кто первый попадетя в его когти. Все прекрасно, бесподобно, мой усердный друг!

— Теперь позвольте о двух милостях.

— Заранее даю слово выполнить твои желания.

— Вы имеете важного соперника, я не без них. Лукавый Зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании и с часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти ее, хотя на зло ее господину.

— А средства? она крепостная...

— Я уж придумал их. Кульковскому ищут невесту из простых...

— Чего ж лучше для него этой шлюхи!.. Сама государыня будет просить отдать ее за своего пятидесятилетнего пажу.

— И Волынской не посмеет отказать. Только надо как можно скорей, ваша светлость!

— Первое мое дело во дворце будет об этом.

— Сын ее,— если позволите доложить... ге, ге, хотя и глупенек, но усердно служит нам; сейчас только еще сыграл исправно роль Языка...

— Ну что ж?

— За привод людей к празднику ему обещано офицерство.

— Можешь именем моим поздравить его офицером.

— Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приемной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться.

— Пускай ждут! Эту челядь надо проучивать, а то как раз забудутся... Поболее блеска и шуму для дураков и потяжеле яро для умных, и все пойдет хорошо. Пошли мне Кульковского: я хочу с ним позабавиться да распорядиться насчет его свадьбы.

Липман вышел; на место его вошел Кульковский.

— Любезный пажик,— сказал ему герцог,— мы расстаемся!

— Я лишаюсь лицемерия вашей светлости, которым несколько лет питался, как манною небесною,— отвечал пятидесятилетний паж, подходя к руке герцога.

— О, о! зачем это?.. (Он слегка отдернул было руку, но тот успел уловить ее своими устами.) Поверь, я не оставляю тебя и на новом твоём месте. А чтобы на первых порах доказать мои милости, вот что я для тебя делаю,— только, пожалуйста, не мучь меня своею благодарностию! Слышишь?..

Кульковский согнулся, сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостях своего протектора.

— Государыне твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфлей. За то не миновать бы тебе ловить куниц, хе, хе, хе; но мне стало жаль тебя. Где ему? подумал я: он своим толстым брюхом избородит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь, издохнет, запыхавшись! Дело повернули мы так, что ты при дворе в новой должности. Но (Бирон погрозился пальцем) молодой пажик шалун, плут большой! (Кульковский отвесил глубокий поклон.) хе, хе, хе!.. и государыня боится за своих гоф-девиц. Она хочет непременно женить тебя... ты это слышал?

— Из собственных уст ее величества.

— Я сыскал тебе невесту... ну, нельзя сказать, чтобы молодая, знатная и красивая... но за то мой выбор!

— Прикажите мне жениться хоть на козе, так я почту вашу волю священной.

— На козе, ха, ха, ха! это должно быть презабавно! Надо это поиспытать над кем-нибудь!.. Ха, ха, ха! твоя выдумка меня потешила.

— Блажен, стократ блажен я, что мог доставить вашей светлости хоть миг удовольствия.

— Исполнение этой гениальной мысли побережем, однако ж, для другого. Тебе ж избрал я в сожительницы барскую барыню Волинского, фамилию, черт побери! не припомню.

— Барскую...— мог только сказать смущенный Кульковский.

— Да, да, ее и в приданое мои милости и прощение твоей государыни за старые твои грехи. Что?.. Чай, при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои, литовские или татарские князья?.. Чай, развернули пред твои вельможные очи свои заплесневелые пергаменты?.. Не ломайся же, дурачина, пока предлагают такой клад с завидной придачей, а то велят взять и без нее.

Вошел дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить.

— Ну?..

От этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири.

— Милости ваши велики,— отвечал он,— женюсь...

— Скорей подбери все с ковра! — вскричал герцог, и потомок литовских или татарских князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог еще ему исполнить скорее заданную тему.

## Глава VII

### СОПЕРНИКИ

Ужасный вид! они сразились!..  
Они в ручной вступили бой:  
Грудь с грудью и рука с рукой...  
То сей, то оный набок гнется.

Д м и т р и е в \*

Остерман, сын пастора вестфальского местечка Бокума, потом студент Йенского университета, где запасался обширными знаниями, шутя и ставя профессору восточных языков (Керу) своею любезностию рога и своими остроумными куплетами ослиные уши, там же за честь свою поцарапал кого-то неловко и оттуда бежал в тогдашнее пристанище людей даровитых — под сень образователя России. Угаданный его гением, этот Остерман в благодарность укрепил России дипломатикой своей прибалтийские области ее, которые ускользали было из-под горячего меча победителя (не говорю о других важных подвигах министра на пользу и ве-

личие нашего отечества). Этот самый Остерман, в свою очередь обогащенный деревнями и деньгами, вице-канцлер, граф, умевший удержать за собою, как бы по наследству, доверие и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы и, что еще труднее, трех временщиков, русских и нерусских, составлял в царствование Анны Иоанновны между соперничающими партиями перевесное лицо. Зная силу Бирона, любимца ее и вместе главы немецкой партии, опиравшейся на престол, посох новгородского архипастыря и ужас целого народа, хитрый министр тайно действовал в пользу этой стороны, но явно не грубил русской партии, которой предводителем был Волынской, имевший за собою личные заслуги, отважный и благородный дух, дружбу нескольких патриотов, готовых умереть с ним в правом деле, русское имя и внимание императрицы, до тех пор, однако ж, надежное, пока не нужно было решать между двумя соперниками. Он видел возрождающуюся борьбу народности с деспотизмом временщика, но знал, что представителями ее — несколько пылких, самоотверженных голов, а не народ, одушевленный познанием своего человеческого достоинства. Тогдашний народ, включая и дворянство, погрязший в невежестве и рабепном страхе, кряхтел, страдал, но так же охотно бегал смотреть на казнь своих защитников, как бы на казнь утеснителей своих. Остерман знал, что истинного самопознания национальности не существовало в России и те, кто вздумали ее представлять одними своими особами, замышляли неверное. К тому ж он уверился, что привязанность государыни к герцогу должна восторжествовать надо всеми обстоятельствами. И потому держался бироновской партии и укрепился под сенью ее на второстепенном месте в империи. Таким образом, казалось, математически обезопасил свое лицо от превратностей фортуны. В расчетах этих он не догадался только, что хотя просвещенной национальности не существовало в России, но семя ее заброшено в каждом человеке, где лишь только есть народ; и потому действовать именем ее легко было в лице той, которая, как дочь Великого Петра, отца отечества, могла возбудить эту народность лучше сборища патриотов, действующих от себя. Он думал,

что достаточно отдалил Елисавету Петровну от этой роли, и — ошибся. За эту ошибку поплатился он всем, что приобрел заслугами царям и России, умом своим и хитростью. Такие молниеносные промахи самых утонченных политиков освещают для нас пути провидения. Видно, под зарницею их спеет жатва божья!

Дивное явление в нашей истории этот Остерман! Какой чудный путь протек он от колыбели своей, в захолустье германского запада, до Березова!.. Приняв из рук судьбы страннический посох на пороге пресвитерской хижины, он соединил его потом со скипетром величайшего из государей, начерчивал им военные планы, мировые народам и царям и уставы на вековую жизнь империи, указывал череду на престол и, наконец, положил этот посох так скромно, так печально, на Востоке, в тундрах Сибири!.. Бокум, Иена, Ништадт, Березов!.. Надо же было так.

Но виноват: я увлекся чудною судьбою одного из величайших двигателей просвещения в России, который еще не оценен достойным образом и ожидает своего историка. Обращаюсь к роману.

Наступало, однако ж, критическое для Остермана время: он поддерживал доселе герцога, как любимца государыни, которую сам возвел на престол; теперь, когда узнаны были его высшие виды, надлежало помогать ему всходить на ступени этого престола или вовсе от времени отложиться. В последнем случае вице-канцлер давал торжествовать русской партии и возводил Волинского на первенствующее место в кабинете и в империи. Он пришел к герцогу, затвердив двусмысленную роль, которую решил играть до того времени, пока сами обстоятельства расскажут ему его обязанности.

Вслед за ним явился паж от государыни, звавшей к себе его светлость. Дали ответ, что сейчас будут.

Худо чесанная голова, засаленная одежда министра представляли совершенный контраст с щеголеватой наружностью хозяина. Входя в кабинет, он опирался на свою трость, как расслабленный.

— Каково здоровье? — спросил его Бирон с живым участием, усаживая в кресла. — Эй! Кульковский! Скамейку под ноги дорогого гостя! Я знаю, вы страдаете подагрой. Подушку за спину!

Невольный паж, подставив скамейку под ноги министра и уложив подушку за спину его, вышел с лицом, багровым от натуги. Министр, благодаря, и охая, и морщась, и вскидывая глаза к небу, чтобы в них нельзя было прочесть его помыслов, отвечал:

— Ваша светлость знаете мои немощи... несносная подагра! ох!.. к тому ж начинаю худо видеть, худо слышать.

— Конечно, не все до слуха вашего доходит, но мы вам в этом случае поможем,— сказал Бирон двусмысленно, придвигая свои кресла к креслам Остермана,— а что касается до зрения, то у вас есть умственное, которому не надо ни очков, ни подзорной трубки.

Вице-канцлер благодарил его наклонением головы и, улыбнувшись, расправил себе волосы пятернею пальцев, как гребнем. Бирон продолжал:

— Самсон покорился слабой, но лукавой женщине. Ум стоит телесной силы. Здоровье, сила душевная нужны нам, почтеннейший граф, особенно теперь, когда враги наши действуют против нас всеми возможными способами, и явно и тайно. Я говорю — враги наши, потому что своего дела не отделяю от вашего.

— Конечно, герцог, я держусь вами... ох! эта нога... (он наморщился и потер свою ногу, долго не будучи в состоянии произнести слова) держусь, как старая виноградная лоза, иссыхающая от многих жатв, крепится еще около дуба во всей красе и силе.

Здесь курляндец пожал ему дружески руку.

— Но разве есть новости после того, как я имел честь беседовать с вашею светлостью?

— Должен признаться вашему сиятельству, что мятежнический дух Воынского, и, к стыду нашему, еще кабинет-министра, нахально усиливается каждый день. Перокин, Сумин-Купшин, Щурхов и многие другие, составляющие русскую партию, предводимую демоном безначалия, близятся с каждым днем к престолу и шепчут уже государыне нашу гибель. Смерть, казнь всем немцам — пароль их. Никогда не работали они с таким лукавством и такими соединенными силами. Ненависть их ко всему, что нерусское, вам известна, но вы не знаете, как они ненавидят меня. Поверите ли, что я скоро не буду в состоянии собирать государственные подати?

Они хотят этого достигнуть, чтобы расстроить машину правления и взвалить несчастные последствия на меня. Научают чернь, дворянство слухами о жестокостях моих, вооружают против меня целые селения, говоря, что я хочу ввести басурманскую веру в России, что я антихрист, и целые селения бегут за границы. Это дойдет до государыни. Подумайте о будущности несчастной империи. Что скажет императрица, вверившая нам кормило государства? что скажет о нас история?

Остерман возвел глаза к небу и пожал плечами. Он думал в это время: «Что скажет об тебе история, мне дела нет; а то беда, что русские мужики в недобрый час изжарят нас, басурманов, как лекаря-немца при Иоанне Грозном» \*.

— Не смей я даже наказывать преступников — кричат: тиран, деспот! Исполнение закона с моей стороны — насилие; исполнение трактатов, поддержка политических связей с соседями — измена. Вы знаете, как справедливо требование Польши о вознаграждении ее за переход русских войск через ее владения...

— Справедливо, как требование долга по заемному письму. И что ж, неужели?.. ох! нога, нога!..

— Посудите, любезнейший вице-канцлер, я, который, говорят, ворочает империей, не смею предложить это дело на рассуждение кабинета. Мне нужны сначала голоса людей благонамеренных, преданных пользе государыни. И это дело готовят наши враги в обвинение мое. Право, стыдно говорить вам даже наедине, о чем они кричат на площадях и будут кричать в кабинете, помяните мое слово!.. будто я, герцог Курляндии, богатый свыше моих потребностей доходами с моего государства и более всего милостями той, которой одно мое слово может доставить мне миллионы... будто я из корыстных видов защищаю правое дело.

Вошел паж и доложил его светлости, что государыня опять велела просить его во дворец.

— Скажи, сейчас буду, — отвечал с сердцем герцог.

— Не задерживаю ли вашу светлость? — спросил Остерман, привстав несколько на свою трость.

— Успею еще! Наш разговор важнее... Видите ли теперь, мой почтеннейший граф, что губит меня!.. Внимание, милости ко мне императрицы!.. Ее величество зна-



ет мою преданность к себе, к выгодам России... она поверяет мне малейшие тайны свои, свои опасения насчет ее болезни, будущности России. И коронованные главы такие же смертные... что тогда?.. Я говорю с вами, как с другом...

— Мы увидим, мы уладим. Разве бразды правления выпадут тогда скорее из рук... нежели теперь? Кто ж тверже и благоразумнее может?.. (Здесь Остерман сшурил свои лисьи глазки.)

— О! разве с помощью моего умного друга, как вы!.. Впрочем, я и теперь уступил бы...

— Уступка будет слабостью с вашей стороны. Честь ваша, честь империи требуют, чтоб вы были тверды.

— Я пожертвовал бы собою, я бросился бы, как второй Коклес \*, в пропасть, лишь бы спасти государство; но знаю, что удаление мое будет гибелью его. Тогда ждите себе сейчас в канцлеры — кого ж? гуляку, удалыца, возничего, который проводит ночи в пировании с приятелями, переряжается кучером и разъезжает по... (Бирон плюнул с досадой) дерзкого на слова, на руку, который того и гляди готов во дворце затеять кулачный бой, лишь бы имел себе подобного... Поделает из государственного кабинета австерию...<sup>1</sup> и горе тому, кто носит только немецкое имя!

За дверьми послышался крупный разговор.

— Слышите?.. Его голос! Видите, граф, у меня в доме, во дворце, меня осаждают... Без доклада! Как это пахнет русским мужиком!.. И вот ваш будущий канцлер!.. Того и гляди придет нас бить!.. Вашу руку, граф!.. Заодно — действовать сильно, дружно — не так ли?.. Вы... ваши друзья... или я еду в Курляндию.

Эти последние слова были произнесены почти шепотом, но твердо. Герцог указал на дверь, кивнув головой, как бы хотел сказать: возитесь вы тогда с ним!.. Вице-канцлер, внимая разительным убеждениям Бирона, сделал из руки щит над ухом, чтобы лучше слышать, поднимал изредка плеча, как бы сожалея, что не все слова слышать может, однако ж к концу речи герцога торопливо, но крепко пожал ему руку, положил перст на губы и спешил опустить свою руку на трость, обратя разговор на посторонний предмет.

<sup>1</sup> Трактир (итал.).

В самом деле, говоривший за дверью кабинета был Вольнской, но как он туда пришел и с кем крупно беседовал, надо знать наперед.

Кабинет-министр, рассерженный неудачею своего послания к Мариорице и хлопотами по устройению праздника и ледяного дома, всходил на лестницу Летнего дворца. Ему навстречу Эйхлер. Вероятно, обрадованный возвышением своим, он шел, считая звезды на потолке сеней, и в своем созерцании толкнул Артемия Петровича.

— Невежа! — вскричал этот, — не думает и извиняться! видно, каков поп, таков и приход.

Лицо Эйхлера побагровело от досады; однако ж он не отвечал.

Выходка Вольнского предвещала грозу. Девятый вал набежал в душе его. Он вошел в залу, но, увидав за собой Миниха, остановился, чтобы дать ему дорогу. Этого военного царедворца уважал он, как героя, пожавшего еще недавно для России завидные лавры, как умного, истинно полезного государству человека и как сильного, честолюбивого соперника Бирона, уже раз восстававшего против него и вперед неизбежного. Только Миних и Вольнской могли попасть в любимцы к государыне; Остермана она только всегда уважала.

Миниха удивил поступок Вольнского. Он пожал ему дружески руку и примолвил:

— Вы, однако ж, не любите никого впереди себя, мой любезнейший Артемий Петрович!

— Никого, кто не достоин быть впереди, — отвечал с твердостью Вольнской. — Но всегда с уважением уступлю шаг тому, кто прославляет мое отечество и вперед обещает поддержать его выгоды и величие. Приятно мне очистить вам дорогу...

Слова эти были пророческие.

— Я немец, — прервал его Миних шутливым тоном, схватившись с ним рука за руку, — а вы, носятся слухи, не любите иностранцев?

— Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клеветуют. Не люблю выходцев, ни-

чтожных своими душевными качествами и между тем откупивших себе тайною монополией, неизвестными народу услугами или страдальческим многотерпением право грабить, казнить и миловать нас, русских! Перескажите это,— примолвил Артемий Петрович, обратясь к Кульковскому, подслушавшему разговор,— если вам угодно, я повторю. Но,— продолжал он, идя далее чрез залу,— пришлец в мое отечество, будь он хоть индеец и любил Россию, пригревшую его, питающую его своею грудью, служи ей благородно, по разуму и совести — не презирай хоть ее,— и я всегда признаю в нем своего собрата. Вы знаете, отдавал ли я искреннюю дань уважения Остерману, министру Петра Великого,— не нынешнему, боже сохрани! — Брюсу \* и другим, им подобным?.. Презираю иностранца, который ползает перед каким-нибудь козырным валетом, который с помощью кровавых тузов хочет выйти в короли; но менее ли достойна презрения эта русская челядь (он указал на толпу, стоявшую униженно около стен, опираясь на свои трости)? Посмотрите на эти подлые, согнутые в дугу фигуры, на эти страдальческие лица... Скомандуйте им лечь наземь крыжом \* по-польски — поверьте, они это мигом исполнят! Мало? — велите им сбить яблоко, не только с головы сына... \* с младенца у груди жены, и поманите их калачом, на котором золотыми буквами напишут: «*Милость Бирона*» — и они целый пук стрел избудут, лишь бы попасть в заданную цель.

Миних, усмехаясь, пожал руку Вольтинскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее; но благородное негодование кабинет-министра на низость людей, как лава кипучая, сделавшая раз вспышку, не останавливалась до тех пор, пока не сожигала, что ей попадало навстречу. В таких случаях он забывал свои планы, советы друзей, явных и тайного, забывал Макиавеля, которого изучал. Душа его, как разгневанный орел, рвала на части животных, им только взвиденных, и впивалась даже могучими когтями в тигра, который был ему не по силам.

Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет-министра, прося позволения доложить о их приходе.

— Скорей же! — сказал Артемий Петрович, — Миних и Волинской не долго ждут у самой императрицы.

Паж пошел, но, посмотрев в замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом, воротился и просил Миниха и Волинского повременить, потому что не смеет доложить его светлости, занятому с господином вице-канцлером.

— О, когда так, — воскликнул Волинской, — войдемте.

И Волинской отворил дверь в кабинет временщика, все-таки уступая шаг своему спутнику. За ними поспешил войти паж с опоздалым докладом.

Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть, потом опять с улыбкою сказал, обратясь к Волинскому:

— А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории. Негодяи! под моим именем!.. Это гадко, это постыдно! Кажется, если б мы имели что на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаенными. Мерзко!.. Я этого не терплю... Я намерен доложить государыне. Поверьте, вы будете удовлетворены: брату — первое строжайший арест!

— Я этого не желаю, — отвечал холодно Волинской.

— Вы не хотите, справедливость требует... пример нужен... я не пощажу кровных...

— Они довольно наказаны моим катаньем.

— Ха, ха, ха! это презабавно. Господин вице-канцлер уж слышал (Остерман, усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой), но вам, граф, должно это рассказать.

— Любопытен знать, — отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперед и закрыв длинною ногою одну сторону кресел.

— Его милость так прокатила вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю, и поделом!

— Позвольте вам противоречить, — перебил Волинской, — одного из них я подвез только к Летнему дворцу, именно сюда в дом...

Приняв эпитет негодя для своего брата, Бирон иронически продолжал:

— Да ведь сам Артемий Петрович в маскарадном, кучерском кафтане!.. Надо, говорят, посмотреть, как этот русский наряд пристал такому молодцу, как наш кабинет-министр! (Последнее слово заставило Остермана опять усмехнуться.)

— Да, ваша светлость, я славно прокатился и в Персию и в Немиров,— подхватил с досадою Воынской,— и никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил свое дело кучерски, а не как министр Российской империи. Впрочем, русские бояре-невыходцы — просто веселятся и так же делают государственные дела: сам Петр Великий подавал нам тому пример. Может статья, и его простота удивила бы выскочку в государи, если б они могли когда быть!

— Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто же смеет лишать вас заслуг ваших?.. Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом и... последняя милость...

— Милость моей государыни! — прервал с твердостью Воынской.— Я ни от кого, кроме ее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее...

— Боже мой! какая азиатская гордость!.. Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог курляндский...

Бирон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула; но кабинет-министр так же гордо встретил его взор и сидя отвечал:

— Я не имею никакой должности в Курляндии.

Бирон вспыхнул, сдвинул под собою кресла так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем:

— Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества.

При этом имени Воынской тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал:

— Слушаю повеление моей государыни.

— Она подтверждает вам, сударь... чтобы вы... (не приготовив основательного удара, Бирон растерялся и искал слов) поскорее... занялись устройством ледяного дворца...

— Где будет праздноваться свадьба шута?..— отвечал с коварной усмешкой Волинской.— Я уж имею на это приказ ее величества; мне его вчера сообщили от нее; ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употребить меня на дела, более полезные для государства.

— Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волинской. (Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился.)

— С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству!.. Доведено ли до сведения ее величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взysкивать недоимки? Поверите ли, граф? — продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, — у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою...

— Ужасно! — воскликнул граф Миних.— Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общепользную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков! Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные?

— Всего более страдает Малороссия, — отвечал Волинской, бросив пламенный, зоркий взгляд на Бирона. (Этот сел, и кабинет-министр сел за ним.) Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру.

Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии.

— Об этом, — подхватил Остерман, — сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит

для блага России. (Здесь Воынской с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал.) И, сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом: государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренне благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа.

Этот лукавою речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Бирона, который, пользуясь поддержкою вице-канцлера, обратился с большею твердостью к мнимому гетману Малороссии:

— Поверьте, несчастия, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Воынской обманут своими корреспондентами.

— Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами,— сказал Воынской.— Я имею свидетельства и, если нужно, представляю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткой за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там...

— Выдумка людей беспокойных! мятежных!

— Неправда, герцог! — вскричал кабинет-министр, вскочив со стула.— Воынской это подтверждает, Воынской готов засвидетельствовать это своею кровью...

Явился опять посланный из дворца, и опять за тем же.

— Сию минуту буду! — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей.— В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами...

— Ваша светлость пригласили меня,— сказал Миних,— чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск.

— Да, да,— отвечал Бирон,— господин вице-канцлер согласен на вознаграждение.

— Честь империи этого требует,— сказал Остерман.— Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в Кабинете.

— Честь империи!..— воскликнул Воынской.— Гм! честь... как это слово употребляют во зло!.. И я скажу

свое: *впрочем*. Здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один *вассал* Польши может сделать доклад об этом вознаграждении; да один *вассал* Польши!..

При слове «*вассал*» Миних и Остерман встали с мест своих,— последний, охая и жалуясь на подагру,— оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынской не доходил до такой отчаянной выходки; ему наскучило уж долее скрываться.

— За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек! — вскричал вне себя Бирон,— клянусь вам честью своею.

— Отдаю вам прилагательное ваше назад! — вскричал Волынской.

— Государыня вас требует,— сказал Остерман герцогу.

— Во дворец, да! к государыне! — произнес Бирон, хватая себя за горящую голову; потом, обратясь к Волынскому, примолвил: — Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога курляндского.

— Очень рад,— отвечал Волынской и, не поклонясь, вышел.

Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «*Я или он должен погибнуть*» — слова, произнесенные беснующимся Бироном, когда они с ним прощались:

— Я или он должен погибнуть! — повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.

— Этого гордеца надо бы хорошенько проучить,— говорили между собою стоявшие в зале, когда Волынской проходил мимо их с гневной, презрительной улыбкой.

— Его светлость! его светлость! — закричал паж.

Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой, Бирон прошел чрез приемную залу и удостоил дождавшихся в ней одним ласковым киваньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклошение! «*Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важ-*



ность в поступи! Проницательность во взорах! Он рожден повелевать!.. Модель для живописца!.. Жена моя от него без ума!»

Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника и для женщин имел более привлекательности.

— Помилуйте,— отвечали ему,— у того был только бюст хорош, а у этого... все совершенство!..

Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруей на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем как чернь дивилась счастью временщика, червяк точил его сердце: гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы ни стало»,— говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное:

«Берегись, злодей!.. Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеветы бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию».

Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозною неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенной ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.

Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на темя — нет муки, нет казни, которую взбешенный Бирон не назначил бы Гросноту за его оплошность.

Кучера, лакей, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обрелось его гневу. Он попытается, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их; он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.

### Глава VIII ВО ДВОРЦЕ

Но час настал — я ничего не помню,  
Не нахожу затверженных речей;  
Любовь мутит мое воображенье...

Пушкин \*

— Во дворец! — закричал взбешенный Волынской и углубился в карету.

При слове «дворец» Мариорица, вооруженная с ног до головы всеми возможными обольщениями, предстала пред него.

«Там,— говорил он сам с собою,— увижу, может быть ее, эту пленительную Мариорицу, которую не могу вытеснить из сердца, от которой сойду с ума, если она не будет моею».

Молчание ее на письмо, препятствия раздражили в нем страсть до того, что он признается в ней уже самому себе. Эту страсть называл он доселе прихотью непостоянного, влюбчивого характера. И что ж теперь? одна мысль о Мариорице — и Волынской уже не кабинет-министр, не ревностный гражданин, жертвующий собой отечеству; он просто пламенный, безумный любовник. Что за слова: честь, благородство, отечество, он их более не понимает. Он кается уже, что вспышкой своего неосторожного характера слишком рано возбудил против себя временщика и что это обстоятельство отдалит его от дворца. Безрассудный! он подрезал, может статься, в полном цвете лучшие свои надежды. В минуты мечтания о Мариорице (и, кажется, только в эти минуты) патриот Волынской готов уступить врагу, лишь бы он сделал его властелином ее, одной только ее. Тешся тогда лукавый сколько душе угодно, режь, души кого хочешь!.. И правду говорил Зуда: одному ль ему пересилить судьбу России в образе Бирона?..

Он погрузился в одну мысль о Мариорице. Вся душа его, весь он — как будто разогретая влажная стихия, в которой Мариорица купает свои прелести. Как эта стихия, он обхватил ее горячей мечтой, сбегает струею по ее округленным плечам, плещет жаркою пеною по лебединой шее, подкатывается волною под грудь, замирающую сладким восторгом; он липнет летучею брызгою к горячим устам ее, и черные кудри целует, и впивается в них, и весь, напитанный ее существом, ластится около нее тонким, благовонным паром.

— Карета давно подъехала ко дворцу! — раздался голос, и Вольинской, встрепенувшись, видит: дверка отворена, подножки спущены, и гайдук в изумлении смотрит на своего барина, неподвижно углубленного в карете.

«Уж не удар ли с ним!» — думает слуга.

— Да, да, я задремал, — говорит Артемий Петрович.

Браня себя за свою слабость и обещаясь быть вперед благодарнее, он спешит во дворец.

Входя в него, не заботится, как примет его государыня; он думает только о восторге с Мариорицей. Сердце его трепещет, как у молодого человека, вступающего в первый раз в свет. И вот он в комнате, где принимает его императрица Анна Иоанновна. Она забавлялась в ней игрою на бильярде, которую так же любила, как верховую езду и стрельбу из ружья.

Вольинского осаждают вереница шутов разного звания и лет (их было, если не ошибаюсь, шесть почетных, включая в то число Кульковского, успевшего также явиться к своей должности). Между ними отличаются итальянец Педрилло, бывший придворный скрипач, но переменявший эту должность на шутовскую, найдя ее более выгодною, и Лакоста, португальский жид, служивший еще шутом при Петре I и прозванный им принцем самоедов. Старик Балакирев \* — кто не знал его при великом образователе России? — дошучивает ныне сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками. Он играет теперь второстепенную роль; он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в загоне, остроумен только тогда, когда случается побранить их. И как не жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, Лакоста и Педрилло, отличены какими-то значками

в петлице, под именем ордена *Бенедетто*, собственно для них учрежденного. А он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в двадцатых годах. Вообще все эти шуты не прежних времен; фарсы их натянуты, тупы, и как быть им иначе под палкою или, что еще хуже, грозным взором Бирона? Остроумие — дитя беззаботного веселия.

— О, волинка! пру, пру, ду, ду...— вскричали и затаили один за другим Педрилло и Лакоста, увидав Вольтинского, которого они не любили потому, что он их терпеть не мог и ничем не даривал; да и соперничество его с герцогом курляндским было положено тут же на весы.

— Видно, музыка этой волилки не по вас, картофельщики,— подхватил Балакирев,— стеклянные головки не выдержат русского языка.

Императрица играла в бильярд с Мариорицей, которую сама учила этому искусству, чтобы иметь во всякое время свою домашнюю партию. Княжне Лелемико приходилось играть; но при имени Вольтинского она вспыхнула, побледнела и задрожала. Шары двоились в глазах ее, бильярд ходил кругом. Можно догадаться, каков был удар.

— Кикс, моя милая!— сказала государыня, засмеявшись,— никогда еще не видывала я тебя в таком знаменитом ударе. А? наш любезный кабинет-министр!— примолвила она, обратясь с приветливым видом к Вольтинскому, — каково здоровье?

— Еще худо, ваше величество,— отвечал он, бледный от смущения княжны Лелемико, не скрывшегося от его взоров.

— Это заметно.

— Но я поспешил сделать вам угодное, государыня, принялся ныне же за устройство...

— Ледяного дворца для свадьбы моего новобрачного пажика. (Кульковский сделал глубокий поклон так, что широкая лысина его казалась блестящею тарелкою среди его туловища: в нее звучно шлепнул Педрилло ладонью.) Я любовалась уж из окна, как у вас дело спеет. Мне это очень приятно. Вы с таким усердием исполняете мое желание, что даже нездоровье вас не удержало.

— Удовольствие ваше, государыня, дорого нам.

— Не взъщите, господа, что отвлекаю вас от дел государственных для своих прихотей... Да, таки прихотей... не скрываю этого; но старая, хвора, брюзгливая женщина всегда с причудами. Зато недолго буду вам надоедать ими.

Анна Иоанновна произнесла это грустным голосом, как бы предчувствовала свою близкую смерть. Волинской хотел что-то сказать, но государыня предупредила его, смотря на него проницательным взором:

— Мне уж и память вечную поют... (Волинской побледнел и собирался сделать почтительное возражение; но и тут государыня дала ему знак рукою, чтобы он молчал, и примолвила:) Знайте, однако ж, мой любезнейший Артемий Петрович, что я умею различать от истины шутку, под веселый час, а может быть, и в сердцах сказанную. Дела ваши говорят мне о вашей преданности лучше, нежели сплетни. (Она протянула милостиво руку Волинскому, и этот, став на одно колено, поцеловал руку с жаром благодарности. В это время вошел герцог курляндский. Государыня, сначала испуганная его появлением, смешалась, однако ж вскоре оправилась и, взглянув на него довольно сухо, продолжала, обращаясь все к кабинет-министру.) Я не имею нужды посылать за вами по три раза; вы являетесь даже на мысленное мое приглашение. Верьте,—прибавила она, давая голосом особенный вес своим словам,— что никто нас не поссорит с вами.

Пасмурно, с злобною усмешкой смотрел Бирон на эту сцену и долго молчал, потом завел разговор то с шутами, то с Мариоричей.

Поднялся гам между шутами. Надобно было им рассеять гнев государыни. Педрилло, приняв команду над товарищами, установил их, одного за другим, около стены, как дети ставят согнутые пополам карты так, что, толкнув одну сзади, повалишь все вдруг. Один Балакирев не повиновался. Дело обошлось и без него. Педрилло дал толчок своей команде, и все повалились один на другого. Долго барахтался Кульковский по полу, чтобы встать. Государыня изволила смеяться этому фарсу; смеялись другие зрители, хохотали сами актеры. Потре-

бован, однако ж, отчет от Балакирева, почему он не повиновался.

— Червяк в голове! — отвечал старик угрюмо, — а когда червяк у русского заведется, так и сам принц не только кур, но и коршунов не выгонит его.

За такое неповиновение отсчитали бедному шуту Петра I столько ударов палкою, сколько слов было в его ответе.

Между тем игра на бильярде кончилась к удовольствию Мариорицы, делавшей беспрестанно промахи, несмотря, что вооружилась всею душевною твердостью. Бойкая воспитанница гарема сделалась робка и стыдлива, как институтка за порогом дома, где получила воспитание. Условлено было, что, когда княжна проиграет, должен пролезть под бильярдом ассистент ее, новопожалованный паж, а в противном случае — Педрилло. Пал роковой жребий на Кульковского, и он пополз на четвереньках, сопровождаемый общим смехом. Жестокая судьба его не удовлетворилась тем, что заставила его считать, задыхаясь, перегородки бильярда, что товарищи осадили его со всех сторон княми, как охотники кабана, запутавшегося в тенетах; надо еще было, чтобы вбежала любимая государынина борзая сучка, которая увенчала потеху, вцепившись зубами в ухо страдальца.

— А ту! а ту! — кричали шуты.

Травля была презабавная... Кровь порядочно струилась по пухлой щеке Кульковского, и, несмотря на боль, он не смел отогнать свою мучительницу. Мариорица почти со слезами смотрела на это зрелище. Наконец, государыня, боясь видеть своего пажа корноухим, сжалась над ним и велела отнять собаку. Сколько раз, при совершении этого мученического подвига, вспоминал Кульковский о своем дежурном стуле в Летнем дворце! Вдобавок поручили ему смотреть за сучкою, с тем чтобы она привыкла к нему.

Гнев императрицы на герцога, как и можно было ожидать, кончился со смехом ее на проказы шутов. Он умел воспользоваться минутою веселости, чтобы подойти к ее величеству и просить у ней прощения, сбрасывая всю вину на важные дела государственные, которых разбирательством он должен был заняться.

— Желая вас успокоить скорейшим окончанием их,— говорил он,— я сделался преступником. Где гнев, тут и милость.

Когда нужно было, хитрец знал употреблять и русские пословицы в дело. Изволили простить по пословице, с тем, однако ж, чтобы во весь день важных дел не встречалось. Разговаривая с Бироном все по-немецки уже ласковым тоном, изволили прохаживаться по бильярдной взад и вперед и останавливались нередко у окна, из которого видна была начатая стройка ледяного дома. Этим случаем воспользовался Бирон, чтобы хвалить усердие Волинского в исполнении малейшей воли государыни. Такие отзывы льстили сердцу ее величества, и она не упустила случая благодарить своего любимца за беспристрастие. Изъявили также желание, чтобы между первыми сановниками государства, которых она столько любила, отдавая, однако ж, преимущество, по справедливости, одному, существовал всегда мир, который будто, как до нее дошло, колебался...

— Каждому свое,— говорила государыня,— вам, кажется, делить нечего.

Тронутый герцог, со слезами на глазах, поклялся даже сделать уступки своих прав Волинскому, чтобы только угодить обожаемой государыне. В сердце же клялся помириться с ним тогда лишь, когда увидит голову его на плахе. Он убежден был тайною запискою, найденною в карете, что еще не время действовать решительно, и потому скрыл глубоко свою ненависть.

С другой стороны, кабинет-министр, отуманенный любовью и довольный, что государыня отвлечена от него жарким разговором с Бироном, забыл свою вражду. Он спешил воспользоваться этим случаем, чтобы подойти к княжне Лелемико. Любовь, стыдливость, которой не учили ее в гареме, а научила сама природа, были ключом из сердца ее и выступали на щеках румянцем, в глазах — томительным огнем. Когда Артемий Петрович подошел к ней, из-под длинных ее ресниц блеснуло выражение сердечного участия, дрожащие уста ее сделали вопрос:

— Здоровы ли вы?

— Я был болен, очень болен,— отвечал Волинской,— и хотел было умереть.

Слеза навернулась на ее глазах; она покачала головой, как бы хотела сказать: «Безжалостный! что вы со мною делаете?..» — и сказала вслух:

— Должны быть важные причины на это?

— Вы презрели моими страданиями, и для чего ж мне после жить!.. Но я хотел еще раз вас увидеть, еще раз упиться этим блаженством, и потом... да судит бог!.. Не моя вина! Зачем перенес он вас в Петербург? зачем испытывать было надо мною обольщения вашего небесного взгляда?.. Я человек; а надобно быть камнем, чтобы провести свое сердце сквозь такие испытания...

Мариорица не отвечала, но взор ее наградила Волинского самую пламенную, самую нежную любовью. Дрожая, она положила на окно платок, из которого он мог заметить уголок свернутой бумажки. Это был ответ, который княжна написала, вставши поутру, но, за отсылкою «Телемахиды» сметливую служанкою, не могла доставить к Артемию Петровичу.

Ах! как любила Мариорица!.. Любовь разлилась в ней пожаром, во сне палило ее муками, нежило роскошными видениями, наяву мутила все ее думы, кроме одной, что Волинской сведен в ее душу самим провидением, не как гость минутный, но как жилец вечный, которому она, раба, друг, жена, любовница, все, чем владеет господин на востоке и севере, должна повиноваться, которого должна любить всеми помышлениями, всею душою своей, которого так и любит. И могла ль она после этого не отвечать на письмо его? Девушку с европейским воспитанием испугали бы в таком случае расчеты приличия, страх общественного мнения; она, пламенное дитя Востока, боится только гнева, холодности своего владыки. Мариорица полюбила не постепенно; страсть ее не созрела временем, пожертвованиями, оценкою достоинств любимого предмета — она вспыхнула в один миг, в один миг ее обхватила, и Мариорица не может уже любить ни более, ни менее, сколько любит. Ни у кого не спрашивалась она совета на эту любовь: ни у рассудка, ни у сердца, ни у людей. Любовь послана ей свыше, как фирман<sup>1</sup> султана его подданному: слепое

---

<sup>1</sup> Указ (с перс.).



исполнение или гибель!.. Никому не поверяет она своих чувств: если бы она это сделала, ей бы казалось, что она делит их с другим.

Волынской видит роковую бумажку, догадывается, что это ответ на его письмо, и не имеет возможности ее взять. Шуты беспрестанно шныряют около них, подмечают их взгляды, подслушивают разговор, следят движения, но добыча шпионов небогата на этот раз. Разговоры влюбленных отрывисты, перемешаны каббалистикой слов, непонятных для черни, похищенных из другого, высшего мира. Волынской благодарит Мариорицу за жизнь, которую она дарит ему, которую обещает он ей посвятить. Он просит дозволения прислать к ней цыганку за ответом. Цыганка заслужила его доверие: можно ли отказать? Взоры княжны, увлажненные любовью, то останавливаются на нем, то застилаются черными длинными ресницами; он пьет ее душу в этих взорах, он черпает в них море блаженства. Смущение их обнаружило бы скоро их страсть, если б голос императрицы, зовущей к себе княжну, не спас их от подозрения.

Волынской блаженствует; он торжествует заранее и, смотря на все в волшебное стекло любви, видит в своем враге ловкого, умного любимца императрицы. Они беседуют, шутят друг с другом, как будто никогда не ссорились, и государыня утешается, что согласие водворилось между ними так скоро по манию ее воли.

Анна Иоанновна сидела на штофном диване, расположенном вдоль внутренней стены комнаты; несколько ступеней, обитых богатыми коврами, вели к нему. Мариорица уселась у ног ее на верхней ступени.

— Как разгорелась ты, прекрасное дитя мое! — сказала государыня, обвив ее шею своею рукой и поцеловав ее в лоб.

От этого движения свалилась с головы княжны шапочка, и черные длинные косы пали ей на колена. Как она была хороша в эту минуту!.. Сама государыня посмотрела на нее с восторгом матери, подняла ей косы, обвила ими дважды голову, надела ей шапочку несколько набекрень, по-русски, полюбовалась опять на нее с минуту и, с нежностью потормошив ее двумя пальцами за подбородок, примолвила:

— Какая милушка!

Все в комнате примолкло; самые шуты не шевелились, будто страшась нарушить это занимательное зрелище. Вольнской стоял, как вкопанный: он пожирал Мариорицу глазами, он весь был у ног ее. На беду, княжна сидела по-восточному, и одна ножка ее, обутая в башмачок, шитый золотом, уютная, как воробышек, выглядывала из-под платья и дразнила его пылкое воображение. Государыня заметила силу его взглядов и сказала шутя, закрыв рукою лицо княжны:

— Господин Вольнской, не сглазьте ее у меня. Вы смотрите на мою Лелемику, как лисица на добычу. Я с вами поссорюсь за это.

Вольнской отвечал, как придворный, что он не мог не заплатить невольной дани красоте.

— И я ли один,— прибавил он,— виноват в этом проступке: ваше величество женщины, и сами не скрываете своего восторга при виде на княжну.

Разумеется, похвалы заставляли Мариорицу еще более краснеть, хотя и были ей приятны.

Во время этой сцены Бирон, чтобы избавиться от невольного обольщения, или для того, чтобы не мешать страсти Вольнского расходиться более и более, на собственную его гибель, ласкал государынину собаку и, казалось, на нее одно обратил свое внимание. Наконец, он сказал:

— Ваше величество изволите женить Кульковского; вот и свадебный дом строится, но о невесте не было еще слова.

— Ваша правда, подойник готов, а коровы еще нет,— отвечала, смеясь, государыня. (Бирон успел предупредить ее насчет барской барыни, сказав, что эта пара будет презабавная.) Надо,— продолжала она, подозвав к себе Кульковского,— положиться на его вкус. Послушай, дурак, выбирай во всей империи, только не при моем дворе; даю слово, что, если изберешь достойную себя, не откажу быть твоею свахою.

Низко поклонился жених, положил руку на сердце, тяжело вздохнул и объявил, что страдает денно и ночью по госпоже Подачкиной и умрет, если она не будет его супругой.

— О ве, о ве! иссохнет бедный до второго пришествия, как спицка! — подхватил Лакоста.

— *Oche bella armunia!* — прибавил Педрилло, — *sogro di basso!*<sup>1</sup> одна толст, как бас, а другая тоненька фагот.

— Не парочка, а чудо! — вскричал Балакирев, — в пустую бочку поселится саженная змея.

— Кто ж эта знаменитая Подачкина, на которую пал такой счастливый жребий? — спросила государыня.

— Не знаю, ваше величество, — сказал Бирон.

— Моя барская барыня, — отвечал, смутясь, Волинской. (У него вертелись в голове темные догадки насчет ее.) — Только удивляюсь очень, каким образом наш Парис, не сходя со стула в приемной его светлости, мог подметить такое сокровище, которое хранится у меня за тридевять замками.

— Надеюсь, господин Волинской, что вы не подожжете моего дворца, если мы похитим вашу прекрасную... как бишь? за которую дрались греческие цари?

— Елену! — подхватил Бирон.

— Да, хоть Алену?

— Боже меня сохрани! — отвечал Волинской.

— Так вы уступаете мне свою красавицу?

— С большим удовольствием.

— Благодари же, дурак!

И Кульковский, расшаркавшись перед кабинет-министром, рассыпался, как умел, в благодарности.

— Эта свадьба делается с позволения вашего, государыня, — сказал Бирон пасмурно, — но есть особы при вас, которые давно женаты и скрывают это от вашего величества.

Педрилло пал на оба колена и, зарюмив, вопил жалобным голосом:

— Виноват, матушка, только не снимай повинна головка.

— Как! у меня во дворце? без моего позволения? — сказала с неудовольствием Анна Иоанновна.

— Серсе приказал: лупи, а кто можно против серсе на кулачка маршир. Ах! если бы ваш величество видел

---

<sup>1</sup> О, какая прекрасная гармония! черт возьми! (итал.)

la mia saга<sup>1</sup>, то простил моя. Глазка востра, бел, как млеко, нежна голосок, как флейтошка, ножка тоненька, маленька, меньше, шем у княжен, проворно тансуй, прыжки таки больша делай и така молоденька!..

Описание своей любезной сопровождал Педрилло страстною и отчаянною мимикой, прижимая то руки к сердцу, то вскидывая глаза к небу.

— Истину слов его,— сказал Бирон серьезно,— и я могу засвидетельствовать.

— Да это должна быть какая-нибудь танцовщица! Кто ж она? — спросила государыня.

— Не смей моя сказать... (Педрилло, испуганный, бледный, дрожал всем телом; холодный пот капал со лба.)

— Говори, я тебе приказываю.

— Девушка, жил здесь во дворец.

— Имя!.. что ж...

— Ах! страх моя берет и таскать душку во ад. Не казнишь моя...

— Говори, а не то...— вскричала с гневом государыня.

— Дочь... дочь, ох! придворна...

— Ну?..

— Дочь... придворна коза.

— Козы! козы! — раздалось по комнате.

Государыня хохотала от всего сердца, смеялись и другие, сколько позволяло приличие.

— Если так,— сказала она,— то прощаю от души нарушение законных прав в моем дворце.

— Моя женка родил вчера, и когда ваш величество простил моя, так я прошу пожаловать на родина.

— А?.. понимаю! Плут знает, что у русских есть обычай класть на зубок деньги. Твоя шутка стоит награды. Хорошо; даю слово быть к тебе, и сама назначу для этого день. Герцог, вы не забудете мне об этом напомнить?

— Могу ли забыть то, что вам делает удовольствие? — отвечал Бирон.

— Случается это с вами...— прервала шутя государыня и обратила опять речь на свадьбу Педриллы.

---

<sup>1</sup> Мою дорогую (итал.).

Долго еще смеялись его лукавой затее; наконец, вышли все из бильярдной, иные из дворца, каждый унеся на свою долю большой или меньший участок удовольствия, которое доставило им короткое время, проведенное в этой комнате. Один старик Балакирев уносил на своей спине боль от полученных ударов.

По приезде Бирона домой Липман имел еще дух доложить своему патрону, что исполнительный Гроснот найден в своей комнате застреленным, вероятно вследствие побега конюхов, обливавших Горденку. Обратить свой гнев на Липмана было опасно, и потому решились временщик и клевет его стараться отыскать тайных производителей этого дела и устремить всю коварную политику свою на исполнение прежде начертанных планов. Лучших, более действительных, нельзя было и придумать.

Вместо одного Гроснота Бирон нашел их десяток: на низких людей никогда не бывает недорода.

## Глава IX ПРИПАДОК

Часто в пылу сражения царь задумывался о своем царстве, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.

О п а л. И. К.

Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастье.

М а р л и н с к и й \*

Волынской обещал прислать цыганку к княжне Лелемико, и первой его заботой было приказать отыскать ее. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорей прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи увалистого Тредьяковского так, что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду, творец «Телемахида» страдал только завистью — болезнью мелких

душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хотина, и что он до тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатайствуют ему кафедры элоквенции и указа на запрещенное холмогорскому рыбацкишке писать. В тогдашнее время было еще мало пишущей братии, а то посредственность не преминула бы составить заговор против юного таланта, расправлявшего могучие крылья. Разумеется, проситель удостоился от благородного и умного вельможи, чего стоил,—эпитетов подлого и злого дурака. С первую ж почтою богатый подарок отыскивал странника Ломоносова.

Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть Мариорицу, и страсть в эти дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил, как ребенок, был то взыскателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов Зуды он вовсе не слушал; сначала сердился на него, потом стал его удаляться; наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему, с условием, однако ж, не раздражать его противоречием.

— Стоит только,—говорил он ему,—получить мне ст тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя, как чад, пройдет. Верь мне, время это очень близко. Государыня стала чаще сердиться на Бирона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. Недаром скрывает он обиду, которую я нанес ему и которую ни простить, ни забыть нельзя. Это уж означает его слабость. Два-три дня решительного гнева государыни на него — и тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим, и я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно, за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни Лелемику, ни одному живому существу на свете. Постригусь отечеству, произнесу роковой обет и вырву все земное из земного сердца. А теперь, воля твоя, не могу, не в силах... я еще не в святой ограде... дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслу-

шаться волшебного голоса, и потом — готов хоть на плаху!

Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами — делать было нечего.

Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведен в офицеры вопреки его воле, он махнул рукой и сказал:

— Хоть бы в сенаторы!

Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Бирона в ужасном злодеянии, Воынской отвечал:

— Хорошо! но пусть подольше не тревожат этого несчастного трупа. Бедному и по смерти не дадут покоя.

Узнав, что конюхи Бирона, возившие ледяную статую на Неву, бежали в деревни Артемия Петровича и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю:

— Челнок их в пристани; не трогайте его с места. Напротив, употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело подвизаться и гибнуть за отечество, если нужно: в гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы; сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей господних. А конюхов зачем неволею тащить, может быть, на гибель за предмет, которого они не понимают?..

Раз какой-то нищий в сумерки у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману цыганкою и потом переданный самому Бирону. Сокровище для кабинет-министра! Не видав доноса, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нем заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался было этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведет ли эта роковая бумага,— говорил он сам с собою,— к решительной минуте и к разлуке с Мариоридей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти?»

Думал ли Воынской о своей супруге? Уж конечно! Но каковы были эти думы!.. Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь ее, ее доброту и любезность, обвинял себя в неблагодарности, мучился, терзался, как преступник, проклинал свою сла-

бость и все это кончал тем, что жил одною любовью к Мариорице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием — портрет был снят и поставлен за бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом, по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось перо, и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял ее в нежной неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его. Между тем, доведенный своею страстью до иступления, ломал голову, как бы развестись с женой, и уж заранее искал на этот случай в главных членах синода. Она не родила: какой еще лучшей причины к разводу?.. Не он первый, не он и последний!

Не могли ничего над ним и предостережения тайного друга, чтобы он берег себя более всего от себя ж. «Ваша любовь к княжне Лелемижю погубит вас, — писал к нему аноним, — она известна уж вашим врагам и слугит им важнейшим орудием против вас».

— О! эти затейливые опасения, — говорил Волинской, — дело моего слишком осторожного Зуды. Пустое! одна любовь не помешает другой. Я сказал уж ему однажды навсегда, что не покину намерения спасти мое отечество и не могу оторвать княжну от своего сердца.

Чем более Волинской в эти дни душевного припадка показывал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет-министра, как мы и видели уже выше. Они верили, хотя и с боязнью, по опытам благородного характера его, что одно чувство должно в нем в решительные минуты восторжествовать над другим. И потому не упускали случаев и времени быть ему полезными в борьбе с сильным, коварным временщиком. Против подкопов его и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надежные; но и те большей частью принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле.

Надо еще упомянуть о том, что случилось поздно вечером в самый день, как он виделся с княжною в бильярдной дворца. Сидел он в своем кабинете с Зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с Биро-



ном, скорбя, что не послушался советов друзей. Вдруг за стеной кабинета, в гардеробной, кто-то застонал, и вскоре раздался визг и крик.

— Что это такое? — спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе, — не режут ли уж кого у меня в доме?.. Чего доброго!

— Не могу понять, что бы это такое было, — отвечал секретарь.

— Батюшки! — раздалось снова, — батюшки! спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние.

Волынской и Зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней, за темнотой, нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкапа, который стоял у стены кабинета. Подали свечи, и что ж представилось? Барская барыня в обмороке, растрепанная, исцарапанная, и араб подле нее, хохотавший от всей души.

— С ума ты, видно, сошел, — сказал с сердцем Артемий Петрович, — что вздумал так пугать старую женщину!

— Не женщину, а поганую ведьму, — отвечал араб, коварно усмехнувшись. — Жаль, что она совсем не околелет.

— Что это все значит?

— А вот что, сударь. Давно подметили мы с господином Зудой проказы ее. Лишь только к вам в кабинет их милость или какой ваш благоприятель, этот бес в юбке тотчас в гардеробную, и всякий раз, слышу, дверь на запор. Взглянул я однажды в комнату: ни душонки в ней! Кой черт, думал я, куда она пропадает? В другой будь я умнее — следом за ней караульный глаз в скважину и вижу: разбойница вошла в шкап и пробыла там все времечко, пока у вас оставались гости. Дай-ка порасскажу об этом господину Зуде; тут, думал я, промаху не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать — извольте же видеть, сударь, почему я не смел пораскрыть нашу тайность. (Глаза араба заискрились, и улыбающиеся черные губы его показали два ряда жемчужин.)

— Виноват, что посердился на тебя, друг мой, — сказал Волынской.

— И больше бы погневались, сударь, так беда невелика. Потом... потом... да, его милость господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкапа гардеробной. Подделали ключ — маршалок был с нами заодно, — ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собою исправно дверь. Пошарил в шкапе и нашел преисправную щель, из которой все слышно, что говорится у вас в кабинете. Вот почувяла чутьем наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайной разговор, и шасть ко мне под бочок. «Милости просим, кукушечка, к стрелку поближе!» — сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я ей стрелку поглубже так, что она порядком охнула, сотворила крестное знамение и примолвила: «С нами сила крестная!» Окаянная! мало, что людей морочит, и бога-то хочет обмануть!.. Дал я ей вздохнуть крошечку да как схвачу ее вдруг в охапку и начал душить, щекотать, кусать... ну, была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею... все жилки надорвал со смеху. А теперь (араб ужасно взглянул на свою жертву) ох! кабы моя воля... нож ей в бок — одним крокодилком на свете меньше!

— Она умерла, — сказал один из слуг, составивших кружок около барской барыни.

Он взял ее за руки, и руки упали окоченелые на пол.

— Пустить ей кровь! — примолвил другой, — вспрыснуть ее холодной водой.

— А лучше плеткой! — перебил маршалок.

— Ах! вспрыснуть водой, — возопила вдруг плутовка, открыв несколько глаза.

Волынской с презрением отворотился от нее и сказал дворне:

— Выбросьте эту поганую кошку вон сию ж минуту за ворота со всеми ее пожитками. Чтоб духу ее здесь не пахло!

— И вот, наконец, — сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет, — ваш домашний шпион у вас в руках! Я советовал бы вам допросить строжайше эту неблагодарную тварь.

— Не пытаться ли ее по-бирюковски?.. Ну ее к черту! Пропавшего не воротить. А что до благодарности, не говори мне об этом, друг мой! Ты знаешь, сколько я сам виноват пред одной особой (он разумел жену); чего ж ожидать от черни?..

Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом; но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным уроком и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли ее имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла укласть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом: «Батюшки, мои светы! вынеси, самсонова сила, легкое перо!..» Наконец, полумертвая, она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали ее подвиги и сан Кульковского невесты.

Однажды утром доложили Артемию Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его.

— Только боимся ошибиться, она ли еще, сударь,— говорил посланный.— Голос ее, пол-лица также ее, а с другой стороны — урод уродом. Цыган при ней тот же, что и прежде ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божатся, и клянутся, а может, сударь, морочат.

— Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить! — сказал Артемий Петрович, — введите ее ко мне.

Ввели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у ней был закрыт пучком волос, правая щека фатою.

— Мариула, это ты? — спросил Вольинской.

— Я, господин, но только не пригожая, таланливая Мариула, на которой ты остенавливал свои высокие очи.

Со мною случилась беда... я обварилась кипятком и... признаешь ли меня теперь?

Голос ее дрожал. Она подняла фату и пук волос. Щека, в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, синекровавая яма вместо глаза — все это безобразие заставило Артемия Петровича отворотиться.

— Что, барин?.. Вот ваша хваленая красота!

Брезгливо вскинул он взоры на нее, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему свое безобразие, и, когда она это исполнила, посмотрел на нее с жалостью, глубоко задумался с минутой, наконец сказал:

— Мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность, твой ум.

— Я уж раз докладывала вам: рада вам служить, добрый господин,— отвечала цыганка с живым участием.

Тут Волынской признался, что он любит княжну Лелемику и что она к нему неравнодушна.

Щека цыганки загорелась.

— Что ж далее?..— спросила она с нетерпением.

— Вот видишь, я писал к ней; ответ ее готов, но ей не через кого переслать его... Ты должна сходить во дворец и получить записочку.

— С радостью...— отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле.

И дрожащий голос ее и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли ее душевному беспокойству. Мысль, что мать... сама... Но она это делала для блага своей дочери. Может статься, Артемий Петрович хочет только погубить Мариорицу!.. Поверенная их тайн, она будет иметь возможность ее спасти...

— Только с условием,— примолвила она умоляющим голосом,— буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством, да... смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастною бедную девушку... Говорят, я уж успела выведать... сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери, с чужой стороны... не доведи ее до гибели, побойся бога, женись на ней.

— О! да с какими же ты причудами!.. это дело свахи и попа,

— А что ж я, как не сваха!.. Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу: бог за то и наказал меня. Мы хоть и цыгане, а знаем бога. Пора мне жить честно. Коли не примешь моего условия,— прибавила она с твердостью и жаром,— я и дел никаких начинать не стану. Что ж?.. женишься?..

— Уж конечно!.. Для чего б иначе!..

— Поклянись.

— Как же ты неотвязчиво требуешь!.. Странно!.. Однакож... пожалуй, клянусь...

— Всемогущим богом... Слышишь?

Голос Мариулы был грозен, одинокий глаз ее страшно сверкал; в душе Волынского совесть невольно забила тревогу.

— Уж конечно... Им...— сказал он, смутясь,— если только позволят...

— Кто ж?

— Например, государыня.

— О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят. Помни, господь карает тех, кто преступает клятву.

Волынской старался усмехнуться.

— Право, ты, Мариула, годишься в проповедники.

— Побойшься суда небесного, так начнешь говорить и проповеди. Теперь мы условились: ты будешь иметь пригожую женку; сиротка найдет себе доброго, знатного, богатого мужа; а я буду с фатой... не забудь же фату за первый поцелуй... и душа моя не даст ответа богу, что погубила мою... мою красавицу... Хоть и не видывала ее, но люблю-таки, сама не знаю почему... может статься, потому, что сама была в такой беде, как она. И меня погубил когда-то такой же красивый барин, как и ты... (Мариула утерла наворачнувшиеся на глазу слезы.) Когда-нибудь я тебе это расскажу. Но я не плакать пришла, а дело делать. Жду твоего наказания.

Позван был араб и получил наставления провесть цыганку во дворец к княжне Лелемико. При наказе Мариуле, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету. Но цыганка с гордостью оттолкнула руку его, обещаясь, впрочем, взять деньги, когда все уладит.

## Глава X ПОСЛАННИЦА

Родная мать... О боже! мать родная  
Ей в руку чистую влагает нож;  
Ведет ее сама к ужасной бездне  
И думает: веду ее к венцу,  
На ложе пышное любви и счастья...

Не столько тревожит любовника первое тайное свидание с любимым предметом, как тревожило Мариулу свидание с княжной Лелемико. Радость и страх видеть так близко дочь свою, говорить с нею до того волновали ее кровь, что занимался у нее дух; в голове и сердце ее стучали молоты. Несколько раз дорогою останавливалась она, чтобы перевести дыхание.

— Смело за мною,— сказал араб, входя на крыльцо у маленького дворцового подъезда, и потом, изредка оборачиваясь к своей спутнице и ободряя ее взором, повел сквозь саранчу придворных слуг по извилинам лестниц и коридоров.

Было близко к девяти часам утра; но все во дворце еще ходило полусонное.

Мариула выставила тут вполне свое безобразие.

— Куда ведешь этого уroda? — спрашивали араба любопытные.

— Куда приказано,— отвечал он,— много знать будете — состаритесь.

Иногда отделялся на нескромные вопросы молчанием; кому нужно говорил, что герцог хочет ввести к государыне цыганку, которая чудная гадальщица.

— Мысли читает, братец,— говорил он,— знает, что с тобою было, что будет и какую смертью умрешь.

Такие рассказы возбуждали во многих желание познакомиться с чудною ворожеею. Суеверие — общая слабость людей во всех званиях.

В одном коридоре, где ходили тихо, на цыпочках, Николай вызвал чрез камер-лакея арабку, привезенную с ним вместе в Россию. Он сказал ей что-то по-своему. Молодая пригожая негритянка, с коралловым ожерельем вокруг черной шеи, в белой шерстяной одежде, умильно улыбнулась своему соотечественнику,— в этой улыбке было что-то более, нежели дружеское при-

ветствие,— кивнула ему курчавую головкой, давая знать, чтобы следовал с своей подругой за нею, привела их к одной двери в коридоре, отворила осторожно дверь и, всунув в отверстие голову, сказала:

— Княжну спрашивает женщина. Можно войти?

— Кто там? — раздался приятный голос, пробежавший по всем струнам Мариулина сердца. Ноги ее готовы были подкоситься.

— Какая-то цыганка вас спрашивает,— отвечала арабка.

Едва слово «цыганка» было произнесено, послышалось, что кто-то опрометью бросился со стула или другой мебели и вслед затем кто-то произнес уже дрожащим голосом:

— Пускай войдет!

Араб с своею соотечественницею отошли в сторону, чтобы потосковать о родине, шепнуть друг другу слово любви и между тем задержать в коридоре служанку княжны, вышедшую за завтраком. Мариула поспешила закрыть свое безобразие, но, за скоростью и боязнью, сделала это так неловко, что при входе ее в комнату страшный глаз ее, будто впадина в черепе мертвеца, и багровые швы, которыми было исписано полулицо, первые бросились в глаза княжны.

Мариорица была одна в комнате. Она едва не вскрикнула, увидав циклопа в образе женщины, и сделала шага два назад, трясаясь и смотря на нее с большим отвращением. В эту минуту она забыла даже о цели посещения этой чудной посланницы.

Трепет сообщился и Мариуле; к нему примешалось и чувство унижения. Она остановилась у дверей, как бы готовая распастись. В таком положении находились обе несколько мгновений: одна — как бы умаливая одиноким своим глазом простить ей ее безобразие, другая приучая себя к виду этого безобразия мыслью о том, кто послал ее. Первая, призвав на помощь все присутствие духа, старалась поправить свои волосы на кровавую впадину, стянуть фату на щеку и стать в такое положение, что одна пригожая сторона лица ее была видна Мариорице. Этот маневр помирил их.

— Что тебе надобно? — спросила, наконец, Мариорица.

— Вы... сударыня... знаете, зачем... Артемий Петрович...— Язык ее с трудом двигался.

При этом магическом имени княжна забыла прежний страх. За несколько мгновений она боялась взглянуть на цыганку, теперь готова была обнять ее. Боязнь заменил стыд поверить другой... незнакомой женщине свои тайны сердечные. Вспыхнув, она перебила торопливо речь посланницы:

— Так он прислал тебя?.. Какая ты добрая!.. Садись, милая! Не оскорбила ли я тебя?..

Мариула воспользовалась этим сердечным волнением и робко, униженно, как собака, которую побил хозяин и зовет опять, чтобы приласкать, подошла к княжне, соразмеряя свои шаги с впечатлением, которое выказалось на лице ее.

— Оскорбить!.. О, нет!.. — сказала цыганка с особенным чувством,— меня... ты... вы... может ли это случиться! Да, Артемий Петрович правду говорил, что я найду добрую, прекрасную барышню...

Она повела по всей фигуре княжны свой блестящий, одинокий глаз, в котором горела любовь самая нежная, самая умилительная; любовалась красотой своей дочери, пламенем очей ее, правильностью коралловых губ; этим одиноким глазом осызала шелк ее волос, обвивала тонкий стан ее, целовала ее и в очи, и в уста, и в грудь... И могла ли она вообразить себе, чтобы эта самая прекрасная княжна, живущая во дворце, окруженная таким очарованием счастья, была некогда маленькая цыганочка Мариула, в худых, суровых пеленках, под разодраным шатром?.. Прочь, прочь эта мысль!..

Когда цыганка примечала, что тень боязни снова набегала на лицо княжны Лелемико, она произносила опять волшебное имя Волинского. Таким образом дошла до того, что могла взять ее руку... И мать с трепетом, с восторгом неописанным поцеловала руку своей дочери... О! как была она счастлива в этот миг!.. Она была награждена за все прошлые муки и за будущие.

— Жаль мне тебя, милая,— сказала Мариорица.— Отчего ж у тебя половина лица так испорчена?

— Вот видишь, добрая барышня, у меня была дочка, лет шести. Случись у нас в доме пожар. Кто подумает об дочери, как не мать! Что дороже для нас, как



не дитя! Я хотела спасти ее, упала под горящее бревно и обожгла себе половину лица.

— Пожар!.. пожар!..— твердила Мариорица, приводя себе что-то на память.— А где это было?

— Далеко, очень далеко; где ж вам и знать этот край! В Яссах.

«И я родилась в Яссах!.. и меня спасли в пожаре!..» — думала княжна, потом сказала:

— Так ты моя землячка! Я сама ведь тамошняя.

— Полюби меня, милая, хорошая барышня! Хоть ты и знатная госпожа, а я бедная цыганка, но все-таки из одного края.

— О! как же! как же!..

И Мариорица взяла за руку цыганку и посадила ее подле себя.

— Что ж? ты спасла свою дочку?

Мариула боялась сказать лишнее и отвечала:

— Нет, бедная погибла в огне; и косточек ее не нашли.

Жалость обнаружилась на лице доброй девушки; слезы навернулись на ее глазах.

— О, с этих пор ты можешь открывать при мне все лицо свое. Я не буду тебя бояться... Бедная! и что ж, у тебя была только одна дочь?

— Только одна!.. Извините... сударыня, если я вам скажу... она походила на вас очень, очень много.

Тут Мариула опять с нежностью схватила руку тронутой княжны, крепко, сладостно осязала ее в своих руках, еще раз поцеловала ее, и княжна оставила цыганку делать, что она хочет, и сама ее поцеловала.

Но горничная могла прийти и расстроить беседу, огражденную столь хорошо случаем от беспокойных свидетелей. На этот раз покуда довольно было для матери... Она напомнила о письмеце. Торопливо вынуто оно из груди, теплое, согретое у сердца.

— Если он поручил тебе взять его,— сказала Мариорица, отдавая свернутую бумажку,— так я тебе верю.

— Бог, ты да я будем только знать,— отвечала цыганка и, намолив княжне тысячи благословений господних, вышла от нее в упоении восторга.

Артемий Петрович ожил, получа письмо: чего не сказал он посланнице! Он готов был ее озолотить.

В бумажке, которую принесла она, заключалось следующее:

*«Понедельник, поутру.*

Вы требовали ответа на свое письмо: вот он. Тут *мое все*: и стыд, и мнение ваше, и жизнь моя! Возьмите это *все* в дар от меня. Не думала я долго, писать ли к вам: мое сердце, ваши муки, сама судьба приказывали мне отвечать.

Вы, верно, хотите знать, люблю ли вас? Если б я не боялась чего-то, если бы меня не удерживало что-то непонятное, я давно сама бы это вам сказала. Да, я вас люблю, очень, очень. Это чувство запало ко мне глубоко в сердце с первой минуты, как я вас увидела, и пустило корни по всему моему существу. Так, видно, хотел мой рок, и я повинуюсь ему. Неведомое ли мне блаженство вы мне готовите, или муки, которых я до сих пор не знаю, я не могу, не хочу избегнуть ни того, ни других.

*Поутру же.*

Я хотела послать к вам мой ответ в толстой книге учителя; да уж ее отослали. Ах! как досадно! Что подумаете вы?.. Глаза мои красны от слез.

*На другой день.*

Ты сказал, что умрешь, если не буду тебе отвечать. Видишь ли? я все сделала, что ты хотел.

Теперь будешь ли жить? скажи, милый!

Для чего не могу угадывать твоих желаний?.. Если нужна тебе моя жизнь, возьми ее. Для чего не имею их тысячи, чтобы тебе их отдать?

Вместо *вы* пишу *ты*, по-своему, не по-здешнему. Если б ты знал, как это сладко!.. Пиши так же.

*Среда.*

Все нет посланницы! И тебя не вижу. Здоров ли? боюсь спросить у сторонних.

Теперь знаю, как сладко и как мучительно любить!

*Вечером.*

Девушка к тебе пишет, и что она пишет?.. Знаю, это очень дурно по-здешнему. Мне самой стыдно прочесть, что я написала. В Хотине, сказывали мне, там за это казнят. Но я не могу превозмочь, что свыше меня.. И,

прочитав мое письмо, продолжаю, и в Хотине я писала бы к тебе.

Я спрашивала своих подруг, какое самое нежное имя на русском; милый, голубчик — сказали они. И я говорю тебе это имечко, потому что другого нежнее не знаю. Может быть, они меня обманывают, а может быть, они никогда не любили по-моему. Каких сладких имен не насаждала бы я тебе по-молдавански, по-турецки!..»

В своде законов сердечных отыщите статью: о письмах, и вы там найдете, что первое письмо между влюбленными не бывает никогда последним, сколько бы ни клялась слабейшая половина не писать, не отвечать более. Этот клубок, раз выпущенный из рук под гору, разматывается до тех пор, пока оборвется или израсходуется. И потому, в силу этой статьи, переписка продолжалась между нашими влюбленными. Воынской пускал к Мариорице страстные посылки, от которых бросало ее в полымя и она теряла малейший остаток спокойствия. Мечтать о нем было уже для нее мало; видеть его, быть близкой к нему, говорить с ним и не наговориться — сделалось потребностью ее жизни. Она видела, слышала, чувствовала только им; покорная во всем его воле, она была даже раба его взора — по нем была весела или скучна, по этому регулятору двигалось ее бытие, управлялась ее судьба. Еще непорочная своими поступками, она уже в пламенных письмах Воынского умела напитать свое воображение и сердце всеми обольщениями порочной страсти. Яд протекал уже по ее жилам. Несчастливая была на краю гибели. А он?.. Живя в веке развращенном, в обществе, в котором обольщение считалось молодечеством и пороки такого рода нянчились беззакониями временщика, свивавшего из них свои вожжи и бичи; зараженный общим послаблением нравов и поработенный своей безрассудной любви, Воынской думал только об удовольствиях, которые она ему готовит. Совесть замерла, бог был забыт, рассудок околдован. Рассуждает ли человек, напившийся опиума?

Передача писем делалась через руки Мариулы, которой и Воынской и Бирон, каждый для своих видов помогали всячески укрепиться во дворце. Таким образом, мать сама способствовала несчастной страсти своей дочери, успокоенная насчет ее клятвою обольстителя,

что он на ней женится, и отуманенная нежными ласками Мариорицы, за которые платила угождениями всякого рода. Может статься, к слабости матери присоединились и нежные, заботливые расчеты, что, помогая этой любви, она в состоянии будет неусыпно следить за ходом ее и вовремя предупредить погибель дочери. Мариорица до того ее полюбила, что садилась к ней на колена, обвивала свои руки около ее шеи, убирала мастерски безобразие ее полулица фатою и волосами, целовала ее в оставший глаз, миловала, как свою няню, кормилицу, едва не как мать. И Мариула, в упоении от этих ласк, сама называла ее нежнейшими именами.

— Милое дитя мое,— говорила она,— ненаглядная, душечка, жизнечок, люби этого пригожего Волынско-го. Он сделает тебя счастливою. Но только до женитьбы своей не давай ему много воли над собой. Один поцелуй... не более! А то пропадешь навеки, достанешься в когти дьяволу!..

— Ох, Мариуленька, дорогая моя,— отвечала, вздыхая, влюбленная девушка,— боюсь, этот поцелуй сожжет меня.



Глава I  
ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Все чудо из чудес, куда ни погляди!  
Каков же феин был дворец, признаться  
вам,  
То вряд изобразит и Богданович сам.  
И. Дмитриев \*

Я сберегла тебе невинных уст лобзанье.  
«Манцениль», Туманский \*



Работа спела. Между адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, встало в несколько дней дивное здание, какого ни одна страна, кроме России, не производила и какое мог только произвести суровый север наш с помощью жестокой зимы 1740 года. Все здание было из воды. Фундамент клаался из воды; стены, кровля, стекла, украшения выводились из нее же; все спаявалось водою; вода принимала все формы, какие угодно было затейливому воображению дать ей. И когда солнце развернуло свои лучи на этом ледяном доме, он казался высеченным из одного куска сапфира, убранного фигурами из опала. Современник этих ледовитых затей, почтеннейший *Георг Волфганг Крафт* \*, оставил «для охотников до натуральной науки» подробное описание дома <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В книжице, ныне довольно редкой и известной под названием: *Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге, в Генваре 1740 года, ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов, с приложенными притом*

Не желая лишиться господина Крафта достойной славы или, лучше сказать, боясь вступить с ним в состязание, предоставляю ему самому говорить на немецкий лад о способе постройки, расположении и украшениях любопытного здания<sup>1</sup>.

«Самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом чрез краткое время построен был дом, который был длиною в восемь сажень, шириною в две сажени с половиною, а вышиною вместе с кровлею в три сажени.

Напереди перед домом стояло шесть ледяных точечных пушек, которые имели колеса и станки ледяные ж, что и о всем последующем разумеать должно, разве что не ледяное случится, о чем именно упомянуто будет. Пушки величиною и размером против медных трехфунтовых сделаны и высверлены были. Из оных пушек неоднократно стреляли; в каковом случае кладено в них пороху по четыре фунта, и притом посконное или железное ядро заколачивали. (Такое ядро некогда в присутствии всего императорского придворного штата, в расстоянии шестидесяти шагов, доску толщиною в два дюйма насквозь пробило.) Еще ж стояли в том же ряду с пушками две мортиры. Оные сделаны были по размеру медных мортир против двухпудовой бомбы<sup>2</sup>. Напоследок в том же ряду у ворот стояли два дельфина. Сии дельфины помощью насосов огонь от зажженной нефти из челюстей выбрасывали, что ночью приятную потеху представляло. Позади помянутого ряда пушек и мортир сделаны были около всего дому из ледя-

---

*гидрированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой стуже, сочиненное для охотников до натуральной истории чрез Георга Волфганга Крафта. С.-Петербургской Императорской Академии Наук члена и физики профессора.— Печатано при Императорской Академии Наук, 1741 (прим. авт.).*

<sup>1</sup> Неохотники до натуральной науки могут пропустить текст г-на Крафта (прим. авт.).

<sup>2</sup> Из которых многократно бомбы бросали, причем на заряд в гнездо  $\frac{1}{4}$  фунта пороху кладено (прим. авт.).

ных баляс изрядные перила, между которыми, в разном расстоянии, четверугольные столбы стояли. Когда на оный дом изблизи смотрели, то с удивлением видна была вверху на кровле четверугольными столбами и точеными статуями украшенная галерея, а над входом преизрядный фронтиспиз, в разных местах статуями украшенный. Самый дом имел дверные и оконные косяки, также и пилястры, выкрашенные краскою наподобие зеленого мрамора. В оном же доме находились крыльцо и двое дверей; при входе были сени, а по обеим сторонам покои без потолка, с одною только крышею. В сенях было четыре окна, а в каждом покое по пяти окон, в которых как рамки, так и стекла сделаны были из тонкого чистого льду. Ночью в оных окнах много свеч горело, и почти на каждом окне видны были на полотне писанные смешные картины, причем сияние, сквозь окна и стены проникающее, преизрядный и весьма удивительный вид показывало. В перилах, кроме главного входа, находились еще двой сторонние ворота и на них горшки с цветами и с померанцевыми деревьями, а подле них простые ледяные деревья, имеющие листья и ветви ледяные ж, на которых сидели птицы, что все изрядным мастерством сделано было.

Наружное, прочее сего дому украшение состояло в следующих вещах. На всякой стороне, на пьедестале с фронтиспизом, поставлено было по четырехугольной пирамиде. Помянутые пирамиды внутри были пусты, которые сзади от дому вход имели. На каждой оных стороне высечено было по круглому окну, около которых снаружи размалеванные часовые доски находились, а внутри осьмиугольный бумажный большой фонарь (со множеством зажженных свечей) висел, у которого на каждой стороне всякие смешные фигуры намалеваны были. Оный фонарь находившийся внутри потаенный человек вкруг оборачивал, дабы сквозь каждое окно из помянутых фигур одну за другою зрители видеть могли. По правую сторону дома изображен был слон в надлежащей его величине, на котором сидел персианин с неканом \* в руке, а подле его два персианина в обыкновенной человеческой величине стояли. Сей слон внутри был пуст и так хитро сделан, что днем воду, вышиною в двадцать четыре фута, пускал, которая из близ нахо-

двигавшегося канала адмиралтейской крепости трубами проведена была, а ночью, с великим удивлением всех смотрящих, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой слон, кричать, каковый голос потаенный в нем человек трубою производил. Третие, на левой стороне дома, по обыкновению северных стран, изо льду построена была баня, которая, казалось, будто бы из простых бревен сделана была, и которую несколько раз топили, и действительно в ней парились.

Теперь посмотрим, каким образом убраны были покои. В одном из них на одной половине стоял уборный стол, на котором находилось зеркало, несколько шандалов со свечами, которые по ночам, будучи нефтью намазаны, горели, карманные часы и всякая посуда, а на стене висело зеркало. На другой половине видны были презрядная кровать с завесом, постелью, подушками и одеялом, двое туфли, два колпака, табурет и резной работы комель \*, в котором лежащие ледяные дрова, нефтью намазанные, многократно горели. В другом покое, по левую руку, стоял стол, а на нем лежали столовые часы, в которых находящиеся колеса сквозь светлый лед видны были. Сверх сего, на столе в разных местах лежали для игранья примороженные карты. Подле стола по обеим сторонам стояли резной работы два долгие стула, а в углах две статуи. По правую руку стоял резной угольной поставец с разными небольшими фигурами, а внутри оного стояла точеная посуда, стаканы, рюмки и блюда с кушаньем. Все оные вещи изо льду сделаны и приличными натуральными красками выкрашены были».

Назначен был государынею день для осмотра ледяного дома; ей приятно было видеть, как исполнили ее мысль, и — вместе забыться, хотя на несколько минут, от душевной и телесной болезней, ее осаждавших. А чтобы очарование зрелища было сильнее, положено было смотреть дом ночью, при освещении.

Весь Петербург поднялся на ноги или заставил двигаться ноги своих лошадей; со всех концов его тянулись нити пешеходов и ряды экипажей. Старики будто умылись живой водой и, схватив свою старость в охапку, бежали к фокусу общего любопытства; дети, вцепившись в полу отцовского кафтана, влеклись за толпою. Оста-



лись в домах недвижимой больной, или мать с грудным младенцем, боявшаяся подвергнуть его опасностям народной тесноты, или слепец, которому воображение заменяло и водчих, и живописцев, и самые чудеса природы; но и те с нетерпением ожидали рассказов о чудном ледяном доме. Забыты нужды, голод, страх бироновского имени и казни.

Выступив из мрака ночи с своими огнями, ледяной дом сиял металлическим блеском и далеко бросал от себя свет на Луговую линию, очертивши им пестрый полукруг лиц и ног; площадь казалась вымощенной верхушками голов. Нередко усиленный крик ледяного слона, или огненный фонтан, бивший из хобота его, или новая смешная фигура на окнах заставляли зрителей вторгаться за черту, наказанную слободскими десятскими и сотскими. Русские остроты сыпались часто под русскою палкою.

— Посмотри, братец,— говорил один,— на первой картине немец в трехугольной шляпенке, в изодранном кафтанишке, худой, как спичка, бредет со скребницей и щеткой в руке, а на последней картине разжирел, аки боров; щеки у него словно пышки с очага; едет на бурой кобылке, на золотом чепраке, и бьет всех направо и налево обухом.

— Эка простота! — возражал другой,— там входил он на Русь пешком, а тут гуляет по ней верхом; там, вишь, он чистил лошадку, а здесь едет на чищенной.

— Ванька, а Ванька! это что за изба? — спрашивал один.

— Баня,— был ответ.

— Для наших парильщиков не тесненька ли, Семен Кондратьевич? — спрашивал третий.

— Напрасно и строить трудились,— примолвил четвертый,— у нас в Питере на всяком месте готова баня.

— Э! господин десятский, поберегите для переду свой веничек; здесь, на морозе, негоже поддавать пару...

— Ступайте мимо, господин сотский; видишь, мы-ста сами стоим впереди тысячи.

— Слышь? ледяной слон кричит!

— И камни вопиют во времена тяжкие,— произнес какой-то книжник важным, поучительным тоном,

Таким образом, наши Бомарше \* с бородками, площадные цензоры своего времени, тешили вдоволь глаза и языки свои. Казалось, они островами отмищали на знати свою бедность и унижение и согревались от жестокого задушавшего мороза.

— Государыня, государыня! — закричали сотские — и все замолкло благоговейною тишиной.

Заскрипел снег, тиснутый сотнями подков, зашипел он от множества порезов; показался эскадрон гусар и вслед за тем сани государынины, за коими тянулся ряд экипажей. Из ледяного дома выступило несколько придворных на крыльцо и впереди всех Воынской. Когда сани поравнялись с ним, он был подозван к ее величеству. Она изволила милостиво расспрашивать его об устройстве дома и смеялась очень карикатурным изображениям, часто переменявшимся на окнах. Кабинет-министр давал замысловатые объяснения. Вдруг, при одной перемене, кто-то за саниами государыни вскричал с сердцем:

— Глупость, достойная своего творца!.. Чрезвычайно глупо!..

Голос, произнесший эти слова, был Биронов; нельзя было в том ошибиться ни императрице, ни окружавшим ее. Она вздрогнула от неожиданности их, нахмурила брови и с гневом сказала:

— Не знаю, на чьей стороне глупость!..

Это было первое важное, немилостивое обращение к Бирону, которое она позволила себе с тех пор, как его знала. При этом обращении она взглянула назад: пылающий взор ее любимца, стоявшего у ней на запятках, дерзко встретил ее взгляд.

Задыхаясь от досады, государыня продолжала относиться к кабинет-министру:

— Растолкуйте мне, мой любезный Артемий Петрович, что бы такое значили эти картины?

Они не могли быть загадкою для посвященных в таинства Бироновых проделок. На картинах представлено было: 1-е) сцена замораживания Горденки, снятая как бы с натуры; 2-е) сцена на Неве, где является привидение, чтобы отнять ледяной труп у конюхов; 3-е) маскарадные герои на Волковом поле и 4-е) самоубийство Гроснота.

— Ваше величество,— отвечал Вольтинской,— изво-  
те, конечно, помнить, что, выезжая из манежа герцог-  
ского, заметили ледяную статую на маленьком дворе у  
конюшен его светлости.

— Помню.

— Именно эта статуя подала вашему величеству  
мысль сделать ледяной дом, которого быть строителем  
я удостоен вами. И потому я хотел сохранить в картине  
происшествие, давшее ему начало. Настоящую ледяную  
статуя я постарался достать и перенес в одну из ком-  
нат, которые буду иметь счастье вам показывать. Про-  
чие картины — вымысел живописца.

— Очень благодарна за ваше намерение, и если вы  
сделали глупость, как угодно сказать иному, то я пер-  
вая подала вам к ней повод. Разделяю вместе с вами  
силу гнева его светлости, хотя, впрочем, не понимаю  
причины ее.

Ирония заметна была в самом голосе государыни.

— Время, конечно, объяснит, почему так не нравит-  
ся его светлости эта ледяная игрушка,— отвечал торже-  
ствующий Вольтинской.

— Да, время!..— произнес Бирон в замешательстве,  
не зная сам, что говорит. Он бормотал еще невнятные  
слова, когда почувствовал, что кто-то сзади дергает его  
за рукав шубы, и — остановился, чтобы посмотреть, кто  
осмелился быть таким дерзким. Бледное, вытянутое ли-  
цо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск, дви-  
гающиеся назад и вперед орангутанговые уши поразили  
его. Это был Липман. Осторожный Липман не придет  
без важной нужды тормозить его за санями государы-  
ни. Это подтверждает и отчаяние, выражающееся во  
всей его наружности, судорожно исковерканной. Бирон  
соскочил с запяток и, на шепот своего клеветы, исчез  
вместе с ним, как будто потонул в камском мохе.

Государыня слышала, что герцог соскочил с запя-  
ток... вздрогнула, испуганная и смущенная этим движе-  
нием, предвещавшим что-то необыкновенное, склонила  
взоры и глубоко задумалась... Наступило мертвое мол-  
чание. Самый слон замолк. Сани ее не двигались; у са-  
ней Вольтинской, вокруг придворные кавалеры, впереди  
эскадрон гусар, сзади множество экипажей, вдали толпы  
народные — стояли на одном месте. Волшебное зрели-

ще представляли тогда этот ледяной дворец, один, посреди ночи, потешающийся огнями своими, эта царица, казалось, навеки усыпленная в зимнем экипаже, эти кони, воины, двор, народ около нее, на снежном полотне, убеленные морозом — все это будто в саванах, неподвижное, немое, мертвое, — и вдали кругом мрачные здания, выглядывающие с своими снежными крышами из-за ограды этой сцены! К довершению очарования стали носиться по воздуху полосы тумана, как бы невидимые духи устраивали над царицей дымчатый полог.

Но слон вскрикнул — государыня встрепенулась, и все вновь ожило. Она велела тронуть сани, а Артемию Петровичу стать позади себя. Изволили раз проехать мимо слона, возвратились назад и пожелали видеть внутренность дома.

Между тем Бирон, разъяренный, рыскал в нем, предшествуемый одним Липманом.

— Не может быть! — говорил он, пыхтя от злобы, — неужели они эту поганую штуку сыграли?.. Правда ли?.. Кто тебе дал знать?..

— Племянник!.. — отвечал Липман, — племянник не солжет... вы сами знаете...

— Где ж?..

— Вот здесь...

С этим словом вошли они в комнату, где стояли чашы и лежали карты на столе. С одной стороны в углу купидон с дубинкою на плече вытянулся как бы на караул; с другой стороны другой ледяной купидон, прислонясь к окну, держал палец правой руки на губах, а левой рукою предлагал рог изобилия, желая, конечно, дать знать, что скромность доставляет богатство и прочие дары фортуны. Тут до сих пор не было ничего, что могло возбудить гнев его светлости. Но в переднем углублении, сделанном наподобие стоячего гроба, позади стола, выступил... человек с бледным лицом мертвеца, в обледенелой рубашке, босой... Он держал бумагу в дрожащей руке. Казалось, только что облили его на морозе: струи еще слегка спадали с ледяных сборов его рубашки, по лицу его выступали капли предсмертного пота.

— Опять он!.. И везде он!.. — вскричал с ужасом Бирон.

Как не ужасаться было ему! По сотне душ отправлял он ежегодно в Елисейские поля\*, и ни один мученик не возвращался с того света, чтобы преследовать его. А тут везде за ним неотступно проклятый малороссиянин! Да даст ли он ему, в самом деле, покой? Странно! никого столько не боится Бирон; на этом предмете скоро сведут его с ума.

Он замахнулся тростью, чтобы ударить ненавистную фигуру, но та погрозила на него... Трость невольно опустилась, и ледяной пот выступил на челе самого временщика. С минуту стоял он, дрожа от страха и гнева; потом, одумавшись, захохотал, вновь замахнулся в ярости на мертвеца и... разбил ледяную статую вдребезги. Упали перед ним маска и рука; эта, зацепившись за его шубу, казалось, не хотела пустить его от себя. Липман с трудом отодрал ее; загнувшиеся концы проволоки, которая была в нее вделана, впились крепко в бархат шубы. На месте, откуда рука приводилась в движение, осталось небольшое отверстие с Невской набережной.

Пока Бирон сбивал с своей шубы куски льду, ее облепившие, как бы стирал брызги крови, наперсник его вырвал бумагу, подал ее и торопливо стал рыться в кусках по полу, боясь, не скрывалось ли еще какой в них штуки. Бегло взглянул герцог на бумагу, на которой и прочел:

«Государыня! я, малороссийский дворянин Горденко, живой заморожен за то, что осмелился говорить правду; тысячи, подобно мне, за нее измучены, и все по воле Бирона. Народ твой страдает. Допроси обо всем кабинет-министра Волынского и облегчи тяжкую участь твоей России, удалив от себя злодея и лицемера, всем ненавистного».

Судорожно скомкав бумагу — за пазуху ее, потом спросил торопливо:

— Куда мы это все?

Послышался шум позади их... оба вздрогнули. Кто-то вошел — это был Кульковский. Будто по чутью, он угадал, что нужен первому человеку в империи, и явился при нем.

— Кстати, любезный! — сказал Бирон, обратясь к пажику, — бери с Липманом все это поскорее... куда хочешь... хоть в свои карманы. По одной милости за каждый кусок!

Не дожидаясь окончания речи своего патрона, Кульковский — ну убирать куски льду, то в карманы, то за пазуху, то в рот... Последнее делал он единственно, чтобы показать, до какой степени он привержен к первому человеку в империи. Он успел вынести в два раза кучки льду за угол дома, спугнуть стоявшего там недоброжелателя, приведившего в движение статую, очистить место, где разбросан был лед, и, мокрый, прохваченный морозом, неприметно вмешаться в свиту государыни, входившей в ледяной дом. Как не сказать при этом случае: высокое самоотвержение, *достойное римлянина!* — выражение, которым любил щеголять сам Бирон, когда жертвовали выгодами своего отечества личной пользе его.

Государыня обошла весь дом, во всех отделениях останавливалась и изволила рассматривать каждую вещь с большим вниманием (но не спрашивала уже о ледяной статуе, как будто боялась через нее нового оскорбления)... За все благодарила Артемия Петровича в самых лестных выражениях и не только на нем, но и на друзьях его старалась показать свое отличное к нему благоволение. Партия Волынского торжествовала.

Когда императрица вышла из дому, густой туман налег на землю, так что за несколько шагов нельзя было ничего видеть. По временам мелькали — то голова лошадиная, то хвост, то воин, плывущий будто по воздуху, то сани без коней, несущиеся как бы волшебною силою, то палаш, мгновенно змейкою блеснувший. Большие огненные пятна (от свету из домов), как страшные очи привидения, стояли в воздухе; по разным местам мелькали блудящие огоньки (от ходивших с фонарями). Невидимые лошади фыркали и ржали; невидимые бичи хлопали. Подаваемые к разъезду сани во мгле тумана сцеплялись с санями; несли лошади, испуганные и застоявшиеся на морозе. Суета полиции, крик кучеров, стон задавленных, треск экипажей представляли совершенный хаос.

— Боже! что это?.. Господи помилуй! — сказала испуганная императрица, крестясь; обратилась назад, ис-

кала кого-то смутными глазами, силилась закричать: — Артемий Петрович, вырвите меня из этого ада! — но произнесла эти слова осипшим от страха голосом.

Вольнского-не было около нее; видя, что государыню сопровождают его друзья, он остановился с княжной Лелемико и... забылся. Герцог курляндский успел воспользоваться этим случаем и следил императрицу. Она обратила на него умоляющие взоры.

— Будьте спокойны, ваше величество,— произнес он голосом глубочайшей преданности,— вы найдете меня всегда возле себя, когда жизнь ваша в опасности...

— Жизнь моя? в опасности?.. ради бога, не отходи от меня!

Она схватила его крепко за руку и с этой минуты до самого дворца не покидала ее.

К подъезду подали сани государынины, окруженные множеством факелов.

— Да — это гроб! это похороны!.. меня живую хотят похоронить!..— вскричала Анна Иоанновна, еще более перепуганная этим зрелищем и готовая упасть в обморок.

— Прочь факелы! кто это вам велел?..— грозно вскрикнул герцог.

В толпе придворных послышался голос:

— Его превосходительство, Артемий Петрович Вольнской.

Эти роковые слова успели долететь до ушей императрицы.

— Кто бы ни был, все безрассудно! — воскликнул Бирон.

Из лукавого раба он воспрянул снова дерзким повелителем.

Явился Вольнской, но государыня уже не видела его. По приказанию герцога пажы принесли фонари, и ее, почти в беспамятстве, снесли в сани и перевезли во дворец.

Сделалась суматоха между придворными; каждый спешил во дворец, к своей должности, или домой, каждый думал о себе. Испуганные гоф-девицы нашли услужливых кавалеров, которые усадили их в экипажи или взялись проводить, куда нужно было. Мариорица ничего не боялась — он был подле нее. Вольнской кричал ее экипаж; но никто не отозвался; подруги ее исчезли, при-

слуга также... И тут фатализм, и тут любовь сделали свое! Оставалось Артемию Петровичу проводить княжну пешком во дворец.

Счастливец! он тонет с нею во мгле тумана; он страстно сжимает ее руку в своей, он лобызает эту руку. Разговор их — какой-то лепет по складам, набор сладких эпитетов и имен, бессмыслица, красноречивая для одних любовников. Не обошлось без вопроса, общего места влюбленных: *любишь ли ты меня?* Мариорица не отвечала, но Артемий Петрович почувствовал, что руку его крепко, нежно прижали к атласу раз, еще раз, что под этим атласом сердце то шибко билось, то замирало.

Ноги их идут без всякого направления; они идут, потому что раз приведены в движение. Вся мысль влюбленных в их сердце; лучше сказать, у них нет мысли — они только чувствуют себя друг в друге; чувство упоения поглотило все их бытие.

Он обхватил ее стан из-под распахнувшейся шубы и колеблющуюся тихо привлек к себе. На уста его пышет огонь с ее лица; неведомо как, они встречаются другие горящие уста, и Волынской выпивает до дна сладкий, томительный поцелуй...

Этот поцелуй разбежался тысячами по всему существу Мариорицы, она вся — пылающий поцелуй. Ей жарко, ей душно на морозе... Шуба сползла с плеч Волынского, он не останавливается за нею. Они забыли время, дворец, государыню, целый мир. Кто знает, долго ли они, как сумасшедшие, блуждали бы близ дворца, когда бы всего этого не напомнил им оклик часового. Встревоженные, они как бы пробудились от сладкого сна, будто упали с неба.

Успокоило их несколько, что они находятся у служб дворцовых. Найти дорогу к маленькому подъезду было делом нескольких минут. Они входят во дворец, прокрадываются, как преступники; на лице их, кажется, прочтут повесть их нынешнего вечера. К счастью, в коридоре дежурный гоф-лакей дремлет, сидя на стуле; ни одного паж, которых лукавство так опасно в подобных случаях! Как будто нарочно, никто их не заметил, никто не попался им навстречу; самые свечи тускло горят — иные уж и погасли. Видно, весь дворец на половине государыниной озабочен ее испугом.



Вот и комната княжны... Здесь, конечно, расстанется с нею Волынской, унеся с собою сладкую добычу любви? Спальня девушки — святилище для постороннего мужчины; преступник уже тот, кто входит в нее с мыслью оболыщения. Время рассуждать об этом безумцу!.. Волынской забыл все святое... он входит за Мариорией. Одинокая свеча нагорела; никого нет!.. Сумрак и тишина келии!.. Бедная девушка дрожит, сама не зная отчего; она, как робкое дитя, спрашивает, умоляет его выйти.

— Подари меня еще одной минутой блаженства, душа моя, ангел мой! — говорит он, сажая ее на диван. — Еще один поцелуй, и я бегу от тебя, счастливейший из смертных!

Он сто раз печатлеет огонь своей страсти на белой шее и плечах, на пурпуре щек, на черных, мягких косах, путающихся по лицу его и мешающихся с черными кудрями его волос, он пожирает ее своими лобзаниями.

Бедная Мариорица! слабое существо! она опять все в мире забыла.

Вдруг опрометью, запыхавшись, вбегает Липман и кричит, как сумасшедший:

— Княжна! княжна! государыня очень больна... она вас давно...

Увидав кабинет-министра, он осекся и не знал, что начать; однакож скоро оправился и продолжал, запинаясь, с увертками кокетки, искоса и насмешливо посматривая на гостя:

— Государыня вас... давно спрашивает... вас везде ищут... я к вам во второй раз... извините, если я не вовремя...

Злодей опять не договорил; рот его улыбался до ушей, уши шевелились, как у зайца, попавшего на капусту.

Громовый удар, раздробившись у ног Волынского, не так ужаснул бы его, как появление этого лица. От двусмысленных слов Липмана буря заходила в груди; он вспыхнул и — слово *бездельник!* было приветствием обер-гофкомиссару, или обер-гофшпицу.

— Не знаю, кого так величает его превосходительство, — сказал этот очень хладнокровно и все улыба-

ясь,— по-нашему, это имя принадлежит тому, кто похищает у бедняка лучшее его сокровище. Следственно...

— Что хочешь ты этим сказать, несчастный? — вскричал Вольтинской, готовясь схватить его за грудь.

Он задушил бы жида, если бы не остановил его умоляющий взор Мариорицы, сложившей руки крестом на груди. Этим взором она была у ног его. На помощь к ней пришла Вольтинскому и мысль, что побоищем во дворце, в комнате самой княжны, он привлечет новый, неискупимый позор на голову девушки, и без того уже столько несчастной чрез него.

Липман отпрянул назад, ближе к двери, все-таки не теряя присутствия духа и измеряя свои слова.

— Что я хочу сказать? Гм! это, кажется, не имеет нужды в экспликации<sup>1</sup>. То, что я, обер-гофкомиссар, застал ваше превосходительство как обольстителя у любимой гоф-девицы ее величества... и то, гм! что ее величество изволит об этом узнать, когда мне заблагорассудится донести...

— Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику, негодяю, запачканному в грязи с ног до головы?

— Улика налицо; свидетели есть, угодно — позову.

Есть ли слова для того, чтобы изобразить мучение бедной девушки в состоянии Мариорицы? Как низко упала она! ниже, чем из княжон в цыганки!.. Обрызганная стыдом от появления Липмана, сделавшаяся предметом ссоры подлого человека с тем, кого она любила более всего на свете, зная, что честь ее зависит вперед от одного слова этого негодяя, она чувствовала только позор свой и рыдала. О перемене к ней благосклонности государыни, об удалении от лица ее, о бедности и ничтожестве она и не думала. Но когда вздумала, что друг ее может пострадать, она забыла стыд, вскочила с своего места и, не дав Артемию Петровичу говорить, сказала твердым голосом:

— Неправда! неправда! он не виноват; я просила его проводить меня. Хочешь знать более, безжалостный человек? я люблю его, я сама скажу государыне, что я люблю его; я готова объявить это Петербургу, целому свету...

---

<sup>1</sup> Объяснении (с лат.).

— Объявить!.. это было бы довольно смешно!.. Жаль мне вас очень, княжна!.. Знаете ли, ваше сиятельство, кого вы удостоиваете своим благосклонным вниманием?

В слове *кого* заключалась дьявольская ирония. Подобные слова отнимают несколько лет жизни у человека, на которого устремлены; они сушат сердце, растрavляют жизнь; воспоминание о них поднимает волос дыбом посреди пирушки, когда ходит чаша круговая, принимает дрожью и в объятиях любви.

Иступленная Мариорица, вся пылая, судорожно схватила руку Артемия Петровича и только повторила гневно:

— Кого?.. Знаю ли я?..

Волынской дрожал от унижения, от страха, что Липман откроет тайну его женитьбы, от чувства ужасного состояния, в которое поставил Мариорицу, жертвующую для него всем, что имела драгоценнейшего на свете — девическою стыдливостью,— и, бешеный, уступил своему врагу. Он молчал.

Липман повесил на волоске меч над головой его и играл этим мечом. Он продолжал с твердостью на тот же лад:

— Знаете ли, что его превосходительство не может быть вашим мужем?

— А почему? — спросила Мариорица уже с жадным любопытством ревности.

Злодей собирался дорезать своего врага по суставам, зашевелил уши в знак торжества; но, поймав на лету ужасный взгляд Волынского и движение его руки к огромному медному шандалу, постигнув в этом взгляде и движении верную себе смерть, спешил униженно поклониться и присовокупил:

— Но об этом со временем, когда надобность потребует... Теперь исполнил я приказ ее величества, и будьте уверены, что все покуда останется похоронено в груди моей.

Когда он вышел, бедная, истерзанная Мариорица бросилась в объятия Артемия Петровича.

— Не любишь ли ты другой? — спрашивала она его.— Не обманываешь ли ты меня? О, говори, скорей, скорей! не два раза умирать.

Он утешал ее как мог, лгал, клялся и, успокоив несчастную, мучимую ревностью, снес на диван; потом, поцеловав в бледное чело ее и в глаза, орошенные слезами, спешил избавиться от новой мучительной сцены, которую враги его могли бы ему приготовить. Но лишь только он из комнаты — навстречу ему когорта пажей, подалее в коридоре несколько высших придворных, и между ними — торжествующий Бирон. Они смеялись... и этот адский смех, отозвавшись в сердце Волынского, достойно отплатил ему за проступки нынешнего вечера.

— Подлецы! — сказал он так, что соглядатаи могли слышать это слово, постоял минуты с две против них, как бы вызывая их на благородный бой, и, когда увидел, что они молчат и начали скрываться, пошел своей дорогой. Но как идти ему домой без шубы? Как решиться кабинет-министру попросить шубу у какого-нибудь дворцового служителя? По какому случаю?.. Он спрашивает только о своем экипаже; ему докладывают, что сани его приезжали во дворец, но так как его не нашли там нигде, то и отослали их домой. Эйхлер, долговязый Эйхлер ему навстречу. Он не злопамятен: сожалея, что шубу его превосходительства, вероятно, в экипаже его отвезли домой, предлагает ему свою. Отвергнуты с грубостью услуги племянника Липмана, с коварством предложенные, сомненья нет. Волынской сходит к малому подъезду, решаешь, однако ж, завернуть к одному гоф-лакею, на скромность которого надеется, и взять у него шубу. У подъезда стоит девушка — она держит что-то на руках.

— Вы, Артемий Петрович? — говорит она ему таинственным голосом.

— Я, голубушка; что тебе?

— Княжна прислала вам свою шубу; ночью никто не видит... Я буду здесь ждать, пока вы назад прийдете.

Среди тяжких чувств, обступивших Мариорицу, мысль о нем, заботы о его здоровье ее не покидали. Лишь он пройди цел и невредим сквозь последствия этого несчастного вечера, а о себе она и не думает: она готова открыть грудь свою для всех стрел, на него устремленных.

Смеясь, надел Волынской шубу Мариорицы, вручил посланнице кошелек с золотом и просил ее сказать, что

он целует каждый пальчик на ногах милой, доброй, бесценной ее барышни. Дорогой вспомнил он своих приятелей на Волковом поле.

На другой день принесли ему шубу из полиции. Домашние не сказали ему, что к ней прицеплена была записка: «*Плата той же монетой с герцогскими процентами*».

## Глава II

### ФАТА

Гляжу я безмолвно на черную шаль,  
И хладную душу терзает печаль.

Пушкин \*

На другой день толкнулась цыганка во дворец; ее не пустили. Грустная шла она домой; но лишь только сделала несколько шагов от маленького дворцового подъезда, услышала, что кто-то сзади кличет ее по имени. Оглянулась — высокая неблагообразная женщина манит ее своею собачьей муфтой. Мариула остановилась и с первого взгляда на нее припомнила себе, что где-то видела это шафранное лицо, к которому неизменно подобраны были под цвет темно-коричневый платок и желтый с выводами штофный полушубок; эти серые, тусклые глаза, в которых отражалось кошачье смирение, эта голова, поставленная как бы на проволоке. Да, именно она видела эту фигуру в доме Волинского: это его барская барыня.

«Из дворца она!.. Не узнаю ли чего о моей Мариориде?» — подумала цыганка и спросила потом нагнавшую ее Подачкину, что ей надо.

Подачкина перевела дух, занявшийся от скорой ходьбы, сделала головой полукруг, с остановками по градусам, и, увидев, что около них нет никого, отвечала, пережевывая гвоздику, будто корова жвачку:

— Мне ничего, покуда бог милует; а я за тобой, сударка, для твоего же добра.

— Благодарим покорно хотя на пожелании; позволь, голубушка, спросить, в чем дело?

Словом «голубушка» приметно оскорбилась барская барыня; но она готовилась в придворные и успела скомкать кое-как досаду в сердце, обещаясь порядком отплатить своим гордым обращением, как скоро будет именоваться госпожой Кульковской.

— Ты, вижу, идешь на Выборгскую сторону, — ласково продолжала она.

— Так, на постоялые дворы.

— По дорожке с нами, любезненькая, по дорожке. О, ох, ныне и сугробы стали каждый год больше! Это еще б не горе — как выйду замуж, велю непременно очищать их, — а то горе, что все на свете сделалось хоть брось. Добро б травы худо росли и морозы вдвое сердчали, уж человеки, аки звери лютые, поедают друг друга, роют друг другу ямы; забыли вовсе бога (тут барская барыня перекрестилась) — прости, мать пресвятая богородица тихвинская, что вожу во осуждение!

«Не к добру эта проповедь!» — думала Мариула.

— Вот недалеко ходить: хотел меня скушать живую, и с косточками, господь прости ему его согрешения!.. хоть бы и Артемий Петрович; да великая заступница не дала ругаться надо мной, вознесла меня, недостойную, превыше моих заслуг — не знаю, ведомо ли тебе? — по милости самой матушки Анны Ивановны сочетаюсь вскорости законным браком с столбовым дворянином. Ведь мой Петенька еле-еле не князь, ходит у ручки государыниной и при сучке ее величества, и коли задумает, так и самому Волынскому несдобровать. Потому он и паж, что всякий перед ним паш. Да уж, matka, если на то пойдет, отольются волку овечьи слезки. Во веки веков не затмится в головушке моей поношению... нет, забудь он тогда, что я... (Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться.) Не извольте-де так, господин Волынской, хорохориться; ведь я такая же дворянка, и рядом сяду, таки сяду во дворце с вашей дражайшей сожительницей; и царица Анна Ивановна меня жалует своей ручкой, да и сама херцовина, супруга Бирона, допускает меня к себе в потаенность.

Мариуле в одно и то же время было смешно, и досадно, и грустно. Неучтиво кашлянула она раза два, чтобы оборвать прядь ее красноречия; но это не помогло.

— По-моему,— сказала она,— Артемий Петрович человек, какого нзйти на редкость.

Подачкина, казалось, не слыхала этой похвалы и, не останавливаясь, продолжала:

— Пикни же он грубое словечко, я ему глаза выцарапаю; мой Петенька и сучку царскую выпустит — посмей-ка он тогда тронуть волоском! А вот быть по-нашему с Бироном; да я, господи прости! хочу скорей лишиться доброго имени, пускай называют меня шлюхой, неумойкой, такой-сякой, коли я не увижу головы врага нашего на плахе, а вот быть, быть и быть...

Глаза Подачкиной выкатились наружу, голова ее тряслась под лад частых движений муфты, сильнее и сильнее, скорей и скорей, вместе с гневом ее; шаги ее участились; наконец, она осипла, залилась, захлебнулась, закашлялась и стала в пень посреди снежного бугра.

— Не знаю, как по батюшке величать вас, добрая госпожа,— сказала с нетерпением цыганка, вытаскивая ее из снега,— но вы не изволили еще ничего сказать мне обо мне, как изволили обещать.

Важно опираясь на прислугу, вылезла из сугроба будущая великая особа, а покуда только что длинная, и, отдохнув немного, продолжала:

— Не прогневайся, мать моя, и до тебя доберемся. Большому кораблю большое и плавание; маленький подождет, пока тот отойдет. Кажись, вы, цыгане, народ хитрый, а в тебе нашла я много простоты.

— Оттого, может статься, что я помесь с русскою,— отвечала, коварно улыбаясь, Мариула.

— Уйдет улыбочка в пятки, любезненькая, коли я тебе порасскажу, как и под тебя подмываются. А все твой хваленый Воынскойой, чтоб ему пусто было, окаянному (она выплюнула, забывшись, свою гвоздику). Местную свечу поставлю образу тихвинской божьей матери (тут сотворила большое крестное знамение). Матушка, пресвятая владычица, не попусти злодею долго по земле ходить... Ахти, ахти! гвоздичка моя? куда я ее девала?

Остановились, начали искать, шарить по снегу.

— Не могу без гвоздички ходить: сказывают, чума так и пашет на нас из земли мухаметовой, вот откуда княжна Мариорица...

Цыганка нашла гвоздичку в снегу и подала ее. В ожидании, к чему приведет это смиренное велеречие, терпение ее готово было лопнуть.

— Благодарствую, мать моя, любезненькая! Вот кто бы взял на свою душу приводить тебя в соблазн... помогать окаянному!.. обездолить, губить сироту, еще княжну!.. Ведь она все-таки христианка; хоть из чужой земли, по-нашему в посты скоромного не ест.

— Губить? это неправда!—возразила Мариула, покраснев и с сердцем.

— Такая ж неправда, как теперь зима и холодно. Погодите вы меня провесть!.. ох, ох, мы всё знаем. А ты слушай, лебедка, да не сбивай. На княжну не надышит государыня; в пуховик ее попади перышко, и то беда! а вы сердечную тащите в погибель, в ад, таки прямо в тьму кромешную... Знаешь ли, к кому он и тебя тянет? На сей земле под топор; а в будущем свете хочет заставить тебя лизать горячую сковороду или на вертеле сатаны поплясать.

От этих слов кровь поднялась быстро от сердца в голову Мариулы.

— Да ведь он обещает на ней жениться...— сказала она запинаясь.

— Что ты? в своем ли уме, прости господи! Да разве мы живем в какой татарской земле или в Туречине? да разве можно от живой жены?..

— От живой?..— могла только выговорить Мариула, помертвев; задумалась, потом вдруг захохотала так, что Подачкина вздрогнула, перекрестилась и отодвинулась назад.

— Тут не до смеху, матка моя!

— Ты, видно, дурочку нашла, что надо мною так издеваешься.

— Какая издевка!.. говорю только сожалеючи о тебе, аки христианка добрая, чтобы отвести тебя от неминучей напасти. А что Волинцев твой женат, так любой прохожий тебе скажет. Сожительница его, Наталья Андреевна, в Москве, гостит у родных, захворала было там, но господь поднял ее, кажись, не на добро — по моему, лучше умереть, чем жить с таким мужем; уж он не впервые проказит: любовниц у него несть числа!



А она, кабы ты знала ее, душа предобрая, сущий ангел на земле! Да какая же красавица! Вполовину он ее не стоит. И как его негодника любит!.. Сколько раз говорила я ей: «Бросьте его, матушка Наталья Андреевна!» — «Не могу, родная Акулина Саввишна», — ведь она меня, сизая голубка, всегда по имени и отчеству величает, — «не могу. Покинуть его — пуще чем с светом божьим расстаться». Того и гляди, прикатит сюда, на свое горе...

Ни жива, ни мертва, слушала Мариула. Что ей бы за нужда, если б какой магометанский любовник ее дочери имел несколько жен? она знала бы, что он любит более всех Мариорицу; Мариорица ее была бы первая! Но в России, где двоеженство невозможно — ей это очень хорошо известно (она истории не читывала, в большом свете не жила), — в России любовь Мариорицы к женатому должна погубить ее. «Женатый?.. не может быть! — думает она, все еще утешая себя надеждою. — Как не узнать мне было этого прежде, в несколько недель?.. Он был женат на какой-нибудь Наталье Андреевне, а теперь овдовел! Барская барыня выгнана из дому его и за то всячески ему мстит».

Она остановилась, сделала прыжок до барской барыни, вцепилась обеими руками в ее полушубок и, страшно выпучив на нее одинокий глаз, произнесла осиплым голосом:

— Коли ты солгала?..

В этом вопросе можно было прочесть: «Не разделяюсь со мною тогда... я не оставляю тебя живую, я растерзаю тебя...»

Испуганная Подачкина не знала, что делать, думала, что на цыганку нашло, и собиралась уж вырваться от нее, оставя ей в добычу и свой желтый с выводами штофный полушубок, как навстречу им слуга Перокина.

— Кстати, куманек, — сказала она, глубоко поклонившись ему, — не сделай меня лгуньей. Артемий Петрович Вольтинской женат или нет? не овдовел ли, может статься?

В это время Мариула сторожила своим одиноким глазом, всем существом своим, всеми силами души, не мигнет ли барская барыня слуге Перокина, не сделает ли ему условного знака.

Слуга, понюхав табак и флегматически обозрев с ног до головы чету, так дружно сцепившуюся, отвечал:

— Кому лучше об этом знать, как не вам, сударыня кумушка, Акулина Саввишна? Вы, кажись, в дому его превосходительства выросли, повивали его, нянчили, на свадьбе его мед кушали, у барыни при постели и в чести были... Однако ж когда дело дошло до меня, видно, так сказать, дорогая кумушка, не для прочего иного, как для удостоверения этой госпожи цыганки, так и я непрочь. Законная супруга его превосходительства, Наталья Андреевна,— сестрица моему барину, а барин от нее только что вчор письмоцо получил, что она препожалует на днях сюда. И по этому-то хоботу видно, она здравствует.

Несчастливая мать не могла более выдержать; она начала рвать на себе одежду и бросилась бежать. Только по дороге сыпались от нее несвязные слова:

— А! а!.. вот каково!.. Непотребная! злодейка!.. торговать своею... Женатый!.. гуляка!.. Господи! непусти злодея!..

Еще видели барская барыня и слуга Перокина, как цыганка бросилась было назад к ним, остановилась, помахала, как сумасшедшая, руками, опять побежала опрометью в ту сторону, где находился дом Волинского, и, наконец, скрылась из виду.

— Что за притча! — сказал слуга, понюхав флегматически табак; барская барыня не отвечала, и каждый, разменявшись поклонами, пошел своей дорогой.

Цыганка бежала в самом деле к дому Волинского, пугая народ своею отчаянною, безобразною наружностью; наконец, она остановилась немного, чтобы вздохнуть, потому что готова была упасть от усталости и горя.

«Да что я за дура, взбеленилась без толку? — говорила она сама себе, — еще не все пропало! еще время исправить беду!»

Но лишь только она к дому Волинского, сердце упало у ней в груди. Вот она входит на лестницу, медленно, тяжело, как будто тащит за собою жернов. Докладывают об ней кабинет-министру — велят ей подождать... Она слышит, что посылают слугу в Гостинный двор; она видит, что слуга этот возвратился. Зовут ее в кабинет.

Душа ее на волоске держится еще в теле. Ее шатает из стороны в сторону; она хватается за стены, за двери, виснет на них от изнеможения...

— Сюда, сюда, Мариула,— слышен голос из кабинета,— прошу жаловать.

Входит...

Вольнской сидит в креслах, и перед ним на столе — богатая фата.

Бедная, несчастная мать! Она хотела говорить и — зарыдала.

— Что с тобой? что с тобой? — спрашивал ее озабоченный Вольнской,— кто тебя обидел?

Мариула покачала головой с видом жестокого упрека.

— Что со мною?.. Где твоя честь, где твоя совесть, говори, боярин русский?.. Есть ли в тебе бог?

— Я обещал тебе фату за первый поцелуй...

— Береги ее мне или себе на погребенье! Возьми и свои деньги—они жгут меня, они скребют мне душу.

Она вынула из кармана золото, которое дал ей Вольнской в разное время, показала ему один червонец:

— Видишь, на каждом из них дьявольская рожа с когтями...— сказала она и бросила их на пол.

— Ты с ума сошла, Мариула?

— Пусть буду я, по-твоему, глупая, безумная цыганка; но ты, боярин русский, где твоя совесть, где твой бог, спрашиваю опять?.. Что обещал ты мне, когда вздумал обольстить бедную, невинную девушку; когда моими погаными руками доставал это сокровище? Не обещал ли ты на ней жениться? Кого брал тогда в свидетели?.. Злой, бессовестный человек, безбожник! ты — женат; ты погубил беззащитную девушку. Отдашь богу отчет на страшном суде, а может быть расплатишься и в этой жизни?

Вольнской смутился от слов обвинительницы своей, но старался как мог сохранить наружное спокойствие.

— Что ж тебе до того, что я женат? Ведь не ты моя любовница!

— Что мне?.. Не я любовница его?.. Вот что он теперь говорит!.. Но если бы ты ведал, что я...

Она не договорила, не зная, что делать, бросилась к ногам Вольнского, обвила их своими руками, целовала

их, рыдала, молила его о чем-то без слов. Но здесь силы вовсе оставили ее; она не могла выдержать страшной борьбы природы с желанием сохранить дочери ее почетное место в свете; она не смела назвать себя, цыганку, матерью княжны Лелемико... и в страшных судах распростерлась у ног Волынского.

Долго в ней не было никаких знаков жизни. Ей дана была всякая возможная помощь; ее привели в себя и отвезли бережно на постоялые дворы, наказав кому нужно было с прибавкою того, что лучше всяких наказов—денег, чтобы за нею ухаживали, чтобы ей ни в чем не было недостатка. Но что вознаградит ей счастье дочери? Не мог Волынской объяснить себе причину такой сильной любви цыганки к княжне Лелемико; припоминал себе их чудное сходство и колебался в каком-то грустном подозрении. С этого времени угрызения совести начали терзать его, тем более что он убежден был в истинной к нему страсти Мариорицы. Нередко гремели ему вслух слова: «Безбожник! ты женат — и погубил невинную девушку; отдашь отчет господу на страшном суде». Он слышал нередко во сне рыдания цыганки, чувствовал, как она крепко обвивала его ноги своими руками, как целовала их, как ему тяжело было от них освободиться..

### Глава III

## РАССКАЗ ЦЫГАНКИ

Угадываю любопытство многих моих читателей не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его.

Марлинский\*

По несколько дней сряду несчастная Мариула искала добраться до княжны Лелемико: ни разу ее не допустили. В разное время дня, даже по ночам, в жестокий мороз, становилась она на страже против дворца и выжидала, не проедет ли милое, бесценное для нее существо, не взглянет ли хоть сквозь окно, почуяв

сердцем свою мать. Но о княжне Лелемико долго не было слова. Наконец, цыганка узнала, что она была очень нездорова, но что теперь ей лучше и она в прежней милости у государыни. Это несколько успокоило бедную мать.

Между тем, в ожидании свадьбы Кульковского, на которой и цыгане должны были действовать в числе трехсот разноплеменных гостей (надобно пояснить себе, что происшествия, нами рассказанные с начала романа, случились в течение двух-трех недель), товарищ Мариулы коновалил, торговал лошаадьми, вставлял им зубы, слепых делал зрячими, старых молодыми и, где удавалось, не клал охулки на руку. Но посреди этих кровных цыганских занятий, которых он не покинул бы, если б имел кошелек и ту же набитый, его кукона была постоянным предметом его забот. Когда Василий узнал ее новое горе, которому помочь можно было одному богу, он набрал ей целый короб надежд. Почему б Волинскому не развестись с женою, которую он не любит? Разве этого не водилось и на святой Руси? А Наталья Андреевна хворала: кто знает? она может и умереть на счастье Мариулы! Станется, что и государыня проведает о проказах господина Волинского и заставит его жениться на княжне, которую бережет пуще своего глаза. А почему бы и Мариуле самой не найти случая да подать государыне челобитную, что он, назвавшись холостым и обещававшись жениться на девушке, живущей под крылом самой матушки царицы, склонил бедную цыганку на сватовство и обманул всех.

— Не тужи, Мариуленька,— продолжал Василий,— назад не оглядывайся, прошлого не воротись; поищем лучше впереди; старую брыкливую кобылу сбудем, огневого коня-молодца добудем. А чтоб знать, как дело поведи вернее, порасскажи-ка мне от сивки-бурки, вещей каурки, как зачиналась белокаменна Москва, то есть как попала твоя дочка в княжны.

После утешений Василия отлегло несколько от сердца Мариулы; опять забилося это сердце надеждами, опять заструились они, как новая жизнь, по всему существу ее. Цыганка лелеет эти надежды, убирает, нянчит их, как дитя любимые свои куклы, и не может отказать виновнику их в рассказе, которого он желает.

Комната, похожая на тюрьму, худо освещенная салым огарком, почернелые от сырости стены, две нары, одна против другой к стене расположенные и служащие диваном и постелью,— вот аудитория цыганки. Осмотрев тщательно за дверью и уверясь, что никто их не подслушивает, начала она свое повествование:

— Знал, Вася, ты меня молодою, пригожею, застал ты еще мою красоту в Яссах; но уж тогда много сбыло ее; горе сушит, а не красит. Посмотрел бы на меня, когда мне не минуло еще двадцать лет, в годы моей Мариорицы! Цыганские таборы наперерыв хотели меня с отцом моим к себе: там, где я была, таборы мурашились гостями; за мои песни, а пуще за взгляд мой, платили щедро. Таскались мы много по России, Польше и турецким землям, и везде знавали меня под именем красотки и везде сулили нашим старухам горсти золота, лишь бы меня сманить в западню. Но чего не могли денежки, то сделал колдун — черный огневой глаз молдаванского князя Лелемико. Он был молод, пригож, сладкими речами оступил мою душу, как тенетами, и вывел меня из ума. Я полюбила его. Он дарил меня деньгами, нарядами — я не брала денег; мне надобна была только его любовь; я наряжалась только для него. В таборе, под кибиткою, родила я дочку. Пеленками из лоскутов, которые собрала потихоньку от добрых людей, я прикрыла наготу ее. Отец мой бранил меня, проклинал, бил и требовал денег. Я побрела к князю и принесла от него золото для отца и крещеное дитя. Крест, благословение отцовское, с надписью ножичком дня и года, когда родилась, и чего-то еще, носит и теперь моя бывшая Мариуленька. Не в долгом времени старушка княгиня доведалась, что у сына есть любовница из цыган, и заставила его жениться на богатой и знатной девице. Расставаясь, он смочил мою грудь слезами: я горько плакала, думала, что не переживу этой разлуки; но, взглянув на мою Мариуленьку, прижав ее, тепленькую, хорошенькую, у груди моей, утешилась. С этого времени она стала для меня весь божий мир, и отец, и любовник, и все родное; в ее глазах светили мне мое солнце, и звезды ясные, и каменья самоцветные, на устах ее цвели мои цветы махровые; здоровье ее был мой самый дорогой талант, жизнью ее я жива была.

Знать, родилась я каким-то уродом. Господь создал меня только доброй маткой; я была негодная дочь, может статься — была бы и худой женой. Мариуленька ни в чем не нуждалась: при расставании князь одарил меня серебром и золотом. Она росла в довольстве, в холе, в неге; я убаюкивала ее песнями, пригодными и для царских деток. Не только я и отец, но весь табор любил ее и баловал. Я звала ее своею княжной, и за мною все ее так называли. Да у меня в уме, в разуме только и вертелось, что она не иное что будет, как княжна, господарша, а может статься, и султанша. Кто бы поспорил со мною, тому вырвала бы глаза. Содержала я табор и делала ему разные милости от имени моей Мариуленьки, и потому приказала величать ее своею господаршей. Дорогой взвидела ли моя Мариуленька пригожий цветок на лугу и манила его к себе ручками — стой табор за цветком; приглянулся ли ей мотылек — и все мальчики и девочки, словно ее придворные, бросались ловить мотылька. А когда мы под шатром небесным раскидывали свой шатер, надобно было видеть, как обступали ее малые и большие слуги ее, как наперерыв один перед другим старались ее утешить. И как она была хороша, вельможна на своей беленькой пуховой подушке, в цветном наряде, в золоте, в фольге, в лентах, среди запачканных лохмотников! Мариуленька бросала им из своих ручонков хлеб, сласти, а иногда и деньги. Мариуленька радовалась, и я была счастлива.

Цыганка остановилась, как бы для того, чтобы забыть в прошлом: и теперь прежнее ее счастье отсвечивалось в ее одиноком, блестящем глазе, горело на щеке, дрожало в ее словах. Насладившись прошедшим, она продолжала, вздохнув:

— Но в два года княжеской жизни мы рассыпали свои денежки по Украине и России и воротились за денежками в Яссы. Лелемико все еще любил меня, но я отказалась его любить — я боялась иметь другое дитя, я боялась отделить что-нибудь от Мариуленьки другому. Мне казалось, что тогда убавится из ее счастья или будет несчастен другой ребенок мой. Лелемико не имел детей от жены; лекаря говорили, что она никогда не родит; старушка мать его умерла; он убеждал меня отдать ему Мариуленьку, клялся, что выведет ее непременно

в княжны, укрепит за нею все свое имение, а в случае, коли я не соглашусь, не даст мне ни полрубия и пустит нас таскаться по миру. Куда?.. Я сначала руками и ногами! Отдать Мариуленьку все равно, что отдать жизнь свою!.. Но когда увидела дочку, милую, бесценную дочь, владычицу табора, княжну, в старых лоскутьях, с сухарем во рту; когда услышала, что ее в таборе разжаловали из княжен в Мариулку, а потом в лохмотницы и цыганята начали дразнить ее языком, у меня поворотилась вся внутренность. Лохмотья? по миру? насмешки, нужда? что ждет ее вперед?.. От этих мыслей голова у меня закружилась. Ночью, когда мое дитя, мое ненаглядное сокровище, спало, — облобызав ее с ног до головы, облив ее слезами, я схватила ее с люлькой, бросилась бежать из табора, и, как сказано мне было, подкинула ее в люльке, с письмецом, в цветник, под окна княжеские. Несколько раз принималась я с нею прощаться; то отойду шагов десяток, то назад ворочусь. Наконец, скрепя сердце ушла от нее. Дорогой слышала ее плач, хотела опять воротиться и... не воротилась. По письму, по словам ребенка должно было счесть, что она из знатного рода, что ее утащили цыганы и они ж подбросили за неимением чем содержать. Как разочли, так и случилось. Добрая княгиня уговорила мужа взять дитя, посланное самим богом. С того времечка моя Мариуленька уж Мариорица; дальше и дальше, ее убирали, воспитывали по-княжески и стали величать княжной Лелемикой. Сначала я много тосковала по ней, но когда услышала об ее счастье, забыла свое горе. Я жила в Яссах на конце города; закутавшись, видала иногда свою дочь в прогулках с мамою, но никогда не смела показать свое лицо ни ей, ни слугам княжеским, потому что Мариорица и тогда была в меня вся вылита. Сходство это, однакож, потешало меня.

Раз, это было в самую полночь, просыпаюсь — будто кто меня ножом в бок, — открываю глаза: в комнате моей светлехонько, словно среди бела дня. Бросаюсь с постели к окну — весь город теплится, огненные языки шевелятся уж над кровлями. «Боже! Мариорица!» — вскрикиваю я и полунагая бросаюсь в ту часть города, где она жила. Город кипит, как котел, трещат кровли, лопаются стекла, огонь бьет с клубами дыма, кричит на-



род, стучат в набат, а у меня пуше в сердце гудит один голос, один звук: спасай свою дочь! Почти без чувства прибегаю к дому княжескому и прямо в двери, обхваченные полымем, цепляюсь по лестницам, через сундуки,—вижу, янычар окровавленными руками тащит девочку... Это она!.. схватываю ее, изо всей силы толкаю янычара с лестницы, через него выношу Мариорицу, обвившую меня крепко ручонками, на улицу и... что потом со мною случилось, ничего не помню. Знаю только, что я долго очень хворала. Первое мое слово, как скоро могла я только зубы разнять, было о княжне Лелемико. Никто не знал, куда она девалась. Воспитатель ее сгорел, жена умерла от испуга... От этих вестей я только что с ума не сошла. Спрашиваю о ней вестичного и попереченного, бегаю с утра до ночи по пожарищу, ищу ее в грудах пепла, в камнях, в обгорелых бревнах; напоследок узнаю, что янычар продавал ее, мое дитя! на торгу, что родные князя Лелемико заплатили янычару большие деньги, лишь бы увел ее подальше. Он так и сделал. Я бежала по следам его день и ночь и нагнала в Хотине. Тут украла я Мариорицу, уговорившись наперед с нею — она уж была девочка лет десяти и смышлена, как взрослая,— нам помогала и хозяйка дома, где квартировал янычар; я заплатила ей все, что имела на себе. Не зная, однако ж, куда деваться с Мариорицей, и боясь, чтобы злодей не отнял ее и не отомстил мне на ее головушке, бросилась я тотчас к хотинскому паше и продала ему родную дочь свою с тем, чтобы, когда она вырастет, сделал своею наложницей или подарил в гарем султана. И тут сердце мое поднимало ее куда-нибудь повыше, да и повыше. Паша любил ее, как родную дочь; у него ей было хорошо, словно в раю магометовом. И тут не раз видала я сквозь щелочку двери, не однажды слушала, как она певала. Песни ее лились мне в душу так сладко, так сладко, что я хотела бы умереть под них. И между тем дочь не знала, что мать ее так близко, что их разлучает одна доска. Что я говорю? одна доска! Нас, как и теперь, многое, очень многое разлучало... Паша состарился; тут пришло ему на мысль подарить Мариорицу султану, потому что он такой красоты еще не видывал, но русские пришли в Хотин: моя Мариорица взята в плен, отослана в Питер. И я сюда

за ней, везде за ней! Где она, тут положу свои косточки; умру, так душа моя станет над ней носиться. И дочь не узнает, что я для нее делала; помянет в сердце имена чужих, но никогда не помянет своей матери...

Рассказчица утерла слезы, бежавшие из одинокого ее глаза; толстый цыган кряхтел и отвернулся, чтобы не показать на лице своем слез, изменявших его обыкновенной флегме.

#### Глава IV

### РАССТРОЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Не далее, а назад, барон! мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно.

Марлинский \*

Поутру была оттепель, отчего пострадал было несколько ледяной дом; но к вечеру погода разыгралась, как в веселый час расшучивается злой и сильный человек, — то щелкала по носу градиной, то резала лицо ветром, то хлопками слепила очи. Наконец, нити снега зачастили, словно мотки у проворной мотальщицы на воробе, сновались между небом и землей, будто вниз и вверх, так что в глазах рябило и все предметы казались пляшущими; около заборов вихорь крутил снег винтом и навевал сугробы; метель скребла окошки, ветер жалобно укал, будто просился в дома; флюгера на домах кричали. Одним словом, в природе господствовала чепуха, настоящее смешение французского с нижегородским. Мудрено ли, что при такой жуткой погоде, соединившейся с темнотою вечера и страхом бироновских времен, ни один житель Петербурга не смел высунуть носа на двор.

Ни один житель, сказали мы? однако ж неподалеку от конюшен герцогских, между ними и домом тайного советника Щуркова, в развалины горелого дома вошли с разных сторон два человека. Один, казалось, пришел из царства лилипутов, другой — из страны великанов. Оба тихонько кашляли по два раза и по этому условному знаку сошлись за средней стеной у трубы; они едва

не соприкасались брюхом одного с носом другого, а еще искали друг друга. Наконец, большой ощупал голову маленького, нагнулся, пожал ему руку и, вздохнув, спросил:

— Что, друг?

— Мы точно играем в шахматы,— сказал другой, отвечая таким же вздохом и подняв свою руку выше своего носа для пожатия руки великана,— ступаем шаг, два вперед, и опять назад; вот уж почти в доведях \*, погорячимся, и все испортим — стоим на том же месте, откуда начали, и едва ли не на шах и мате.

— О! дело еще не совсем испорчено,— возразил длинный.— Правда, он своею горячностью выбивает из рук наших орудия, которыми очищаем ему дорогу к цели его и нашей; досаждаст, бесит, а все-таки отстать от него не можешь, и все за благородство его!

— Благородный, но сумасшедший человек! — сказал маленький с сердцем.— Я готов бы был отступить от него, если б...

— Если б не любил его так много: не правда ли? Жалею его и не менее тебя его люблю. Кабы не проклятая страсть его к княжне, не проклятый вечер, мы скоро одержали бы верх!

— Знает ли государыня?

— Нет еще. Из истории этого вечера ничего не выходило наружу, как будто ее и не бывало. Герцог отдал строжайший приказ не произносить о нем словечка: кто видел, слышал, должен был не видеть и не слышать. Он бережет золотое обвинение на важный случай. К тому ж я связал временщику руки, готовые поднять секиру: я надул ему в уши, чрез кого надо, что в Петербурге на мази, именно против него, возмущение за расстрижение монахов и монахинь <sup>1</sup>, сюда привезенных. В тот же роковой вечер, пришедши домой, получил он известие, что побег целых селений за границу, по случаю его жестокостей, повторяются. Его злому духу дана работка: надо заняться ему разделкою с этими вестями, так чтобы они не дошли до государыни. А покуда — протаптываю

---

<sup>1</sup> Вследствие подтверждения указа Петра I от 28-го января 1723 года (прим. авт.).

себе следок до нее самой: ныне ходил я уж к ней с докладом, и она изволила милостиво расспрашивать меня о разных вещах. Дай-ка укрепиться в этой милости, перехитрить архиереев, и тогда пуцу такой доклад, что от него будет им жарко, как в пекле!

— Что с княжной?

— Сделалась было нездорова, верно от мысли, что государыня, весь двор знают о тайном посещении, что город об этом говорит. Видно, ни воспитание гаремное, ни соблазн примеров и века, ни самая страсть не могут задушить в женщине стыд, когда эта женщина не погрязла еще в пороке. Скоро, однако ж, ободрили ее ласки государыни, навестившей ее на другой же день, глубокое молчание насчет неприятного вечера, вокруг нее прежнее внимание и уважение придворных; но, думаю, более всего повеяли на нее здоровьем добрые вести о Волынском. Тебе известно, что за факелы ему порядочно достанется: ты слышал, однако ж, как его приняли?

— Рассказывал он мне сам, что она при входе его изволила на него милостиво погрозиться, потом дала ему поцеловать свою руку и сказала: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Думаю, что в этих словах заключаются не одни факелы, но и ледяная статуя. Она подозревает в этой куколке что-нибудь худое для своего любимца и забвением прошедшего хочет сблизить соперников.

— Напротив, от этих милостей у нашего курляндца руки сильнее чешутся на заплечный удар.

В это время частый снег с выюгою так налегли на плащ маленького, что ему тяжело было стоять под ним, как под свинцовой епанчой.

— Освободи из-под снега, друг,— сказал он, с трудом произнося слова и двигаясь,— боюсь, что нас скоро занесет.

— Покуда одного тебя,— отвечал длинный, усмехаясь и выковыривая маленького приятеля из снежной скорлупы.

— Знаешь ли, однако ж, как это освежило мое воображение? Прекрасная, счастливая мысль.

— Любопытен слушать.

— Мне пришла фантазия продолжать то, что враги

моего благоприятеля так искусно начали, именно помогать любовникам.

— Помогать? ты с ума сходишь!

— Скажи лучше, нашел золотой рудник ума. Да, да, таки помогать! Прежде бился я изо всей мочи, растратил все сильнейшие доводы моего красноречия, чтобы отвести Артемия Петровича от пагубной страсти и навестить на путь рассудка; теперь буду способствовать ей всеми силами, точно так, как делал Бирон. Ненадежны, думаю, цепи, которыми прикован наш патрон к молдаванке,— они чувственные; но из любви Мариориды к нему чего нельзя выковать! О! я из этой любви построю лестницу хоть на небо, не только до государыни.

В голосе малютки дрожало вдохновение.

— Бедное творение! — произнес, вздыхая, длинный,— чего из тебя не делают? Обманывают, развращают, губят; две противные партии употребляют как средство, каждая для своей пользы, пускают тебя, как монету, ходячую в двух неприятельских царствах, чтобы подкупить успех на свою сторону. Так прекрасно создана, и на какой удел!.. Роскошнейший цветок природы, которым надо бы только любоваться, как безжалостно ищипан руками врагов, чтобы достать в нем яду одному на другого!.. Нет, друг, не знаю еще совершенно твоих видов, но если они низки, предоставим их низким людям.

— Не осуждай, не исследовав,— закон правды, который ты забыл! Вспомни, что мы действуем не только для блага одного человека, но для блага целого народа. Это одно. От другого довода твои аргументы разлетятся в пух, как рассыпались они в голове моей, когда дала ей работу совесть. Княжна погибла решительно в первую минуту, как полюбила Волынского: пожалеть ее можно, спасти нельзя, разве сам бог придет к ней на помощь!.. Я отгадал это существо, лишь только прочел ее первое письмо, лишь только увидел ее. Если ей не суждено сжечь другого, ей суждено сгореть в собственном огне. Все способности ее, все силы жизненные — в сердце; оно исполнено Волынским, и как скоро Волынского не будет в нем, это значит, что она перестала жить. Любовь для нее—жизнь. А Волынской любит, пока не обладает предметом. Даю тебе размыслить о

последствиях. И потому — верный логический вывод — если мы не можем отвести от этого создания, возвышенного, прекрасного, — кто об этом спорит? — если мы не можем отвести от ее сердца неминуемого, рокового удара, который судьба изловчила на нее с такою злобой, то воспользоваться ее страстью для исполнения благородного подвига ничуть не низко и не грешно.

— Тс!.. слышен человеческий голос...

Совещатели стали прислушиваться с страшным замиранием сердца.

— Ничего, — сказал маленький, — видно, ветер завывает!

— Ничего?.. ради бога, молчи!

В самом деле, начали вскоре долетать до них отрывки разговора:

— Сюда... след... пропал... ты?.. Как же!.. не впервой!.. опять след. Сюда, сюда, те обошли!.. не ускользнут!

Последние слова явственно отпечатались в слухе наших приятелей; сквозь расселину стены заметили они уж и свет.

— Это голос моего дяди, — сказал длинный, — нас обошли! мы пропали!

— Что делать?.. Нырнуть туда ль, сюда ли — попадешь им навстречу. Кабы можно было вскарабкаться на окно, я шмыгнул бы в сад Щурхова.

— Убьешься.

— Лучше, чем попасть им в руки. Но ты?

— Я отделаюсь с божьей помощью! Скорей же влезай мне на плеча, голову, на что попало, и марш!

Длинный говорил, а маленький уж исполнял. Он уж на руках, плече, голове длинного, уж на стене, проворно взбирается, как кошка, выше и выше, цепляясь за что попало, за уцелевшие карнизы, поросшие в расселинах отпрыски дерев, выбитые кирпичи... Свет виднее и виднее... Окно близехонько, но беда! железный костыль впился в мантию ученого малютки. Тащить, тащить ее, драть изо всей его мочи — не помогает! Освободить руку из плаща — неминуемо упадешь. Он виснет на стене, как летучая мышь, с распростертым крылом... его бросает в холодный пот... нет спасения! гибель за плечами.

Отделение опального дома, где находились приятели, осветилось вдруг фонарем, и сквозь серебряную пыль падавшего снега озарились вполне жалкая, распетленная фигура Зуды и вытянутая из плеч голова Липмана, с ее полудиском рыжих косм, разбежавшихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытою пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву, и, наконец, сердитое лицо долговязого, тщедушного Эйхлера с его бекасиным носом. Стены, как чертог феин, заблестали алмазною корою. На этой чудной сцене, перед Липманом, державшим фонарь, выкроилась какая-то разбойничья образина с палашом наголо, а за ним мужичок с длинным багром, вероятно, чтобы острожить, где нужно было б, двуногую рыбу или спустить ее в один из бесконечных невиских садков.

— Это... вы... племянничек? — спросил Липман, на которого нашел было столбняк.

— Видите, что я,— отвечал с сердцем кабинет-секретарь, бросился к дяде, вырвал фонарь из рук, дунул — и в одно мгновение исчез алмазный феин дворец и стерлись все лица со сцены.— Еще хотите ли слышать? Это я, дядюшка! Но зачем,— продолжал он ему на ухо,— приходите вы, с вашим бестолковым подозрением, портить лучшее мое дело?

— Что это?.. господин Эйхлер!.. Я ничего не понимаю; я не образумлюсь еще.

— А вот сейчас поймете.

Тут Эйхлер бросился к мужику, державшему багор, вырвал его, подбежал к стене, к которой пригвожден был несчастный Зуда, пошмыгал багром где попало, может статься по голове,— малютка освободился от удавки своей; одно усилие, раз, два ручонками по стене, и он на окошке, кувырк вверх ногами и бух прямо в сад Щурхова. Слышно было, что-то упало, и более ничего.

Живой ли упал, разбился ли, или задохся в снежном сугробе, бог знает.

— Что это упало? — спросил Липман недоверчиво.

— Разве вы не слышите, что человек? — отвечал племянник; потом, сунув ошупью багор мужику, подошел к дяде и продолжал, опустив голос: — Издохнет,

так не беда! По крайней мере я сделал все, что нужно в моих критических обстоятельствах. Пойдемте, любезный дядюшка; я расскажу вам все дорогой. Ваши сподвижники могут услышать за стеной—тоже... и тогда не пеняйте на себя, если испортите все дело нашего покровителя и отца.

Сделали клич команде обер-гофкомиссара, велели ей идти цепью, одному в нескольких шагах от другого, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в Фонтанку, и в таком гусином порядке двинулись к квартире Липмана, на берег Невы. Выдираясь из развалин, не раз падали на груды камня.

— Ах! дядюшка, дядюшка,— сказал Эйхлер тронутым голосом, ведя Липмана под руку,— после великих жертв, после неусыпных трудов, в которых я потерял здоровье и спокойствие, после утонченных и небезуспешных стараний скрыть вашу безграмотность от герцога и государыни, которой еще ныне представил отчет, будто сочиненный и написанный вами; после всего этого вы приходите подглядывать за мною...—и, не дав отвечать дяде, продолжал: — Знаете ли, кто был со мной?

— Нет!

— Зуда.

— Зуда? Давно ли, какие у вас с ним связи?

— Я вижу здесь с ним уж в третий раз.

— Так, почти так! Мои верные помощники донесли мне только сейчас, что во второй раз сходятся здесь два человека, и потому я... пришел... никак не полагая вас найти... Для чего не предупредили вы меня?

— Потому что боялся дать вам в руки шнур моих замыслов, не скрепив их мертвым узлом. Но, поверьте, штука будет чудная, неоцененная!.. Я не посрамлю ни вас, ни себя; и если за нее не обнимет меня герцог, так я после этого жить не хочу. Хитреца моего я довел до того, что он уж и палец кладет мне в рот... ха, ха, ха! Слышите? в саду Щурхова залились ужасные его собачки. А знаете ли вы, что каждая ходит на медведя?.. Жаль, если лукавец попадет на зубок их прежде моего! Нет, милостивец мой, я всего тебя скушаю и с твоим буяном, Волинским. На место его махну в кабинет-министры, или я не Эйхлер, недостойн милостей, которые вы мне готовите,— я просто ротозей, ворона, гожусь в



одни трубочисты. Только прошу вас, умоляю именем его светлости, не мешать мне... если я испорчу дело, ведите меня прямо своими руками на виселицу, на плаху, куда вам угодно.

Эйхлер говорил с таким убеждением, с таким жаром злодейского восторга, так живо описал свои планы, что у старика отошло сердце, как от вешнего луча солнца отходит гад, замиравший в зиму; огромные уши зашевелились под лад сердца, словно медные тарелки в руках музыканта, готового приударить ими под такт торжественной музыки. Пожав руку племяннику, Липман произнес с чувством тигрицы, разнежившейся от ласк своего детенка:

— Ни слова более, мой дорогой, ни слова более! Подозревать вас — все равно, что подозревать себя. Вы одна моя радость, моя утеха на старости; вами я не умру, ибо я весь в вас. Кабы я знал... ох, ох! кто без ошибок?.. не привел бы сюда этих глупцов, не подставил бы ушей для их басен, которые тянут их теперь, будто пудовые сережки. Эй! слушайте! — вскричал Липман своей команде, — если один из вас пикнет, что я нашел племянника в этих дьявольских развалинах, то видите (он указал на Неву)... в куль, да в воду!

С окончанием этого приказа дядя и племянник очутились на крыльце своей квартиры.

## Глава V

### ОБЕЗЬЯНА ГЕРЦОГОВА

Комар с дубу свалился,  
Великий шум учинился.

Старинная  
русская песня

В длинной зале, подернутой слегка заревом от запыленной в конце ее печи, против устья этой печи, стоит высокий мужчина пожилых лет, опираясь на кочергу. Одежда его — красный шелковый колпак на голове, фуфайка из синеполосатого тика, шелковое исподнее платье розового цвета с расстегнутыми пряжками и висячими ушами, маленький белый фартук, синеполосатые шелковые чулки, опущенные до икры и

убежавшие в зеленые туфли. Взглянув на него, не можешь не смеяться. Но, прочтя на лице чудака, правильном, как антик, безмятежную совесть и добродушие, ирония, готовая выразиться, скрывается внутри сердца. По улыбке его можно прозакладывать сто против одного, что в этого старца поселилась душа младенца. То стоит он в светлой задумчивости, облокотясь на ручку кочерги, то этой кочергой усердно мешая уголья в печи, то кивает дружески четырем польским собачкам одной масти, вокруг него расположенным и единственным его товарищам. Ласки свои этим животным он равно на них делит, боясь возбудить в одном зависть и огорчить которого-нибудь,— так добр этот чудака! Вокруг него совершенная пустыня. Но когда расшевеленные им уголья ярко вспыхивают, уединение его вдруг населяется: князья, цари и царицы, в церемониальном облачении и богатых шапках, становятся на страже вдоль стен или выглядывают из своих желтых смиренных рам, будто из окон своих хоромин. Съесть хотят вас очи Иоанна Грозного, и черная борода его, кажется, шевелится вместе с устами, готовыми произнести слово: «Казнь!» Ослеплен, истыкан судом домашним бедный Годунов, которого благодеяния народу, множество умных и славных подвигов не могли спасти от ненависти потомства за одно кровавое дело (и маляр, как член народа, как судья прошедшего, взял свое над великим правителем, пустив его к потомству с чертами разбойника). Гении-утешители являются гурьбою, ибо на них не было недостатка в жизни русского народа; но всех заслоняет своим величием Петр, которого одного народу достаточно, чтобы русскому произносить имя свое с гордостью. И в это время, когда толпа гостей обступает чудака, он, посреди них с кочергою, окруженный сиянием, кажется волшебником со всемогущим жезлом, вызывающим тени умерших, и кисточка на красном колпаке его горит, как звезда кровавая. Но вдруг исчезают знатные пришельцы с того света, и зала по-прежнему уединенна и темна. Чудака остается один с своими собачками и с своими светлыми думами.

В соседней комнате, вероятно в прихожей, кто-то читает по складам духовную книгу. Сколько трудов стоит ему эта работа! Между тем в звуках его голоса льет-

ся самодовольство: повторяя почти каждое выговоренное слово, он упитывается, наслаждается им, будто самым вкусным куском, какой он только съел в жизнь свою.

— Иван! — закричал чужак в красном колпаке.

Глубокий вздох за дверью объяснил, что чтец с прискорбием оставляет душеспасительное чтение, затем выказалась в зале благообразная фигура старика, одетого чисто и прилично слуге знатного барина. Он стал, сложив пальцы обеих рук вместе на брюхе, довольно выпуклом, и почтительно ожидал вопроса. Этот вопрос не задержался.

— Что, выздоровел ли повар?

— Какой выздоровел, сударь? пьет опять мертвую чашу!

Чужак, в котором мы признаем господина дома, казалось, оскорбился ответом.

— У вас все пьян да пьян! — сказал он. — Верно, болен! Напоить его мятой, малиной, чем-нибудь потогонным.

Слуга покачал головой и с сердцем возразил:

— Вы всех людей перебаловали, сударь! Из пятидесяти душ дворовых у вас некому платья вычистить, кушанье изготовить, берлину \* заложить.

— А ты, Иван?..

Вголосе, которым этот вопрос был сделан, заключались слова: «Ты, мой драгоценный Иван, не заменяешь ли мне их всех?»

Не было ответа. Слуга показывал сердитый вид, как это делает любовница с своим любовником, желая перед ним пококетничать, и молча шевелил пальцами по брюху. Барин продолжал развивать мысль свою:

— А ты? не готовил ли мне кушанья в походах, не ездил ли со мною кучером, не чистишь ли мне платья?

— Рад вам служить, пока силы есть; да как я захвораю?..

— Ну, ну, Леонтьевич, полно грусть на меня наводить!

Облако уныния пролетело на добродушном лице чужака. Была святая минута молчания. Победив себя, он с твердостью сказал:

— А разве у меня нет рук?

— Воля ваша, сударь, вам самим? холопскую работу?.. это неслыханно!.. Ведь вам стыдно будет своей братии бояр!

— Стыдно делать бесчестное дело, а не трудиться. Святые отцы сами работали в поте лица.

Это возражение свалило было с ног всю стрелковую линию доводов, готовых выступить против чудака; но Иван, погладив немногие волосы, окаймившие его лысую голову, поправился и отвечал:

— У святых отцов не было на руках пятидесяти душ слугителей и нескольких сот душ крестьян, которых бог и царь вам вручили как детей ваших. А детки эти пустились в худое, забыли вас и господа... *Грешно* баловать их! Ох, ох, сударь, право не худо и лозу, где не берет слово.

— Разве не знаешь, что мы с Волынским условились не наказывать телесно?

— Хорошо Артемию Петровичу! Не в осуждение его сказать, он любит сам погулять, а люди у него словно монахи; вы живете, как отшельник, а дворня ваша...

— Ну, полно, полно, Леонтьевич, уложи свое сердце на псалтире.

Леонтьевич удалился в свою прихожую и снова принялся за чтение по складам, и господин его в красном колпаке стал опять с особенным удовольствием мешать в печи. Но слуга не успел еще вытянуть и одного стиха, как послышалось новое воззвание:

— Иван!

Иван смиренно предстал опять в зале, сложив персты и почтительно наклонясь.

— Дал ли ты рублевик... ну, тому... что вчера приходил?

— Не дал, сударь!

— Так отнеси или отошли завтра.

— Не отнесу и не отошлю, сударь!

— Когда я тебе приказываю!

— Вы приказываете не дельное.

— Я так хочу.

— Не дам, сударь; он пьяница, снесет ваши деньги в кабак. Безделица?.. рублевик!

— Не твои деньги!

— Знаю, ваши; да зачем отдали вы мне свою казну на сбережение?

Минута гневного молчания. Но аргументы Ивана слишком были сильны, чтоб ему противиться, и чудак в красном колпаке, смиренно преклоня пред ним оружие своей логики, сказал сам себе вслух:

— Гм! правда, правда, казна у него! Нечего делать!

И Иван, не дожидаясь дальнейших заключений, отошел в свою келью.

Тут собаки начали сильно лаять; им отозвались четыре польские собачки.

— Иван!

Бедный мученик не заставил себя ждать.

— Видно, забежала опять давишняя коза?

— Помилуйте, сударь, какая коза? Ведь давеча было днем, а теперь ворота на засове.

Дворовые собаки бросились в другую сторону и залились горячим лаем; четыре польские собачки вторили им, хоть уши зажми.

— Ну это, сударь, недаром! — сказал Иван, качая головой, и бросился было на двор, как проворный мальчик.

Навстречу ему толпа челядинцев, разруганных, с мутными глазами, растрепанных в пух. Не скоро можно было добраться чрез них до толку. У иных язык худо двигался, у других слишком скоро, будто жернов молот; говорили по нескольку вдруг; у всех говорило вино. Такова была многочисленная дворня у тайного советника Щурхова, которого видели мы в красном колпаке. Примерной чести всегда и твердости душевной только тогда, когда его порядочно разогревали в деле о благе общественном, умный и благородный вельможа, он был самый слабый господин. То не хотел огорчить крестника взысканием, то кума, то сына или племянника своего дядьки и заслуженного у отца его домочадца, а более всего не хотел наказанием ближнего возмутить душу свою. И потому Иван с мужеством и терпением геройским и честностью немецкою нес весь дом на себе, как черепаха свою тяжелую, но неразлучную оболочку, с которою расстается только вместе с жизнью. Он жаловал-

ся иногда на дармоедов, своих товарищей, и никогда на свою судьбу, тем менее на докучного господина. О! его-то он любил самую чистою, бескорыстною любовью и предан был ему до конца своих ногтей и волос. Два слова: «стыдно и грешно» — слова эти были краеугольным камнем всей морали Ивана и его господина.

Из окрошки вестей, которыми обдали Ивана, мог он только разобрать, что обезьяна герцога курляндского, вероятно сорвавшись с цепочки, пробралась в сад его превосходительства, завязала было в сугробе, но, услышав погоню дворовых собак, проворно влезла на стену соседнего дома и виснет теперь на ней, как кошка.

— Окаянная! так и щелкает зубами,— сказал один,— от холоду, что ли, или хочет кусаться, как барин ее?

— Лукава!—продолжал другой,— я было ее рычагом, а она заговорила по-человечьи.

— Сказывают, в обезьяне бес сидит, как в змее: убить, так на том свете сорок грехов отпустится,— кричал третий.

— Убить! убить! — было единодушное воззвание целой вакхической когорты.

На шум двора вошел Щурхов в переднюю. Узнав, о чем дело шло, потребовал себе калмыцкий тулуп и изъявил желание видеть обезьяну герцога курляндского и, если можно, взять ее в плен.

Война объявлена — не бездельная! — война партий. Щурхов с своими домочадцами принадлежит партии Волынского, обезьяна — бироновской. Составилось в один миг грозное ополчение. Ночь, непогода, дух войска — все благоприятствует; самый лукавый из неприятелей обойден. Идут. Впереди Иван ведет колонну, освещая ей путь фонарем и остерегая ее от снежных гор и опасных мест. Это Мюрат\* войска. Хотя есть пословица, что на Иване недалеко уедешь, однакож этот постойт за себя и своих; он вынесет их к славе. За ним сам военачальник. Кисточка на красном колпаке — точка, около которой в случае опасности должны соединиться все силы, победить или пасть; это знамя партии. Овчинный тулуп его развевается, как тога; кочерга в руках — жезл маршальский. Из воинов — кто несет метлу, кто половую щетку, кто ухват, полено или сковороду. Иван,

взглянув с презрением на последнего, кажется, говорит: не оружие несешь ты на врага, но щит против стрел его! Тот с гневом, разумеется мысленно, отвечает: «Возвращусь с щитом или на нем!» В резерве огромная датская собака тащит за собою человек пять героев, пылающих огнем мужества.

У садовой калитки ополчение сделало привал; но, ревнуя скорее стяжать лавровый венец, после мгновенного отдыха двинулось вперед к месту битвы с возгласом: «Плен или смерть обезьяне герцога курляндского!»

Но каково было общее изумление! Лишь только обезьяна при свете фонаря увидела Щурхова, она жалобно возопила:

— Ваше превосходительство, спасите меня!

— А, лукавица! — закричали два-три голоса, — зверь, да знает, кого просить о помиловании. Убить ее!

— Убить ее! — повторили голоса. Один готовился уж пустить в бедняжку смертоносное орудие.

— Стойте! — вскричал отважно Щурхов, — никто ни с места! Иван, и только один Иван, со мною вперед!

Войско опустило оружие и стало как вкопанное. Но общее изумление усилилось, когда обезьяна произнесла подошедшему близко под нее Щурхову:

— Сжальтесь надо мною, Андрей Иванович, ради самого бога! Я разбит, исцарапан, окостенел от холоду: едва душа держится в теле; спасите меня от ваших собак и ваших людей, которые еще злее и безумнее их!

— А, это вы, мой любезный Зуда? Какою судьбою? — вскричал Щурхов, уронив кочергу из рук. — Иван! помоги.

Еще не успел он выговорить этого приказания, как добрый служитель исполнял уж его. Тулупы подosta- ны под то место, где висел, едва держась за камни, истерзанный Зуда, и секретарь кабинет-министра бросился с своего Левкадского утеса \* на подстилку, ему приготовленную. В этот раз он бережно упал; но, ушибенный прежним падением, напуганный собаками и людьми Щурхова и окоченелый от холода, не мог двигаться. Сам Щурхов и Иван (прочие герои этого вечера не в силах были действовать) сделали из своих рук носилки и таким образом отнесли малютку, обсыпанного снегом,

будто обсахаренного, в дом, где раздели его, уклали в постель и где влили в него целый медный чайник зеленого чаю (самоваров тогда еще не было). У постели Зуды появилось новое лицо. Это был карла, не участвовавший в походе, но между тем наблюдавший за ним издали.

Уведомили тотчас Волынского, что секретарь его ночует у его приятеля. Да! я забыл еще сказать, что следствием похода была потеря туфли: уверен, что замечание пригодится для будущего историка-чудака в красном колпаке и для оправдания моего на случай, если б кто упрекнул меня в исторической неверности.

## Глава VI СОБАКА-КОНЬ

В тогашнее время, когда человек унижался до скота, и животные, по какому-то сочувствию, исполняли низкие должности человека\*.

На другой день исцелившийся Зуда и добрый хозяин — один в халате и колпаке, другой в колпаке и синеполосатой фуфайке — прохаживались по зале и разговаривали о предмете, для них очень занимательном: именно о способах побороть ненавистного временщика. Иван, эффектно разложив на стульях, будто в магазине, блестящую пару платья, парик и прочий снаряд для великолепного выезда его превосходительства, нарушал по временам разговор убеждениями приняться за туалет. Он просил, докладывал, уговаривал, наконец сердился и грозил уйти догатавливать кушанье. Для Щурхова привыкшего к свободе и неге домашней одежды, этот вызов был все равно, что предложение надеть кандалы. Ему так хорошо в красном колпаке и тиковой фуфайке! А у него отнимают счастье беззаботности, домашней свободы и хотят стянуть его в латы парчового кафтана, отягчить голову пуком чужих волос, как железным шишаком.

Пока в нем боролась лень с необходимостью, наехали друзья его и Волынского — Перокин и граф Сумин-



Купшин, оба заклятые враги неправды и потому враги Бирона, оба неколебимые столпы отечества и трона. Они верили, что тот дворянин почетнейший, кто забывает себя для пользы общественной, кто не боится говорить правду перед сильными земли за утесненных и беззащитных и готов за эту правду положить свою голову. Уверенность эту доказывали они не словами, а делом. И слово их было все равно, что дело. Кривых, темных путей не избирали они для своих действий, даже против врагов: в обществах, в сенате, в самом дворце, перед государынею, обличали они зло. Зато в свете приобрели имя людей беспокойных: сама государыня, хотя уверена была в их правоте и преданности к себе, считала их людьми докучными. Ни один из них не был лично обижен Бироном, но оба мстили ему за кровное оскорбление отечества.

Зуда только что увидел голову одного из гостей, убежал во все лопатки.

— Готов ли, брат Андрей? — спросил Перокин, продирая свой тучный корпус сквозь открытую половину двери и высовывая в залу огромную голову с выпуклыми, львиными глазами, — ге, ге! да ты еще нежишься, как старая баба.

— Ты не царская постельная собачка, чтоб себя так баловать, — прибавил сердито граф Сумин-Купшин, старичок, белый как лунь, сгорбившийся, как могильный свод, и едва передвигавшийся с помощью огромной трости, — стыдно! Да, кажется, здесь был Зуда в халате, коли не обманывают меня глаза. Секретарь при тайном советнике!.. это еще невидаль на Руси! Ох, ох, Андрей Иванович, перебалуешь ты все, что только около тебя повертится. Погоди, мы за тебя возьмемся порядком.

Покраснев и смутясь, как дитя, застигнутое в шалости своим наставником, Щурхов уже проворно одевался и, запинаясь, робко, с умоляющим взором отвечал:

— Зуда болен, ушибся вчера... ну проворнее же, Иван!

И слуга, оторопевший заодно с своим барином, не заметил, как подал ему парик задом и покрыл им лицо; но Щурхов, не показывая ни малейшего знака гнева, обратил парик назад и осмелился уж сам спросить:

— Что ж ныне за необыкновенный день, что вы торопите?

— Да разве ты не знаешь? Да разве ты не получал нашей записки? — спросили в одно время Пεροкин и Купшин, с видом и голосом удивления.

— Не знаю и не получал.

— Не может статься! Иван, не было ли посылки к твоему барину?

Иван мог бы сказать: я чистил платье, лошадей, стряпал и прочее; но в таком случае он осуждал бы своего господина, а это было бы тяжелей для него, чем обвинить себя. Он отвечал только:

— Нет, сударь, не видал ничего. Разве спросить карлу?..

Позвали карлу Щурхова. Угрюмое лукавство ежилось на лице его, сбористом и желтом, как старые алансовые манжеты.

— Лежит какая-то бумага в передней, — проворчал он сердито, приводя в движение отвислые щеки, как брыли у собаки, — а какой бес принес ее, не ведаю: я спал на залавке.

Вошел Зуда, прилично одетый, и, как скоро узнал о предмете разговора, бросился в прихожую, где и сыскал бумагу. Щурхов раскрыл ее и начал читать. Между тем Купшин замахнулся тростью на карлу и вскричал с сердцем:

— О! если бы я не боялся греха, придавил бы эту гадину в образе беса. Вон, мерзавец, и в кухню!

Жалобно зарюмил карла и, выходя из комнаты, сквозь слезы проклинал свое житье-бытье при таком негодном барине, который позволяет чужим господам бранить у себя в доме своих верных служителей.

— Наконец, благодаря господа, — сказал Щурхов с чувством, перекрестясь, — государыня назначила нам ныне аудиенцию, которую мы так долго от нее испрашивали.

Зуда покачал головой и произнес со вздохом:

— Думаю, что это предприятие только что испортит все дело. Еще слишком рано!

— О! коли дожидаться окончания ваших планов, перещеженных и перетроенных, — возразил граф Купшин,

горячась,— так надо ждать второго пришествия. Нет, сударик мой, мы, с нашим простым умишком, хотим, помолясь богу, приниматься тотчас за работу; по-нашему, настоящая пора! Дай нам, голубчик, описать тебе самому, до какого жалкого состояния вы, с вашею хитростью и дальновидностью, с вашею ученостью, довели наше дело и как мы думаем его поправить, разумеется, с божьею помощью: без нее же все прах и суета. Теперь уложи масштаб и циркуль своего ума в карман, поверь здравым рассудком и добрым сердцем наше намерение, а там возражай. Вникни и ты хорошенько в дело, Андрей Иванович, и помоги нам во дворце. Нас не так скоро послушают — мы слышем озорниками, может статься и проговоримся; а ты нас поддержи: государыня жалует тебя больше нашего; стоит тебе зажурчать сладкою своею речью, так поневоле развесишь уши и ретивое заговорит с тобою заодно.

— Ого! если и впрямь так, сделаем что можно и должно,— подхватил Щурхов, охорашиваясь.

Глаза его заблестали, движения и речь стали тверды; казалось, что Купшин пустил во все жилы его свежую, горячую кровь, и если бы дали ему в это время начальство над лихим эскадроном, он славно повел бы его в атаку, в пыл битвы. Это был священный костер, на который надобно было только посыпать ладану, чтобы он загорелся.

«Чего не сделает эта золотая голова! — думал Иван, слушая с умилением похвалу своему барину и смотря на него с гордостью матери.— О! кабы не потворство нашей братье, мог бы прямо на место герцога!»

Граф Сумин-Купшин продолжал:

— Волынской от своей молдаванки с ума сошел — мы всё знаем, господин Зуда, хоть никого ни о чем не спрашиваем, всё знаем. В наше время наушничество в таком ходу, что услышишь поневоле и то, что век не хотел бы слышать; душонки и языки налажены на всякую скверность; коли нельзя попасть в шептуны к фавориту, норовят в угодники к второстепенным и так далее, смотря по случаю. А в случае только тот, кто при ушке. Чай, у моего камердинера, у твоего дворецкого, у его мамки есть свой наушник. Впрочем, и то сказать, шила в мешке не утаишь. И так знаем, что брат Арте-

мий вовсе потерял голову, расслаб, будто хворал несколько месяцев. Стал труслив, как заяц, не за себя — о! он до этого не дошел и не дойдет, я уверен в этом; но, сберегая честь и спокойствие молдаванки, дает над собою верх Бирону, попускает злейшему врагу России грабить ее и губить. Бедный Артемий! до чего осетил тебя дьявол!.. Всегда сам был первый в заговоре против временщика, лез из кожи вон, как скоро кто против его замыслов, хоть глаза выцарапать; а теперь готов в попятную. Ясно и верно, как дважды два — четыре, что участь нашего друга держится на одной цепочке с тайною молдаванки. Тронься он только на какое дело против Бирона, и княжну сделают чернее угля: вот чего страшится несчастный, попавшийся в эту западню, хитро устроенную, нечего таить, господин Зуда!

— Нельзя расчислить, — примолвил Пεροкин с сильною грустью, — до чего дойдет гнев государыни, когда она узнает, что Волынской обольстил ее любимицу. Несчастный разбил лучшую се игрушку!.. (Зуда хотел что-то возразить, но говоривший сделал ему знак, чтобы он молчал.) Действительно ли это так и буквально ли так — не ведаем: стыдно нам входить в подробности этого дела; но у фаворита есть свидетели... статья может, в его руках находится и переписка: чего же более для улики Артемия Петровича? Во всяком случае безрассудно, стыдно, грешно!.. Оправдания нет. Но всего этого не воротись. Дело в том теперь, чтобы спасти нашего друга наперекор ему и, если можно, через него спасти нашу кормилицу Россию. Бедная Россия! не молоко, а кровь выпытывают из груди твоих. Отважим за тебя все, чего дороже нам нет на свете; а там буди воля божья!..

Тронутый Пεροкин остановился, как бы для того, чтобы собрать силы на объяснение трудного подвига, на который он решался, и потом продолжал с особенным чувством:

— Сердце мое придумало только одно средство, крайнее, решительное. Время терять не надо. Вот видишь, в чем это средство. Волынской не любит жены своей, а моей бедной сестры; это ясно: что делать? насильно мил не будешь! Может статья, причина этой хо-

лодности и та, что она не имеет детей. Сестре я почти все открыл письмом и убеждаю ее для блага общего согласиться на развод. Теперь же отправляемся к государыне с тем, чтобы ей рассказать, как друг наш вовлечен в любовную связь с княжной, как Бирон старался всячески усилить эту связь — на это и мы представим документики — и будем умолять ее величество позволить Артемию Петровичу развестись с его женой. Уверены, что государыню легко убедить к согласию — она души не чаёт в молдаванской княжне; духовные особы после того не запнутся. Таким образом Волынской выйдет сух из воды, и государыня получит сильное предубеждение против своего любимца. Тогда представим ей в живых красках несчастное положение России, объявим, как верноподданные, что для спасения отечества от систематического грабежа и опустошения, для избавления самой государыни от нарекания потомства остается ей удалить от себя курляндца и вручить кормило не государства, но государственных дел Волынскому.

— А сестра твоя?.. — спросил сквозь слезы Щурхов.

— Это его дело, а не твое, — прервал с твердостью граф Купшин. — Там нет ни сестры, ни брата, там нет родства, где дело идет о благе отечества. Трудна жертва нашего доброго Петра, кто из нас с этим не согласится? Но я сам первый положил палец в эту рану и уверен, что, кроме ее, нет другого спасения. Ожидаем теперь твоих возражений, Зуда.

— Какие возражения!.. — Зуда трепетал от изумления и радости; он готов был пасть в ноги вельможам, сознаваясь, что минута благородного восторга может иногда более дальновидных, тонких расчетов ума.

— Теперь, — продолжал граф Купшин, — благословясь, посоветуемся, как повести ловчее речь матушке государыне: ум хорошо, а два лучше! Худо только то совещание, где много умничанья — это знак, что совещатели думают более о себе, нежели о благе общем.

Все перекрестились, положили по три земных поклона пред образом спасителя; за ними последовал в благоговейном умилении Иван, которого не считали ни лишним, ни опасным в этом дружеском совещании. После

того начали разбирать, что каждому из трех вельмож, собиравшихся на аудиенцию к государыне, надо было говорить: приготовлялись немного — каждый должен был сказать, что бог положил ему на сердце для блага отечества. И вот собрались они во дворец, одушевленные чистотою и благородством своих намерений; но между тем встретилась помеха.

За дверьми подслушивал карла Перокина. Этот хотя и наружностью поприятнее был карлы Щурхова, но не менее лукав и зол. Подобравшись на щепочках к замочной щели и затаив дыхание, повиснул на ней слухом. Хотя Зуда выходил в прихожую наведаться, не подслушивает ли кто, но застал его дремлющим в дальнем углу на залавке — так умел он мастерски спастись от всякого подозрения! Узнав о замыслах друзей, уродец-слуга тихонько, бочком, выполз из прихожей на двор и — к приятелю своему, безобразному карле Щурхова.

— Во что ни станет, — сказал он ему, передав сущность совещания, — обернись хоть птицей и дай знать проворнее герцогу об этих замыслах.

Усмехнулся безобразный карла так, что задрожали брыли его. Это предложение для него находка, сладкий кусочек на голодный зуб. Лучшего случая не найдется отомстить грубияну Перокину и его друзьям.

— Ступай в свое место, будет сделано! — отвечал он; перекатился в кухню, взял оттуда добрый кусок мяса, растерзал его надвое зубами, свистнул, гаркнул: — Удалая! сивка-бурка, вещая каурка, стань предо мной, как лес перед травой.

Откуда ни возьмись огромная датская собака, выше его ростом, прямо к нему; начала около него ластиться, визжать от радости, махать хвостом, обнюхала куски мяса, но не осмелилась схватить их.

— Сослужи мне службу, — сказал бесенок, потрепав Удалу по спине.

Датчанка хорошо поняла волю его и вытянулась, как выезженная верховая лошадь; карла скок на нее, схватился одной рукою за шею, как за гриву, а другой бросил кусок мяса за ворота; собака туда ж, схватила кусок и, взметая пылью снег из-под ног, летом помчала







своего седока прямо к Летнему дворцу, который был не далее ста сажен от дома Щурхова.

Такое путешествие делал бесенок не в первый раз; он ездил на своем Буцефале \* и в Гостиный двор и на почту. Собака-конь известна была в околотке. Причину ее любви отгадать не трудно: он кормил ее, когда другие забывали это исполнить.

У заднего подъезда Летнего дворца соскочил он с нее прямо на крыльцо, спросил, кого и что нужно, передал все верно, получил свою награду, опять на коня, который исправно дожидался его,— выдал ему собачью награду, остальной кусок мяса, и, будто ни в чем не бывал, мигом возвратился домой, торжествуя в сердце свой подвиг. На радости бросил он гривну дворне.

— Пейте за здоровье Удалой! — закричал он — и все пило за здоровье собаки-коня.

Друзья совсем было собрались во дворец, когда явился курьер герцога курляндского с пакетом от его светлости.

— Что за новость? — закричали друзья.

Распечатан пакет, и в самом деле неожиданная, чудная новость отняла у них языки и движение. Вот что заключалось в пакете:

«Ее императорское величество приказала объявить вашему превосходительству, что назначенная вам аудиенция отменяется до другого, неопределенного дня. Вместе с сим повелено дать вам знать, чтобы все, имеющие вход ко двору, дамы и кавалеры, явились в параде ныне, в час пополудни, в квартиру Педрилло, на родины его супруги, придворной козы».

Подлинный подписал: Эрнст, герцог курляндский.

Этот ордер был на имя его превосходительства Андрея Ивановича Щурхова. Посланный герцога, узнав, будто нечаянно, что у господина тайного советника находились гоф-интендант Перокин и сенатор граф Сумин-Купшин, вручил им по такому же извещению.

Долго еще после ухода вестового стояли друзья, будто ошибенные громом. Унижение, стыд, грусть раздирали им душу.

— Какая жестокая насмешка! — сказал, наконец, Пирокин, пыхтя от досады.

Граф Купшин дрожал от чувства унижения и молча исколотил своею тростью невинный пол.

Щурхов крихтел.

И все трое отправились к Волынскому, уверенные, что унижение до такой степени русских вельмож должно взорвать его и подвигнуть на благородную месть.

## Глава VII

### РОДИНЫ КОЗЫ

Страшитесь, чтоб коза  
Не обернулась волком.  
Et toi, Brutus?..

Voltaire<sup>1</sup>

Молчи, все знаю я сама;  
Да эта крыса мне кума!

Крылов\*

Волынской получил также приглашение явиться в квартиру Педрилло, на родины его четвероногой половины. Он не рассуждал: унижительно ли для кабинет-министра, вместо того чтобы заниматься государственными делами, присутствовать при невиданном и неслыханном шутовском представлении. До того ль ему, когда рассудок его помрачен обстоятельствами, в которые он впутал себя и княжну Лелемику с помощью благоприятеля своего — Бирона. Он не оскорбился этим приглашением: после вечера, в который сердце его наслаждалось таким блаженством и изведало столько мук, оно не могло остановиться ни на каком определенном чувстве. То клялся он ужасною местью отомстить врагу за насмешку, и тотчас отступал от своего намерения, страхась подвергнуть бедную княжну стыду и унижению, гневу государыни и бог знает какой несчастной участи. Одна мысль об этом останавливала в нем кровь, и он внутренно мирился на несколько мгновений с Бироном, называя его молчание насчет рокового вечера

<sup>1</sup> И ты, Брут?.. Вольтер \* (франц.).

благородным поступком, между тем как этот поступок был только дело холодного, утонченного расчета. То собирався он писать к жене — добрейшему, прекрасному созданию, которое столько любило его и ни разу, с тех пор как они жили вместе, не подало ему причины к недовольствию; решался изобразить ей свою неблагодарность, свое безрассудство и просить ее возвратиться скорее в Петербург, чтобы спасти его от него самого. Он даже плакал слезами раскаяния. Но этот припадок благоразумия и совести был краток: одна мысль о Мариориде с пылающим поцелуем — и все намерения исчезали, как тень, наведенная мимолетным облачком, и душа его с жадностью хваталась за чашу наслаждений, еще недопитую. «Погоди,— нашептывал ему сатана-страсть,— не весь еще мир дивных восторгов развил я для тебя; я раскрою тебе чертоги, полные чудес. Счастливец! знаешь ли, что блаженство, которое далось тебе так легко, согласился бы иной купить огнем вечным; а ты не хочешь заплатить за него несколькими часами муки земной? Взгляни только на нее: оцени сокровище, которым обладаешь, и — трус! уступи его, если можешь, угрозам судьбы и людей».

И несчастный поддавался опять своей страсти, а может статься, только силе своего пламенного воображения. «Но,— думал он,— если Мариорида узнает, что я женат? Каково ей это услышать в обществе, между подругами, может статься при самой государыне! Она изменит себе, она погубит себя и меня. Если она и будет уметь скрыть свое смущение, каково мне тогда показаться ей на глаза? Что сказать? Какое извинение принести? Нет! лучше самому предупредить ее, объявить ей письмом все, как было. Страсть все оправдает. Другого средства нет спасти ее от нового мучительного положения. Надо, чтобы она, рано или поздно, это узнала; довольно, что я два, три месяца скрывал свою тайну; надо когда-нибудь развязку. Развод с женой еще остался к моему спасению. Есть надежда!.. Что будет, то будет!»

Все это, однакож, легче было говорить в чаду страсти, со слов надежды, нежели сделать. Кажется, на душу его набегали уже нечистые своекорыстные намерения. Благородного, возвышенного Вольт-

ского нельзя было в нем узнать, так сети лукавых, его безрассудство и любовь опутали со всех сторон ум и сердце его.

Он написал письмо к княжне; но с кем доставить его? Не новую ли неосторожность прибавить к прежним и усилить несчастье Мариорицы? Бывало, цыганка так проворно, так мастерски исполняла его поручения; а теперь нельзя и подумать, чтоб согласилась взяться за это дело эта чудесная, загадочная женщина, столько похожая на княжну и такая заботливая об ее спокойствии и счастья, как будто это спокойствие и счастье были ее собственные — даже более, чем ее. Как жестоко платит она Вольнскому за его преступную любовь! Цыганка неугомонней его совести; везде преследует его. Он во дворец — цыганка тут, на дворцовой площади, у дворцового крыльца, кивает ему, указывает на небо; он из дворца — неумолимая опять тут же и опять напоминает ему небо. Кабинет-министр думает уже употребить против нее свою власть: ей ли напоминать ему его обязанности?..

Какие ж средства возьмет он доставить письмо? Он зван на родины придворной козы. Кстати, он заедет во дворец доложить государыне, что все затеи к свадьбе Кульковского готовы, и спросить, когда ее величеству угодно будет назначить день для церемонии. Не увидит ли там Мариорицы? не удастся ли отдать ей письмо?

Лошадей! — он скачет во дворец. След его кареты занесло уже снегом, когда приехал к нему дружеский триумvirат и с ним маленький Зуда. Что делать? Перикин объявляет, что он не поедет на шутовские родины козы, хотя на то была воля государыни. Шурхов колеблется: он хотел бы возвратиться к своему красному колпаку, тиковой фуфайке, польским собачкам и неизменному Ивану, к своей блаженной лени и свободе, к своему маленькому миру, заменяющему все, что за ним делается в большом, земном мире. Граф Сумин-Купшин едет, но клянется, что не умолчит перед государыней унижения, в каком фаворит водит русское дворянство на шутовской цепочке или на колодничьей цепи. И коль скоро оба друга его узнают его твердое наме-

рение, они клянутся разделить с ним опасности и честь этого дня.

Проезжая дворцовую площадь, Волынской боится взглянуть сквозь окно кареты, чтобы не увидеть своей совести, воплощенной в виде цыганки.

Он застал государыню на выходе из внутренних покоев. Ее принимает под руку Бирон с подобострастием самого преданного слуги.

— Подождите,— сказала она, возвращаясь назад,— я хочу перекрестить свою Лелемико от призору очес.

Вдали, в дверях, показалось, как в раме, бледное, но все еще прекрасное лицо и стройная фигура восточной девы. Не знаю, говорили ли мы, что государыня находила особенное удовольствие почти каждый день переряжать ее по своему вкусу; над ней, как над куклой, делала она опыты костюмов разных народов, а иногда по собственной прихоти соединяла их несколько вместе. Особенно любила играть ее длинными черными волосами: то рассыпала их кругом головы, то свивала густыми струями вдоль щек и по шее, то заплетала в две косы, позволяя им сбегать из-под золотой фески, или обвивала ими голову под собольей шапкой, или пускала по спине в одну густую косу почти до полу. И всегда кстати можно было сказать княжне: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» \* Ныне Мариорица одета по-своему, помолдавански. Увидав Артемия Петровича, она вдруг вся вспыхнула и побледнела. Эти перемены были так быстры, что глаз едва мог за ними следовать. Государыня подозвала ее к себе, перекрестила, поцеловала в лоб и в глаза, потом, обернувшись к своему кабинет-министру, примолвила:

— Я ведь правду говорила, что вы сглазите мою Лелемико, помните ли?..

Волынской хотел улыбнуться, но его улыбка выразилась так насильственно, что походила на гримасу: бледнея, он искал слов — и не находил их. В словах государыни было столько убийственной правды. Княжна, не зная также, что делать, целовала руки государыни и в этих ласках старалась укрыть себя от наблюдательных взоров, на нее обращенных.

— Каково? вы не помните! — сказала государыня, возвращаясь назад и приняв руку Бирона, чтобы на ней опереться, — вот видите, женщины — памятьливее!

— Виноват, ваше величество... дела государственные... заботы, могли... — отвечал, не докончив ответа, смущенный Волынской.

Государыня, усмехаясь, продолжала:

— Ох, ох, Артемий Петрович, недаром говорят, что у вас глаз не простой. Воля ваша, вы знаете с нечистой силой! Поверите ли, я сама иногда хочу на вас посердиться; но вы лишь только на меня взглянете, я, хотя и владычица могущественной империи, уступаю вам...

В это мгновение герцог так грубо отнял свою руку, что государыня покачнулась набок своим тучным корпусом и, может статься, подвергла бы себя неприятности и стыду падения, если бы ловкий кабинет-министр, оживленный лестной шуткой императрицы, не успел поддержать ее и занять место Бирона.

— Что с вами, герцог? — спросила она, покраснев и с сердцем. Но этот гнев только что промелькнул. Государыня была женщина и скоро перетолковала по-своему досаду герцога. Она в свою очередь отняла потихоньку руку от Волынского, кивнув ему, однако ж, ласково в знак благодарности, потом протянула руку Бирону, от которой этот не смел уж отказаться, покачала головой в виде упрека и примолвила дружеским тоном: — Что с вами, мой любезный Эрнст?.. Если на вас нашел вчерашний припадок, отдохните: а я не хочу другого провожатого, кроме вас...

После этих слов можно ли было думать побороть любимца государыни в уме и сердце ее? Несчастен, кто это замышлял только! Правду говорил Зуда, предрекая Волынскому неудачу в самом начале борьбы его с Бироном. Но кто разгадает сердце человеческое, этого сфинкса, доселе неразобранного во всех причудах его, этого оборотня, неуловимого в своих изменениях? Одна минута — и государыня могла перемениться.

С неудовольствием уступил Волынской своему счастливому врагу, но воспользовался этим случаем, чтобы

отстать от государыни, продолжавшей свой путь к одной из внутренних дворцовых лестниц. Бросив, как милостыню, слова два-три то одному, то другому из свиты ее и, между разговором, давая проходить толпе, жаждущей лицецерения императрицы, он очутился один в комнате. Оглянулся назад — сердце угадало — Мариорица стоит на конце этой комнаты, унылая, неподвижная, опираясь на ручку двери. Она провожала его взорами, подстерегала в его движениях и взглядах хотя минутное к себе участие; душа ее влеклась по его следам. Как скоро она заметила, что Волынской отстал, любовь заиграла румянцем в ее щеках.

Артемий Петрович опять осмотрелся — в комнате ни души! Вынул письмо из кафтана, преклонил его до земли, положил на ближайшее окно, стараясь объяснить страстную мимикой, что сердце его раздирается от горести, и поспешил догнать свиту императрицы и вовремя вмешаться в толпу. Мариорица схватила письмо, прижала его к сердцу и исчезла. Все это было сделано в два-три мгновения, быстрые, как молния. У квартиры Педрилло успел еще Артемий Петрович быть замеченным государыней и — в отсутствие Бирона, уходившего вперед установить зрелище, — взыскан милостью ее, выраженной глазами и на словах. Такое обращение государыни с Волынским держало еще некоторых царедворцев в надежде, а других в страхе, не поколеблются ли решительно на его сторону весы царского благо-расположения к невыгоде Бирона.

Диво-дивное ожидало зрителей в квартире Педрилло, превращенной на сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, на которую надо было всходить по нескольким ступеням. Сцена была убрана резными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и так далее, связанных бантами из лент. Во глубине сцены, на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза, самая хорошенькая из козьего прекрасного пола. Она убрана была в блондовый чепец с розовыми лентами; из-под шелкового розового одеяла, усыпанного попугаями и заморскими цветами, изредка заметно

было беспокойное движение ее связанных ножек. Впрочем, она глядела на посетителей довольно умильно, приподнимая по временам свою голову с подушки. Подле нее, на богатой подушке, лежала новорожденная козочка, повитая и спеленатая, как должно. От обоих концов кровати до авансцены расположены были в два ряда все придворные шуты, кто прямо, как столб, кто сгорбившись более или менее, кто на коленях, так что представляли собою лестницу, восходящую к стороне кровати. Все они были в блестящих кафтанах и пышно причесаны. Двое из них, один против другого, держали по дымящейся курильнице, двое по умывальнице, и в таком же порядке по серебряному блюду, утиральнику, шитому золотом, и другим вещам, нужным для туалета. За кроватью, в почтительном отдалении, стояло несколько десятков карл и карлиц с козьими рожками, рыльцами и в косматом одеянии из козьей шерсти, а ближе к родильнице, в таком же наряде, с прибавкою чепца,— повивальная бабка, которая по временам брала на руки новорожденную и убаюкивала ее. Не видать было одного Балакирева: он накануне дошутил свою последнюю земную шутку, уложась в гроб и не вставши из него. (За несколько дней назад потребован он был к герцогу для получения отеческого наставления за острое слово, не вовремя сказанное временщику.) Педрилло, одетый богаче прочих своих собратий и вчесанный двумя этажами волос выше их, при ордене Бенедетто, принимал гостей со всем приличием, должным их сану, и непринужденною заботливостью хозяина-придворного.

Введенная в спальню родильницы, государыня подошла к постели, изволила высыпать из кошелька на особо приготовленную подушку несколько десятков золотых монет *на зубок* и потом спросила госпожу Педрилло об ее здоровье. Родильница (тиснутая за ногу повивальной бабкой) преумилительно заблеяла ответ, и вместе с этим весь ее козий штат заблеял хором: кто басом, кто тенором, кто дискантом, чему ее величество изволила от души смеяться. В то ж самое время кабинет-секретарь Эйхлер записывал на длинном листе особ, бывших в зале, и потом, когда Анна Иоанновна присела на



кресла, герцог вызывал по этому списку всех посетителей и посетительниц, одного за одним, по классам, с тем чтобы они подходили к родильнице и исполняли то же, что сделала государыня. Выполнивши этот обряд, спрашивали также о здоровье *госпожи* Педрилло, и на каждый вопрос давала она исправно козий ответ, которому вторил тот же гармонический хор. На сцене одни шуты удерживали свое хладнокровие и важность, от чего еще более усиливалось смешное зрелище. Одним словом, потеха была такая, что государыня забыла свою болезнь и хохотала до слез; все за нею смеялось также, не в состоянии быв соблюсти должного приличия, чем она нимало не оскорблялась. И Волинской положил свою богатую дань на подушку родильницы; и он наведался, как и прочие придворные, о здоровье козы!..

Между тем как толпа обоего пола в неподдельном восхищении обступала постель родильницы, вошли в залу три человека и стали посреди нее, как бы оглашенные, сомкнувшись рядом. Один, седовласый старец, опираясь в глубокой горести на трость: в нем узнают графа Сумина-Купшина. Не трудно угадать, кто были по бокам его. Появление этих трех фигур, так смело и дружно отделившихся от придворной толпы, так одиноко, молчаливо и мрачно стоявших посреди огромной комнаты и веселия шутовского праздника, державших, по-видимому, послушаться воли императрицы, сковало смех и обратило на себя общее внимание. Пророки, явившиеся в сонме грешников, не сделали бы между ними большего впечатления. Сначала пронесся глухой шепот в толпе; потом все замолкло, впериw взоры на лицо государыни, на котором хотели разгадать приговор дерзким возмутителям ее удовольствий. Бирон казался встревоженным, ожидая на себя, по предчувствию нечистой совести, какого-нибудь нападения этих смелых подвижников правды. Не менее его смутился Волинской. Сама государыня, которую всякая нечаянность сильно тревожила, пораженная грозною неподвижностью трех друзей, не могла скоро освободиться от мучительного чувства, ее обнявшего. Наконец, она спросила, обратясь к герцогу:

— Что они там? велите им подойти.

Хозяин праздника, Педрилло, сошел к ним и объявил волю государыни, чтобы они подошли к родильнице и сделали то же, что и другие. Вельможи не дали ответа, и Педрилло доложил, что они не повинуются.

— Опасные люди!..— сказал Бирон, наклонясь почти к уху государыни.— Я вам уж докладывал, что они замышляют... Еще ныне получил я тайные известия о худых намерениях... заговор... статья может, они выбрали этот случай... есть важные сообщники... но я взял свои меры.

Петр, Екатерина и... (умолчим: он жив — живым хвала столько похожа на лесть) пошли бы навстречу беде. Так делают великие духом; но Анна Иоанновна была больная женщина, и любимец ее умел пользоваться ее немощами. Оторопев и бледнея, она шепотом просила его усилить свои предосторожности на случай худого намерения. Бирон пошел отдавать кому нужно приказы. Страх невольно сообщился толпе; а чего боялись — никто не знал.

Эти распоряжения, этот страх достойны были смеха: опасность существовала только на языке коварного фаворита и перешла в воображение государыни, покоренной его демонскому влиянию, от нее к женщинам и некоторым царедворцам, испуганным, может быть, только для виду, из угождения.

Все заволновалось.

Волынской, слышавший коварные остережения Бирона, вспыхнул — он забыл все, и Мариорицу, и свою любовь, и свои опасения; он видел только благородный подвиг друзей — и одной искры прекрасного, брошенной вовремя в эту душу, довольно было, чтобы воспламенить ее. Пока не падает луч солнца на Мемнонову статую\*, она не издает дивных звуков. Он подошел к государыне и сказал ей с особенною твердостью:

— Напрасно коварство пугает ваше величество пустыми опасениями. Я кладу голову мою на плаху, если эти господа не пришли повергнуть к стопам твоим, как верноподданные, а не как бунтовщики, моления бедствующего отечества, которым внять пора.

Этот смелую речью открыта была война соперников, скрывавшаяся доселе в потаенных действиях.

— Здесь не место для докладов,— вскричал озлобленный Бирон.— А чем, сударь, назвать, как не бунтовщиками, людей, которые приходят возмущать удовольствия ее величества и в глазах ее противиться ее воле. И вы, господин кабинет-министр, заодно с ними!

— Да! всегда заодно с верными сынами отечества, а не врагами его! И я горжусь этим, ваша светлость! — отвечал Волынской.

— Что за споры в присутствии моем? — сказала государыня сначала гневно, потом смягчив голос.— Здесь, конечно, вовсе не место... Мне нигде не дадут покоя, боже мой!.. Этого недоставало!.. И вы, Артемий Петрович?..

Обратясь к Волынскому, государыня покачала головой, как бы хотела сказать: «И ты, мой сын?.. Тобою я так дорожила, так долго сберегала тебя от нападений моего любимца, закрывала своею грудью, а ты поразил меня так нечаянно, прямо в сердце?» Хотя этих слов произнесено не было, но Артемий Петрович выразумел смысл их в голосе и взорах императрицы и, покорясь ее милостивому упреку, приблизился к друзьям и просил их выбрать другое время и место для своих представлений.

— Где ж место,— воскликнул с негодованием граф Сумин-Купшин,— когда мы не можем более иметь доступ к нашей государыне? Ныне назначена была нам аудиенция у ее величества — и что ж? выгоды иностранного шута предпочтены выгодам отечества?

— Мы не выйдем отсюда, пока не будем услышаны,— произнес с жаром Пирокин.

Все трое подошли к сцене и пали на колена перед императрицей. Восторженный старец продолжал:

— В последний раз, может быть, перед смертным часом, пришли мы говорить тебе истину. Вели нас казнить, но выслушай ее! Поруганная злодеем Россия зовет к тебе, матери ее. Услышишь голос ее позднее, там, где и цари предстают на суд верховного владыки и от-

дают ему отчет в делах своих; но тогда уж будет не время. Каждый из твоих подданных явится к тебе не на коленях, как мы теперь, с молением и слезами, но станет обвинителем твоим, укажет господу на кровавые язвы свои, на рубища, на цепи, которыми ты позволила недостойному любимцу нас отягчить, расскажут господу унижение человечества. Скоморохи предпочтены истинным слугам отечества и твоим, подозрение дало брату нож против брата, сыну против отца.

Бирон давно взял государыню под руку и приметно увлекал ее, сохраняя, однакож, наружное уважение.

— Не хочу ничего слышать,— кричала она, махая платком и сходя со ступеней.— Здесь не место, говорю вам. Я вам назначу день... Не хочу ничего слышать... Они продолжают. Боже мой! Боже мой! Грубияны, дерзкие, бунтовщики!

— Нет, государыня, матушка наша, мы не бунтовщики,— прервал Щурхов,— вели нам пролить кровь нашу, но только за тебя и отечество, и мы источим ее до последней капли. Умилосердись над своею Россиею: грудь ломится у ней оттого, что она, боясь проговориться, затаила даже свое дыхание; все ходит в ней на цыпочках, чтобы не оскорбить слуха курляндского герцога; верные сыны твои запаяли свои уста, придавили свое сердце, чтобы оно не выстуцало заветной чести и правды. Русские до того дошли, что стыдятся, не только что бояться, быть благородными. Правда и опала, честь и казнь — стали одно и то же.

Государыня, продолжая идти, не слыхала уж этих слов. Скоро сковалось около нее кольцо из царедворцев, так что нельзя было видеть ее, и она осторожно вынесена потоком, хлынувшим из квартиры Педрилло.

Зала опустела, и стало в ней так тихо, как в хижине поселянина, когда он со всею семьею своею отходит в поле. Остались только на ступенях сцены три друга, в прежнем положении на коленях, опустив печально голову, и посреди сцены Вольтинской, прежний Вольтинской, во всем величии и красоте благородного негодования, выросший, казалось, на несколько вершков, отрясая свои

кудри, как гневный лев свою гриву, подняв нахмуренное чело и пламенные взоры к небу — последней защите отечеству против ее притеснителя. На постели лежала еще бедная, связанная козочка, и подле нее, прикованная к кровати страхом, повивальная бабка, карлица, одетая по-козьемму.

Наконец, три друга встали, послав дружески горестный взгляд кабинет-министру, с которым примирил их благородный его характер. Он подошел к ним. Все молча пожали друг другу руку.

— Разве бог и Елисавета — дочь великого Петра, а не Анна — спасут Россию! — воскликнул, вздохнув, граф Купшин.

Еще не успели они выйти из дворца, как Щурхову, Перокину и графу Сумину-Купшину объявлен арест в крепости. Щурхов просил одной милости — прислать ему в место заключения четырех польских собачек его, колпак и фуфайку. Об Иване он не упоминал; но этот сам явился, и ему не отказали в почетном месте на солеме возле его господина.

## Глава VIII ПИСЬМО И ОТВЕТ

В письме<sup>1</sup>, переданном, как мы уж сказали, княжне Лелемико, открывал ей Волынской, со всем красноречием страсти и отчаяния, что он женат. Вместе с этим, стараясь возвысить ее до небес, делая из нее женщину необыкновенную, как будто нездешнего мира, думал данью лести умиловить ее и испросить себе прощение. Ослепленный, он еще не знал ее хорошо.

Ответ.

«Не знаю, выше, ниже ли я других женщин; но уверена, что ни одна не может любить тебя, как я.

Несколько уж дней известно мне, что ты женат. О женщине, которую называют твоей женой, говорили

---

<sup>1</sup> Письмо это выпущено по обстоятельствам (прим. авт.).

при государыне. Сначала поразило меня это известие, не скрою от тебя. Но оно пришло поздно. Я не могу переменить себя, не могу покинуть любви своей; она сильнее меня, сильнее самой судьбы! И как и откуда изгонию я тебя? Нет капли крови во мне, которая не напитана была бы самою пламенною к тебе любовью; нет биения сердца, которое не отозвалось бы ею,—места во всем существе моем, где бы ты не жил. Я вся твоя! Имей сто жен, сто любовниц — я твоя, ближе, чем кора при дереве, растение при земле. Делай из меня что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и — бросить!.. Я создана на это; мне это определено при рождении моем. Говори мне что хочешь, против себя; пускай целый мир видит в тебе дурное: я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя — прекрасного, возвышенного, обожаемого мною!

Ты виноват предо мною?.. Никогда! Ты преступник из любви ж ко мне: могу ль тебя наказывать? Каждый удар на тебе повторился бы сторицей на моем сердце.

Видишь, я женщина слабая, самая слабая женщина!

Скажи мне только, милый, бесценный друг! что ты не любишь своей жены; повтори мне это несколько раз: мне будет легче. И она не стоит тебя! Если б она тебя любила, покинула ли бы тебя на такое долгое время?

Погода или ведро будет, подъезжай в полночь к дому Апраксина. Я хочу доказать тебе, как я тебя люблю. Горничная моя предана мне; она подкупила еще одного верного человека: меня проводят. Доставь мне в другое время денег, поболее денег — все для тебя, мой неоцененный друг! Если б можно, я подкупила бы весь мир, чтобы владеть тобою — без страха за тебя».

Ответ написан, но с кем послать? Горничная, которая со времени рокового вечера освобождена от дальнейшего присмотра за княжной и доносов (за что поло-

жила уже сто земных поклонов), с восторгом отправляет при ней должность поверенной. Груня переродилась; она уж не раба, а слуга самая преданная, самая усердная. Для своей барышни полезет в огонь и в воду. Что делается свободно, делается так легко, так успешно. Тяготит ее только по временам память прошедшего; особенно мучит похищение из ящика всех записок, полученных княжною от Волынского. Сколько могла, облегчила она этот удар для Мариорицы. «Непременно требовали этих записок»,— говорила Груня; но она, желая избавить свою барышню от позора, в отсутствие ее поспешила сжечь их и потом сказала лазутчику Бирона, что сама княжна их сожгла. Груды пепла свидетельствовали об истине ее слов. Обманутая Мариорица, собрав пепел, плакала над ним, как над прахом любимого человека, и спрятала в шелковой подушечке, которую нередко держала у своего сердца. Теперь во что ни станет надо послать записку. Груня берет поручение на себя; но лишь только она из дворца — навстречу Мариула. Цыганка так давно, так жалобно упрашивала ее позволить видеться с ее барышнею; теперь еще усерднее молит об этом, едва не целует ее рук. «Вот верный случай поручить ей записку,— думает Груня,— цыганка не раз уж их носила. А то я могу заплутаться вечером и не найти дома Волынского».

Ах! как отлегло от сердца матери, когда она узнала подробности тайного свидания, за которые дарили ее фатой...

Вводят цыганку к княжне; Груня шепотом докладывает, зачем она воротилась.

От радости дрожит Мариула, увидев свою дочь, едва верит, что у ней, осматривает ее с ног до головы. В восторге цыганка забывает все прошедшее. Одно, что ее беспокоит, так это бледность Мариорицы. Бедная похудела с того времени, как она видела ее в первый раз в Петербурге, и все от любви к нему, к негодному обманщику Волынскому!

Мариорица ласкает ее, целует и вкрадчивым голосом спрашивает цыганку, любит ли она ее по-прежнему.

— Люблю ли я?.. Скажи, чем это доказать?

— Вот видишь это письмецо; ты знаешь, к кому оно... отнеси к нему, но только сейчас, сию минуту, в собственные руки.

— К нему?.. в собственные руки?..

Ужас изобразился на лице цыганки. Каково поручение для матери!

— Да, да, к нему сейчас! — возразила гневно княжна, — или не знай моего порога.

— Несу! — отвечала мать. — Но знаешь ли, — прибавила она, отдохнув несколько от тяжести своей жертвы, — знаешь ли, милая барышня, что он женат? что он негод...

Вспыхнула Мариорица, заградила ей уста своей рукой и, нахмурив брови, как маленький Юпитер\* на свою землю, с пылающим взором вскрикнула:

— Цыганка! берегись!.. не говори мне про него худого, или я прокляну тебя...

«Она!.. проклянет меня?.. — думала Мариула, оледенев от ужаса, — дочь проклянет свою мать?.. Боже, боже мой! скажи, бывало ли это в твоём мире?.. Неужели надо мной должно совершиться!»

— Несу твое письмецо, барышня! — сказала она, и лишь хотела проститься с дочерью, почувствовала в руке деньги... плату за... Нет имени этому слову на языке порядочных людей! Земля, казалось, растворилась, чтобы ее поглотить; дрожь ее проняла; деньги невольно выпали из рук; она хотела бросить и письмо, но вспомнила проклятие и в каком-то священном страхе, боясь, чтобы одно слово не погасило навеки небесного огня, которому обрекла себя на служение, и не погребло ее живую в землю, спешила исполнить волю дочери.

«Что пишет она в этом письме?» — думала Мариула, неся его к Волынскому. Как дорого заплатила бы, чтоб знать его содержание! Но смеет ли нарушить тайну дочери, поручив другому прочесть его? Нет, никогда не допустит она, чтобы чужие уста читали стыд Мариорицы, чтобы они растворились для коварной усмешки над нею!

Когда Волынской возвратился домой с шутовского праздника, цыганка стояла уж у крыльца. Какими



ужасными взорами поменялись они! Она подала ему письмо, тот принял его.

— Что? одумалась! — сказал он.

Ни слова ответа; но глаза ее были ужасны,— так и расстались.

## Глава IX НОЧНОЙ СТОРОЖ

С негодованием и грустью возвращался Волинской домой, помышляя об участи, ожидавшей его друзей. Они принесли себя в жертву делу, которого он был главным зачинщиком и проводником; его долг спасти их или погибнуть вместе. В таком состоянии застигла его цыганка, когда он вышел из кареты на свое крыльцо. Принадлежа весь долгу своему, он было забыл, что писал к Мариорице: так одна страсть обхватывала вдруг эту душу, не давая в ней места другой. Появление неотступной цыганки, этого ужасного Полифема \* в женском виде, готовой, кажется, броситься на него и истерзать, напомнило ему и письмо его и всю гнусность оболещений, по которым он провел сердце неопытной девушки. Эта мысль помутила в нем чистоту и возвышенность намерений, возбужденных твердостью друзей его. Что еще готовит ему ответ княжны? Он спешит и боится прочесть его; он кается, что писал к ней и до того дошел, что желает в ней перемены чувств. Может быть, и произвела это в ней весть об его женитьбе. Кабы так?.. Чудный человек! могущ, как море, и непостоянен, как оно с своими отливами и приливами: то безбоязненно ходят на дне его птички, то на разъяренных волнах своих поднимает оно корабли до облаков.

«Мариорица предалась мне,— думает он, увлекаясь чувством прекрасного, пустившего уже во всем существе его сильные побег,— Мариорица моя, но еще не осквернена преступлением. А свет?.. он считает ее преступницею со дня рокового вечера. Свет! это завистли-

вое собрание личностей, готовое оклеветать все, что только делается не для каждой из них, и поднять до небес все, что ей льстит! Стоит мне победить себя, возвратить Мариорицу этому себялюбивому уроду, и, снова предмет его надежд и искательства, взлелеянная снова им, она выйдет чиста и непорочна из уст его, будто сейчас вышла из купели».

Что за чародей человек, когда нужно ему оправдать свои проступки и помириться с судьбой! Как легко в мыслях своих расстановляет он на сцене мира актеров, разыгрывающих с ним драму его жизни, заставляет их говорить, действовать и чувствовать по-своему и ведет эту драму к желанному концу! Какой он искусный лекарь для тех ран, которые сам наделал и растравил так мастерски! Но подумал ли ты, Артемий Петрович, что сердце, которое ты смесил в своих руках, по горячей прихоти своей, приняло уже форму, которую ты хотел ему дать, и отвердело в ней так, что ты можешь переменить ее не иначе, как разбив? Подумал ли, что ты развратил уже несчастную девушку страстными речами, письмами, лобзаниями; что ты отдал ее в добычу общественному мнению? А знаешь ли, что такое в твое время общественное мнение? Эхо сильного и богатого, ротозей, который ловит мух и готов, смотря по намеку своего повелителя, называть их соловьями или тарантулами, выточенное искусно до пустоты дерево, издающее звук, угодный камертону, в него ударяющему, обезьяна, повторяющая темпы временщика! Свет молчит, пока властелин его сковал ему уста грозою; но одно слово — и бесчестье бедной девушки, как ходячая монета, разойдется по рукам черни, жадной к злословию. Знаю, что Мариорица еще достойна обожания, но прибавь — обожания мудреца, не дающего своего суда по первым признакам и влиянию других. Глупое множество судит иначе, по одной наружности или как ему прикажут. Ты, забывшись, обнял кумир в глазах черни, и чернь перестала ему поклоняться и бессмысленная повергает его в прах. Ты восстанавливаешь его, снова служишь ему с благоговением, приносишь чистые жертвы, достойные божества, созидаешь ему храм до неба; но чернь гово-

рит: «Кумир осквернен» — и бежит поклоняться другим богам.

Зуда встречает Волынского и, не дав ему прочесть ответ княжны, рассказывает, с какими прекрасными намерениями триумвират друзей собрался на свой подвиг, как Перокин решался пожертвовать благополучием своей сестры делу общему, уничтожив брак ее с Артемием Петровичем. Пристыженный таким великодушием, Волынской дает обет не уступить им в благородстве, что бы ни заключалось в ответе Мариориды. Он колеблется даже, не раскрыв письма, сжечь его. Но на дне сердца затаилась еще любовь вместе с первородным грехом, любопытством, и он читает ответ княжны. Слезы капают на письмо; он целует бумагу.

— Нет, я недостойн всех этих жертв,— говорит он, отдавая Зуде письмо для прочтения.— Еду на свидание — не могу не ехать... Господи! подай мне твердость. Друг! молись за меня о том же.

Но прежде, чем он отправляется на это свидание, поручает Зуде вложить в расселину камня, в ограде Летнего сада, бумажку, на которой написано: «*На днях, или я действую один!*» Так приказал тайный, неизвестный друг на случай нужды в нем.

Он едет в условленный час, но боится, чтобы клеветы Бирона не подшутили вновь над ним; он страшится за Мариориду и молит все силы небесные сохранить ее от новой беды, а ему не дать упасть в борьбе неравной.

За несколько сот шагов до дому Апраксина оставляет Волынской свои сани. Ночь темна, он бредет ощупью вдоль стен и у назначенного места становится на страже в пустой будке. «И теперь,— думает он,— должен я проститься навсегда с этой чародейкой, для которой было забыл отечество, друзей, жену, все на свете, теперь, когда она отдается мне совершенно и лучшие мечты мои исполняются? Чем не пожертвовал бы я несколько недель назад, еще вчера, за миг, который мне ныне обещан и которого страшусь! Но подвиг, мною затеянный, не свыше ли сил человека?.. Устою ли я против него? Друзья в тюрьме, отечество

гибнет: вот мысль, которую должен я себя поддерживать».

И вот он ждет Мариорицу полчаса и более, в шорохе шагов запоздалого прохожего или ночного лазутчика, в шелесте ветра, в полете птицы, в огоньке, блеснувшем и померкшем в одной из дворцовых комнат. Никого. Окаменев от холода, выходит он из своей засадки... слышен говор... сердце у него замирает — все опять замолкло: никого! Тихо, жутко, как на кладбище. Вдруг мимо его пронеслось что-то черное, как дух полуночный, как вихрь, и пахнуло на него ужасом; но, заметив его, остановилось, страшно взглянуло ему в глаза и захохотало так, что подрало его по коже и волосы встали дыбом. Он за привидением, хочет его схватить — привидение от него, и снова адский хохот рассыпается в тишине ночи, и ужас впился когтями в сердце и терзает его на части.

— Опоздал! — каркнул, наконец, будто над его ухом зловеющий голос, сопровождаемый свистом и скрежетом зубов, — уж было проклятие!.. Но все-таки ты пришел поздно, голубчик!..

Вне себя Воынской ищет схватить вещуна — и хватает один холодный воздух. Ему чудится, сыпал искры следом бесовский глаз и кто-то черным клубом кувыркался пред ним по снегу. Крест, охотничий нож спасут его от злого духа или человека; но что сделалось с княжною? почему не пришла она на свидание, ею самое назначенное? Не насмешка ли?.. Не может быть! Какое-нибудь несчастье задержало ее дома или переняло на пути!.. Он идет-таки ко дворцу, бродит долго около него — ни одной души, кроме часовых! К страху, к муке душевной присоединилось вскоре и чувство физической боли: мороз обул его ноги в ледяные коты, накинул на грудь ледяной панцирь, который кольцами своими дальше и дальше врезывается ему в тело. Нет сил терпеть более! Он возвращается к своим саям с тяжелою ношею страшных воспоминаний и еще ужаснейшей неизвестности об участи княжны, проникнутый насквозь холодом, проклиная свою любовь, себя и все в мире. Уж эта любовь начинает ему надоедать...

С княжною вот что случилось.

Нетерпение любви заставило ее выйти из дворца несколькими минутами ранее назначенного для свидания времени. Ее нельзя признать в одежде горничной; такой прелестной субретки еще свет не видывал. Любовные проказы так же обыкновенны во дворце, как и в хижине, и ее пропустили вместе с Груней без препятствий, тем легче, что надзор за нею, как мы сказали уже, был снят по повелению герцога. Но шаг за дворецвое крыльцо — и ее ожидает присмотр более строгий, более неусыпный, заменяющий целую сторожевую цепь, самую исправную полицию, превосходящий своею бдительностью даже шпионов Бирона: это присмотр матери. Сердцу Мариулы дана весть, что дочери ее грозит беда, и она с первою тенью ночи на бессменной страже у маленького дворцового подъезда. Никто не смеет ее отгонять: она купила это право заслугами Липману.

Все существо ее превратилось в слух. Видите ли, как она из-за колонны вытягивает шею, будто пеликан из гнезда своего, стерегущий птенцов от хищного зверя; видите ли, как сверкает ее одинокий глаз и роет во мраке и удит в нем предметы, как она жадным ухом прислушивается ко всему, что только движется. Сквозной ветер от Невы хлещет ее крылом по лицу, мороз прохватывает до сердца, коробит ее — Мариула терпит. Одна мысль держит еще теплоту жизни в ее груди: она, может быть, спасет дочь свою от гибели. Бедная греет попеременно руки то под мышками, то своим дыханием; она боится переминаясь, чтобы не заскрипеть по снегу ногами. Бьет зуб об зуб, как у собаки, окоченелой от холода; мысли мутятся, но одна из них не покидает ее — мысль о спасении дочери. Вот идут... Сходят с лестницы две женщины... оглядываются... Ветер пахнул на лица их беглый свет от фонаря: одна из них — Мариорица; это она, сердце матери не могло ошибиться. Дано им несколько шагов вперед, и в несколько прыжков цыганка догнала их.

— Куда ты, барышня? — спросила она встревоженным голосом, остановив княжну за рукав шубы.

Мариорица хотела бежать, но, узнав голос цыганки, остановилась.

— А, это ты? — сказала она, — как ты меня испугала! Что, отдала?.. Будет?..

Этот вопрос все объяснил матери.

— Отдала... Но ты не пойдешь далее! — произнесла Мариула глухим, но твердым, повелительным голосом, стиснув ей руку свою.

— Какая царица!.. Пусти ж!.. Тебе что за забота?

— Мне, мне много заботы. Ни с места, говорю тебе, или я тебя опозорю, закричу слово и дело, созову народ, встревожу дворец, весь город.

— Проклятая цыганка!.. Хочешь денег? Мало, что ль, тебе дано.

— Нет, мне дано много... над тобою, видишь, там на небе, откуда блестит звездочка, — произнесла Мариула вдохновенным голосом; потом, силою отведя ее от Груни в сторону, наклонилась на ухо и шепотом, в исступлении прибавила: — Я... мать твоя. Вспомни табор цыганский, пожар в Яссах... похищение у янычара, продажу паше, уродство мое, чтобы не признали во мне твоей матери: это все я, везде я, где грозила только тебе беда, и опять я... здесь, между тобою и Волынским: слышишь ли?

Она говорила, и, казалось, вся утроба ее трепетала; в горле ее бился предсмертный колоколец.

В этих словах было столько могущества, столько ужасной истины, что княжна в каком-то очаровании, в каком-то непонятном убеждении, что это ее мать, не показывая ни радости, ни печали, не говоря ни слова, уничтоженная, машинально повлеклась назад во дворец. Но цыганка изнемогла: жестокость ударов, нанесенных ей в такое короткое время, непрерывная душевная тревога, страх за дочь, ночи без сна на холоде, дни без пищи, проклятие дочери, мысль, что погубила ее, открыв, что она, цыганка, ее мать, помutilи тут же ее рассудок. Бедная мать!

Мы рассказали уж, как она, в первом припадке своего сумасшествия, встретила Волынского и столько напугала его.

## Глава X

### ВОТ КАКОВЫ МУЖЧИНЫ!

Aussi tu me dois plus que de l'amour...  
tu dois m'aimer comme maîtresse et comme  
mère... entends-tu, Henri, il y va de  
ton honneur... car c'est une chose sainte  
et sacrée qu'un tel amour.

S u e <sup>1</sup>

Что скажет ему Мариорица в оправдание? что может она сказать? Она встретила свою мать цыганку — не так ли? Тогда как Воынской хочет развестись с женою для того, чтобы жениться на ней, жениться, однако ж, на княжне, любимице государыни — не на цыганке же! Чтоб ему принадлежать, она готова идти к нему в услужение: ее любовь выдержит все превратности судьбы, все пытки; но выдержит ли это испытание его сердце? Ужасная ночь! С какою безотчетною радостью шла она в объятия друга, и вместо сладкого поцелуя прожгло все ее существо клеймо позора. На какие жертвы решалось пламенное дитя Востока, и чем вознаграждена за это!.. Она горько плачет, она смочила всю подушку слезами, хотела б выплакать на ней свое сердце, свою жизнь. Но мысль расстаться с ним, как бы то ни было, хоть смертью, для нее ужаснее всего.

Дочь цыганки!.. от одной мысли об этом кровь останаавливается и стынет, рассудок мутится. Но, полно говорено ли это было?.. Слышала ли она точно эти слова? Если и сказано, не обман ли из каких-нибудь видов?..

«Нет,— говорит Мариорица сама с собою,— все это слышала я, все это слишком горькая правда! Так — помню, будто во сне, телегу с навесом из грубого холста, теплую грудь и теплые лобзания женщины, пожар и опять эту женщину в борьбе с янычаром, похищение, завет и опять ее, и везде ее. Кто ж это все, как не мать?.. Понимаю теперь и первое страшное свидание

---

<sup>1</sup> Поэтому ты мне обязан более чем любовью... ты должен меня любить как возлюбленную и как мать... слышишь ли, Анри, речь идет о твоей чести... ибо это любовь возвышенная и святая. Сю \* (франц.).

наше здесь в Петербурге, и робость ее, и жаркие ласки, которые только может выдумать мать и которых мне было так стыдно, не знаю отчего. О! с какою нежностью, с какою любовью целовала она мои руки, и я не понимала, почему сторонняя женщина меня так любит. За деньги Волынского,— думала я. Неужели сердце можно купить до такого притворства? Пускай придет она, я сама расцелую ее руки сто, тысячу раз, облию их слезами... Только чтоб никто этого не видал — чтобы он не узнал! Да она этого сама не потребует. Понимаю теперь и заботы обо мне и брошенные деньги, будто обожгли они ее. Самая эта ночь не доказывает ли ее любви? Она говорила, что изуродовала себя для меня ж — наверно, чтобы не признали во мне ее дочери. Волынской сказывал ведь мне когда-то, что видел женщину, на меня очень похожую: он говорил, конечно, про нее! *Добрая мать!..* Чем я тебе заплатила за это? постыдными поручениями, проклятием!.. Господи милосердый, возьми назад мое безумное слово!.. *Матушка, прости меня! Добрая, несчастная мать! несчастная дочь!* Видно, обе родились под злополучною звездой!»

Так говорила сама с собою Мариорица, обливаясь слезами. На все вопросы Груни отвечала она только, будто цыганка сказала ей, что Артемий Петрович не мог прийти на свидание.

Роковая тайна была похоронена на дне сердца, но с этого дня червяк смерти засел уже в нем. Правду говорила когда-то Мариорица цыганке — первый поцелуй сжег ее.

На другой день после этого происшествия сидел Волынской дома в своем кабинете, озабоченный участью своих друзей, преданных суду, и ломая себе голову, как бы скорее распилить цепи на них и России. Поверенный камень, на углу Летнего сада, отвечал ему: *скоро, очень скоро, ныне, завтра, на днях, или никогда!*

— Не скрою от вас,— говорил Зуда кабинет-министру,— что я работаю вдвоем, даже втроем; но клянусь вам, что не могу еще объяснить вам, кто мои сообщники или чей я сообщник. Скажу только, что один — мужчина, другая — женщина.



— Не спрашиваю, кто *вы*, не хочу спрашивать, — отвечал Вольнской, — боюсь ныне сам за себя... Действуйте, но только скорее, хоть бы стоило мне это головы.

— О, бог даст, мы спасем вашу голову, переменяя теперь способы наших действий. Прежде, как вам известно, старались мы взбесить Бирона ледяною статуей и другими средствами, чтобы он нагрубил ее величеству и вывел ее из терпения; теперь хотим прямо к сердцу государыни, но путями тихими, вкрадчивыми, которые не могли бы ее испугать и которых, однако ж, не могла бы она избегнуть.

Оставшись один в своем кабинете, Вольнской предался тоске о прошедшем и какому-то тяжкому предчувствию. Голова его спустилась на грудь; черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть, сквозь которую глаза бросали отблеск пламенной и сумрачной души. В таком точно состоянии застали мы его, когда сотни разноплеменных пар являлись к нему на смотр. Много ли прошло тому времени? еще не было и праздника, для которого делался этот смотр, а чего не изведало с того дня его сердце, какого блаженства и мук оно не испытало! Он мысленно прошел фазы своей безумной любви, и слезы закапали из глаз.

Свеча нагорела, думы сменяли думы; дремота отягчила его веки, и он заснул.

Впросонках слышит суету в доме, потом скрип двери... Открывает глаза — и видит пред собою в сумраке... женщину в пышном расцвете лет и красоты, с голубыми глазами, в которых отражается целое небо любви! Заметно, однако ж, что оно подернуто облаком уныния. Щеки ее пылают, густые белокурые локоны раскиданы в беспорядке по шее, белой, как у лебедя. Боже! не видение ли это?.. Это жена его!

Вольнской не смеет пошевелиться.

Она стоит у дверей, как изгнанная пери у ворот рая; она смотрит на него с робостью, ищет чего-то в глазах его, просит, умоляет о чем-то и боится подойти. Никогда не казалась она ему так хороша! Любовь и еще какое-то чувство, не менее горячее, но более чи-

стое, вооружили ее в эти минуты всеми своими прелестями для победы над неверным.

В смущении продирает Вольтинской глаза.

— Ты не узнаешь меня, Артемий Петрович? — говорит она ему, смягчив упрек нежностью выражения, и слезы заструились по ее лицу. — Ты не выгонишь меня теперь; разве выбросишь меня мертвую, истоптав прежде своими ногами; но- знай... ты погубишь со мною своего младенца. Я пришла к тебе на суд мужа и отца.

— Наташа! милая Наташа! — мог только произнести Вольтинской, и она в объятиях его. И он увлекает ее к себе на колена, прижимает ее руки к сердцу, целует ее в очи и в уста. Она прильнула к нему всем существом своим, обвилась около него, как плющ, то прижимает его страстно к груди своей, то посмотрит ему в очи, не веря своему счастью, то милует его, резвится, как дитя, убирает его кудри, потопив в них свои розовые пальчики, то путает с их черною смолюю лен своих кудрей.

— Милый Артемий! — говорит она, упоенная чистым восторгом, — вижу, ты меня любишь по-прежнему... А как они мне солгали, жестокие!.. Будто ты... нет, нет язык не двигается, чтобы выговорить их ложь. Не верю! Они, может статься, хотели испугать меня и заставить скорее приехать. Но ты простишь меня, когда узнаешь, зачем я так мешкала.

Она потупила свои прекрасные глаза и покраснела, как девушка.

— Видишь, — прибавила она, взяв его руку и приложив ее под сердце, — здесь наше дитя... ты отец его!

Только тот, кто в первый раз носит это имя, может понимать все высокое этого слова, все его очарование. Но Вольтинской боится верить и предаться новому чувству: оно так неожиданно! Не обманывает ли жена, чтобы более привязать его к себе? Она знает, как он желает детей.

— Ты не веришь, друг мой?.. — Тут она взглянула на образ божьей матери, стоявший в углу в киоте. — Поверь ей!.. Возьми, положи свою руку, вот здесь...

слышишь, как трепещет твое дитя, будто рыбка; он отозвался своему отцу, он тебя приветствует... Я сама не верила, когда поехала в Москву, долго не верила. Но когда узнала совершенно, что я мать... не ведаю, что со мною делалось от радости; счастье мое было так велико, что я не смела ему предаться и потом боялась его потерять. Я прибегнула к богу, к святым угодникам его с молитвами сохранить наше дитя; ездила к Троице на поклонение Сергию-чудотворцу, в Киев к почивающей там святыне, в Нилову пустынь. Для чего ж другого оставаться было мне так долго без тебя! Но везде мысль о тебе меня не покидала; на пути, в храмах божьих, у святых гробниц ты был со мною; везде молилась о тебе, о твоём здоровье, о твоей любви ко мне. Думала, как ты обрадуешься неожиданной вести — тебе так хотелось детей!.. Пишу к тебе письмо об этом; но ты, видно...

— Не получал, друг мой!

— Злые люди! Как они искусно работали!.. Не получал?.. И вот причина твоего молчания. Но я все-таки не переставала думать, как тебя это обрадует. И вдруг в Москве говорят мне, что ты полюбил какую-то молдаванскую княжну... брат мой пишет, что ты хочешь... Господи! не понимаю теперь, как у меня достало сил жить после этого письма... он писал, что ты хочешь развестись со мною. И брат сам уговаривал меня, для какого-то общего блага, согласиться на этот развод. Меня с тобою разлучить?.. О! они не знают меня! Пускай сам бог придет развести нас!.. (Наталья крепче обвила его своею рукою, как будто боролась еще, чтоб его не отняли у нее.) Злодеи! едва не убили меня, наше дитя. Не знаю, как я все это перенесла. Я молила пречистую деву-богородицу сохранить тебя от этого убийства; едва не выплакала душу свою в молитвах. Милости ее велики: все, что насаждали мне о тебе, — ложь, я это вижу, я это чувствую по твоим ласкам. Хочу думать, что все это был сон ужасный! Повтори мне, милый Артемий, что это все солгали злые, завистливые люди, что ты любишь меня по-прежнему.

— Да, милая, душа моя, это все ложь, — повторял Воынской, осыпая ее самыми пламенными ласками, от которых она убиралась в лучшие цветы счастья, как не-

веста к венцу, и горела неизъяснимым восторгом. — Может статься, это вышло оттого, что я пошутил с одною полоненной княжной... но божусь тебе, это была шалость, глупость, вспышка одинокого сердца, развлечение от скуки без тебя... Негодные! стоило ли из этих пустяков пугать тебя!.. С чем могу я тебя сравнить, тебя, прекрасного, бесценного друга!.. Как сладко любить без боязни! Ни бог, ни люди не мешают нам.

Может быть, вспомнил он в это время вчерашний мороз, страх и муки.

— Восторги наши так чисты, а кто нам мешает быть самыми страстными любовниками? Не правда ли?

— О! я буду молить бога дать мне уразуметь все, что есть прекрасного, дорогого в любви на земле и в небе, соберу в груди моей все сокровища ее, весь мир любви, отрою все заповеданные тайны ее и буду истощать их для тебя, милый друг! Сердце научит меня находить для тебя новые ласки, каждый день изобретать новые.

— Бесценная!.. Нет, я тебя не знал! (И в забвении страсти он хотел сказать: и я мог променять тебя!.. но остерегся.) Так у нас будет дитя, милое, прелестное, похожее на тебя? может быть, дочка!

— Нет, я подарю тебе сына, такого же пригожего, статного, как и ты. Посмотри, сдержу ли слово!


С этих минут любовь и счастье семейное водворилось в доме Волынского, и Мариориза забыта.



ЧАСТЬ  
ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

ЛЮБОВЬ ПОВЕРЕННАЯ

 Когда Зуда говорил, что из любви Мариориды построит лестницу хоть на небо, он знал, что говорил. Поспешая воспользоваться этою любовью для своих видов, написал следующее письмо к княжне:

«Обстоятельства, в которых находится г-н Волинской, заставляют адресоваться прямо к вам без околичностей. Я Зуда, секретарь и друг его; от меня ничего не имеет он скрытого. Этот приступ достаточен, чтобы меня выслушать.

Вам известно, что друзья Артемия Петровича за смелую выходку против герцога курляндского посажены в крепость и ждут там своего смертного приговора. Не миновать этого ж и Артемию Петровичу, если какая-нибудь могучая рука, силою чудотворною, силою беспредельной дружбы или любви не оградит его заранее и сейчас от удара, на него уж нанесенного. Требуется высокая энергия, самоотвержение, готовое на все жертвы. Угадываю, скажете вы: мне предстоит этот подвиг, и никому другому.

Так вам, княжна, вам, благороднейшее, возвышенное существо, предлагаю этот подвиг; вы позавидуете, если он будет предоставлен другому. Может статься, нужно броситься прямо в огонь; но это единственное средство спасти человека, который вам дорог, не говорю уже — необходим для России. Не упоминаю вам

о благе человечества в этом случае: вы этого теперь не поймете. Представляю только гибель любимого человека, обращаюсь только к сердцу вашему и, уверен, скорее достигну, чего хочу. Грустно, больно было бы мне, да и напрасно объяснять вам, что появление ваше в Петербурге, ваши наружные и душевные совершенства, которым никто не мог бы противиться, отняли у нас государственного человека, вырвали краеугольный камень из-под храма, начатого им во имя спасения отечества. С тех пор как он узнал вас, он забыл все святы обязанности свои, изменил супруге, друзьям, чести, богу. Враги его воспользовались слабостью его, или страстью, чтобы сделать ее орудием своих козней. Но да идут мимо вашего сердца эти слова. И пойдут они наверно мимо! Все это для вас вздор; ваше сердце не поймет теперь ничего из этого. И потому не говорю: возвратите его святым его обязанностям,—напоминаю только гибель любимого человека, твержу только: спасите его от плахи и унижения, которое для него еще ужаснее смерти.

Минуты дороги. Вот в чем дело!

Вы найдете здесь две бумаги. Постарайтесь всячески, чтобы государыня их увидела и прочла, но под условием, чтобы Бирона при этом случае с нею не было. Да благословит вас любовь на этот подвиг! Провидение, конечно, вас назначило спасти любимого человека от гибели и позора. Что может быть сладостнее этого для вас, существо необыкновенное!

Но каким образом — спросит вас государыня — достались вам эти бумаги? Учитель ваш Тредьяковский — скажете вы — оставил у вас книгу (которую при сем посылаю); перебирая листы ее, нашли вы бумаги и при них записку (тоже здесь прилагаемую). С Тредьяковским мы уж сделаемся на случай, если б потребовали его к государыне налицо для допроса. Записку можете ей показать. Вручаю вам судьбу А. П.»

«Если вы любите государыню,— сказано было в особой записке,— если вам добрая слава ее и спокойствие дороги, вручите ей осторожнее вложенные в книгу Тредьяковского бумаги, но только тогда, когда не будет у нее злодея Бирона».

Все это перешло чрез руки негра Волынского в руки черномазой его приятельницы, жившей во дворце, и никто не видал, какими путями эта посылка закралась на грудь Мариорицы.

Как дорого ей это поручение!.. Не другому кому, не жене его вручен залог его спасения. Ей, одной ей!.. Провидение знает, что она любит его более всех на свете. Как радуется, возвышает это поручение! Она забывает уж свое горе, бедственную ночь, мать: спасение милого Артемия тут, у сердца ее, тут он сам, его жизнь, его спокойствие, счастье, честь! Какая нужда для нее, что она цыганка: она выше всех в мире, — она спасительница милого человека! «Он узнает, — говорит сама с собою Мариорица, — что все это я, не кто другой, для него сделала. Еще прикажите что-нибудь, господин Зуда, но только именем его, и вы увидите, буду ли уметь исполнить».

И глаза этого прекрасного создания разгорались огнем неземным, и щеки ее пылали. С каким восторгом примеривает она на себе терновый венец, ей так расчетливо предлагаемый! А Волынской что делал в это время? Забывал ее в объятиях той, которой некогда изменил для нее ж, дочери фатализма. Что ж была его любовь, пылкая, безумная?.. вы легко отгадаете. Не ошибался и в этом случае Зуда!

Вечер во дворце.

Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами. Несчастья России, если и вполонину существовали, как ей изобразили, налегали на грудь ее, и без того растерзанную болезнями и привычкою к предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имела сил и лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла. Бирон, понимая очень хорошо свое настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал ее своею заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налегшую на чело императрицы. Стрельба в цель в галерее, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки — ничто не могло

ее рассеять. Наконец, она объявила герцогу, что очень нездорова и желает остаться одна.

Спросив руку княжны и опираясь на нее, государыня перешла в свою спальню.

— Дитя мое,— сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати,— как стучит у тебя сердце! так и бьет мне в руку. Здорова ли ты?

— Здорова,— отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека,— но беспокоюсь о вас.

Вместо ответа Анна Иоанновна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которые тяжело рухнулась. Она велела было позвать камер-девицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги; но Мариорица с какою-то упрямою заботливостью сама спешила все это исполнить, стала возле нее на колена и начала слегка поводить ладонью то по одной, то по другой ноге государыни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения ее страданий. Детские попечения ее заметно были приятны Анне Иоанновне.

Они были одни в комчате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Свет от тройной канделябры сквозил через голубой штоф занавесов и падал на бледное лицо ее, отчего оно принимало синеватый цвет мертвизны; утомленные глаза ее по временам закрывались, и чтобы усилить еще это подобие смерти, пышная кровать возле нее, с своим убранством, казалась великолепным катафалком, готовым принять останки того, что была некогда царица. Смотря ей пристально в глаза и следя за движением ее губ, княжна как бы стерегла выход ее души из тела. Кто б подумал, чтобы здесь, в этих двух женщинах — одной носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой юной, но слабой, дочери цыганки, принадлежащей единственно любви, ничего не постигающей, кроме нее,— заключалась в эти мгновения судьба империи!.. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. «Господи! — молила княжна, обмирая от страха пропустить удобное время для подачи







бумаг.— Господи! брось мне на этот раз в душу луч своего уразумения».

Наконец, государыня открыла глаза и сказала:

— Довольно, милая! мне легче.

Мариорица, все стоя на коленях, схватила ее руку, с жаром прижала ее к губам своим — губы были холодны, на руку государыни закапало что-то горячее.

— Что с тобою? ты плачешь, кажется?

— Государыня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди вам преданные и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?

— Новая беда!.. Объяснить, что такое? — воскликнула государыня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением.

Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено ей было сказать. Дрожащими руками приняты бумаги; приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей, и, когда это было исполнено, государыня начала про себя чтение.

Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гроснот, пытали, мучили и уморили столько людей.

«Дойдет до государыни,— умирая, говорил мученик,— я передал мое челобитье богу». И господь услышал этот завет на пороге смертном, принял это условие земли с небом, уберег его сквозь все препятствия человеческие и вручил по назначению. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчет Бирона! В ней описывались разные действия его жестокости и корыстолюбия так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. «Но сердце твое, всемилостивейшая государыня, обольется кровью,— писано было между прочим в доносе,— когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчет одному Бирону и его одного обогащающего. Батоги, плети, окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемы без всякого уважения к истинному несчастью и без

всякой ответственности. Закона тут в помину нет; надо всем владычествует одна воля Бирона. Из тысячи случаев опишу тебе, всемилостивейшая государыня, только два, которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях, и внушат твоему сердцу правила для руководства их в подобных случаях: да различают они на будущее время неплательщика по несчастию, насланному свыше, от несостоятельного по законной лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством, несчастных, которых настигла кара божия, лишив болезнями нескольких рабочих рук, падежом — скота, пожарами — крова, неурожаем — куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовую все вытерпеть.

В село NN<sup>1</sup> на самое рождество Христово нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы наругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, без толку собирали их, по собственной воле и расчету накладывали пени, обирали скот, земледельческие орудия, хлеб в амбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенанием. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормилицем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бироновскими пытками, но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал меньше другого, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба, «Лжешь! прикидываешься!» — кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки! заплачу, — вопил несчастный, — дайте мне только дойти до моей избы». С этим условием приостановили новые муки, для него

---

<sup>1</sup> Читателю до имени нет, кажется, нужды (прим. авт.).

изготовленные. В ожесточении приходит он домой; на встречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. «Тотчас! — говорит он, — всем достанется!» Исступленный, схватывает он нож и зарезывает все свое семейство. Одного шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берет окровавленными руками за ноги, приносит на сходку и с ужасным хохотом размазывает ему голову о голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники! — закричал он, — шесть душ ровно из вашего счета вон».

Через неделю деревня опустела; в польских лесах появилась новая.

В другом селе, при подобном случае, отец отвел пятерых детей своих в поле — это было зимою — и, несмотря на плач их, всех заморозил. «Я хоть один пойду в ад, — говорил он, — зато вы избавитесь от мук бироновских».

В другой бумаге, поданной Мариорицей, заключалось описание мученической смерти Горденки и последствий ее.

При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами.

— Как нас обманывают! — сказала она, всхлипывая. — Я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество, и все именем моим!.. Живой человек... почти в моих глазах... ледяная кукла!.. Боже мой! этому нельзя почти верить! И вот преданность, вот любовь ко мне!.. Все это одна жажда корысти, одно желание властвовать надо всем, даже надо мною!.. Надо конец!.. Господи! прости мои прегрешения и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. Милая, — прибавила она, — молчи обо всем, что ты знаешь из этих бумаг, из этого вечера: я хочу собраться с силами... чтобы наказать... О! как тяжело не иметь ни к кому доверия, не иметь друга! И вот царский сан, которому столько завидуют!..

Государыня опять зарыдала.

— У вас остается Артемий Петрович Волинской! — сказала княжна с особенным восторгом. — Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему... он достоин быть любимцем царей; вручите ему управление России, и вы увидите, какая слава, какое счастье про-

лется на народ ваш, как все будут благословлять ваше имя!

Измученная необыкновенным одушевлением, необыкновенною силою, с которою говорила Мариорица, Анна Иоанновна пристально посмотрела ей в глаза, отчего эта, краснея, потупила свои.

— Несчастливая! — грустно произнесла государыня, качая головой, — и тебя успел обворожить этот чародей! и тебя не избегнул злой рок! О, молись, молись богу!.. Теперь позови мне камер-девицу; тебе и мне нужен покой.

Но княжна не двигалась. Опомившись от смущения, в которое бросили ее догадки государыни, она рассчитывала, и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделано хоть решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии и подавно ничего не делается. Любовь, и такая любовь, как ее внушает смелость; одушевленная ею, она сказала:

— Государыня, дайте же приказ освободить...

— Друзей Волынского! — прервала Анна Иоанновна, как бы испуганная этою просьбою, — теперь... ночью?..

— Теперь же, государыня! Господь пошлет вам и лучший сон и утешение вашему сердцу.

Она говорила с таким горячим убеждением, с такою нежностью целовала руки императрицы, что эта не могла отказать, велела подать себе чернилицу, перо и бумаги и написала приказ коменданту крепости — освободить из-под ареста трех вельмож, посаженных туда в день празднования известных родин козы.

Чрез минут пять хотели воротить посланного с этим приказом — так была велика нерешимость Анны Иоанновны, все еще боявшейся выйти из-под опеки временщика, — но было поздно! Друзья пользовались уже свободою и, уверенные, что вместе с нею падет могущество фаворита, благословляли за нее императрицу.

С каким умилением чистого, благодарного сердца, с какими радостными слезами молилась княжна, когда она пришла в свою спальню!

— Мне, мне обязаны его друзья своею свободою; его собственное счастье, слава его будут делом моим! — говорила она в упоении своего счастья.

## Глава II

### УДАР

И что ни шаг,  
То новые беды иль новый враг.

В ту же ночь узнал Бирон о приказе коменданту Петропавловской крепости. Бешенство его не знало меры, пока он не мог доискаться, что было причиною этого распоряжения, на которое он не давал своего согласия. На все расспросы, кто был после него у императрицы, ему могли только сказать, что оставалась с нею вдвоем княжна Лелемико и что, когда укладывали ее величество спать, глаза ее были красны от слез, между тем как любимица ее пришла к себе в необыкновенной радости.

— О! я отплачу этой поганой девчонке. Это ее дельце! — повторял он, грызя ногти до крови; и почти всю ночь проходил, как часовой, вдоль и поперек кабинета своего.

Утром следующего дня явился герцог во дворец. Угрюмый и молчаливый, он был принят государынею с необыкновенною холодностью и принуждением. Боясь остаться одна с ним, она приказала княжне не отходить. С той и другой стороны — ни слова об освобождении трех вельмож из-под ареста. Заговорили, однако ж, не приметно о празднике, который так давно готовили к свадьбе Кульковского.

— Когда ж он состоится? — спросила государыня.

— Это зависит от воли господина кабинет-министра, — отвечал Бирон, — не знаю, когда ему угодно будет назначить.

Неудовольствие явно означилось на лице Анны Иоанновны.

— Напротив, думаю, когда мне угодно будет. А чтобы доказать вам, как он скоро исполняет мои желанья, я назначаю завтрашний день.

По приказанию ее, записка к Волынскому с этим распоряжением написана княжною, подписана государынею и тотчас же отправлена. Бирон кряхтел от доса-

ды и, не боясь оскорбить слуха императрицы, пускал по временам неблагозвучные вспышки воздуха, который собирал в груди своей.

— Ваши желанья? — повторил он, иронически усмехнувшись. — Смею заверить, что он считает поручение вашего величества оскорбительным для себя. Он объявил это при Остермане и Минихе в самых дерзких выражениях.

— Дела говорят лучше слов. Покуда дозвольте вам не поверить. Впрочем, с некоторого времени замечаю, вы особенно нападаете на кабинет-министра, который столько предан моим и моей России пользам — и предан не на одних словах. Не с этого ли времени, как он выставил напоказ вашу ледяную статую?

Тут она пристально посмотрела на герцога.

Герцог побледнел и побагровел.

— Позвольте выйти княжне, — сказал он, собираясь обрушить разом на голову Волинского решительный удар, так давно изготовленный, и между тем стыдясь вмешивать княжну в свой донос перед ней самой. Но и этот стыд он скоро забыл.

— Моя Лелемико останется при мне, — отвечала государыня с необыкновенною твердостью.

— Вас обманывают.

— Знаю, но только не Волинской.

— Именно он. Государыня! уж под крылом голубки свивают доносы на верного, преданного вам слугу (он посмотрел значительно на княжну, от чего эта вся вспыхнула); поберегитесь, чтобы коршун не сел на ваш престол.

На лице государыни изобразилось какое-то сомнение и робость.

— Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, чтобы я не видал его коварных замыслов. Но пусть прежде выпьет сердце мое! Пора к развязке! Я не могу долее терпеть мое унижение, которое доселе скрывал от вас, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить другому место, но не иначе, как мертвый. Дорого ценю ваши милости и не дешево уступаю их. Выслушайте меня, ваше величество; я прошу, я требую этого, и теперь же.

— В другое время.



— Надеюсь, скоро!.. Правда, вам ныне не до меня; вас и без меня оступят жалобами... может статься, ныне ж упадет к ногам вашим жена его...

При этом слове кровь ударила в голову Мариорицы, все в глазах ее запрыгало и закружилось.

— Жена? Да разве она приехала? — спросила государыня.

— Вчера вечером и, вероятно, тотчас узнала его связи с непотребною...

Нож клеветы был прямо устремлен в сердце бедной девушки. Она не вынесла удара; грудь ее зажгло, у сердца что-то оторвалось; она кашлянула, прижала белый носовой платок к губам, и розовое пятно означилось на нем! Как жестоко наказывает ее судьба за одну минуту неземного блаженства на земле! Герцог радовался уж своему торжеству, видя, что государыня склонялась на его сторону; но ожесточение, с которым он напал на любимицу ее, разрушило все, что он успел выиграть вновь из потерянных прав своих, и положило между ею и им новую преграду. Нельзя было не догадаться, на кого устремлены были его стрелы, облитые ядом: цель сама означала себя слишком явно; но время, место и способ обвинения были худо выбраны. Государыня заметила ужасное положение княжны, сжалась над нею и взяла ее сторону. Отпустить ее от себя, чтобы освободить от ужасных намеков своего фаворита, она не решалась, боясь услышать что-нибудь важное насчет своей любимицы. Как бы по предчувствию, она страшилась потерять свое последнее утешение. И потому с прежнею холодностью и твердостью разговор был обращен на другой предмет.

Вскоре доложили о Вольнском. При имени его Мариорица, казалось, ожила, она не старалась оправиться, она в одну минуту оправилась, воскреснув душою.

Артемий Петрович вошел. Если б он видел, какой взгляд на него бросили! Это был целый гимн любви. Чего в нем не было? моление, упование, страх, покорность, любовь земная, судорожная, кипящая, и любовь неба с его глубокою беспредельностью, с его таинственным раем. Но другой взгляд... о! он пронизал бы вас насквозь холодом смерти. Артемий Петрович вошел и не удостоил взглянуть на нее, предан-

ный ли своей новой любви к жене, или делу друзей и отчизны.

«Может статься,— думала Мариорица, утешая себя,— он мстит мне за то, что я не пришла на свидание, мною ж назначенное! Не мог ли он подумать, что я насмеялась над ним? И то может статься, что он сберегает меня от подозрений... Один утешительный взор любви ничего более, а там хоть погибнуть!»

И этого взора не было.

— Артемий Петрович,— ласково произнесла государыня,— вы читали мое желание?

— Оно будет выполнено, ваше величество!

— Завтра?

— Завтра, в час, который вам угодно будет назначить.

— Слышите, ваша светлость?

— Разве кабинет-министр в первый раз себя обольщает несбыточным? разве он в первый раз говорит так необдуманно? — сказал Бирон, не удерживая более своей злобы.

Кружева на груди Волынского запрыгали; но он сделал усилие над собой и отвечал сколько мог умеренней:

— Благодарите присутствие ее величества, что я не плачу вам дерзостью за дерзость. Волынской никогда, даже вам, не изменял своему слову, хотя б это стоило ему жизни.

— Но знаете ли, государь мой, что делается между людьми, снаряженными на праздник и вам порученными?

— Более, нежели вы думаете, государь мой! Знаю, что одного из них, именно малороссиянина, вам угодно было исключить из списка живых. Да это для вас, сударь, такая безделица! Человек!.. к тому же русской!.. ну, стоило ли из этой дряни хлопотать! Однако ж вы сами тотчас же поспешили заменить его другою живою, подставною куклой.

— Сказка, вами сплетенная! тысяча вторая ночь, которою прекрасная ваша пленница ищет убаюкать вашу скуку и, может быть, оградить вас от наказания нашей правосудной владычицы!

— Клевета, которою вы вместо надгробной надписи хотите скрасить памятник над своими мертвецами,

чтобы они не пугали вашей младенческой совести! Гм! поставьте лучше из целой России великолепный мавзолей.

— Боже мой! да эти буяны так забылись в присутствии моем, что у меня в ушах ломит от их крику. Пожалуй, чего доброго, возьмутся за святые волосы!.. Я обоим вам приказываю замолчать,— вскричала грозно государыня,— я это все разберу после, в свое время. Все ли у вас пары налицо? — прибавила она, немного погодя, смягчив голос. Обращение было сделано к кабинет-министру.

— Все, государыня!

— Опять неправда! — воскликнул Бирон.

— Докажите.

— Цыганка Мариула вчера с ума сошла (при этом слове княжна помертвела, встала с своего места, чтобы идти, и не могла); полиция вынуждена была посадить ее в яму.

— Та самая, которая?..— спросила было государыня.

— Гадала некогда вашему величеству,— подхватил герцог.

— С ума со...? — и государыня не договорила.

Там, где стояла княжна Лелемико, послышался глухой стон, будто грянулось что-то тяжелое оземь. Все оглянулись — княжна лежала недвижимо на полу.

— Боже! ее убили! — закричал Воынской, схватив себя за голову, и первый бросился подавать ей помощь, за ним Бирон.

Но государыня, несмотря на то что перепугана была так, что дрожала всем телом, дернула сильно за шнурок со звонком, чтобы прибежала прислуга, и сердито указала дверь герцогу и кабинет-министру, при молвив:

— Прошу уволить от ваших нежных попечений. Снявши голову, не плачут по волосам. Ступайте...

— Не пойду, ваше величество! — вскричал Воынской, став на колена подле княжны и схватив руку ее, которую старался согреть своим дыханием.

— Какой позор!.. и меня заставляют смотреть на него!.. Вы хотите быть ослушником?..— сказала грозно

императрица,— не заставьте меня в другой раз повторить.

Во время этого ужасного спора подданного с своею государынею Бирон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась.

— Теперь пойду,— сказал Вольтинской, встал, посмотрел еще на княжну и вышел; герцог за ним.

Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Бирон сказал с коварною усмешкою своему врагу, шедшему в глубокой горести:

— Полюбуйтесь своим дельцем.

Не было ответа. Может статься, Вольтинской, убитый тем же ударом, который поразил княжну, не слышал насмешки; может статься, не находил слов для ответа, потому что, оборачивая брошенный ему жетон на ту или другую сторону, везде читал: *«достойному награда»*. Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терзания бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радости, честь, может быть и жизнь; сумасшествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами,— все, все дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле; зато путь к нему был усыпан такими розами!..

Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который слышит, что за горою режут лучшего его друга. Стоны умирающего под ножом разбойника доходят до него и отдаются в его сердце; а он не может на помощь — ужасная гора их отделяет. Все, наконец, тихо, все мрачно вокруг него... Или не скорее ль можно сравнить состояние его с состоянием человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним?

### Глава III

## МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

С этим адом в груди приходит он домой. Взоры его дики; на лице сквозит нечистая совесть; вся наружность искомкана душевною тревогой. По обыкновению, его встречают заботы слуг. Неприятны ему их взгляды;

каждый, кажется, хочет проникнуть, что делается у него в душе.

— Прочь к черту! — говорит он им ужасным голосом.

И все с трепетом удаляются, объясняя себе по-своему необыкновенное состояние барина. В тогдашнее время не было в домах ни мужчиной, не жениной половины; все было между ними общее. Не желая встретить жену, Во-лынской нейдет в дальние покои и остается в зале; то прохаживается по ней тяжелыми, принужденными шагами, будто совесть и в них налила свой свинец, то останавливается вдруг, как бы нашел на него столбняк. Он желал бы убежать из дому, от семейства, от всего света, в леса дремучие, в монастырь; он желал бы провалиться в землю. Везде преследует его кровавое пятно; на всем белом видит он этот ужасный знак.

Наталья Андреевна, узнав, что он возвратился домой, спешит к нему. Он холодно принимает ее ласки; на все вопросы ее, нежную заботливость отвечает несвязно, сухо, едва не с сердцем. Мысль, что с ним случилось несчастье, тревожит ее, она умоляет его открыться. Он грубо ссылается на хандру. Но слезы, блеснувшие в ее глазах, пробивают, наконец, путь к его сердцу. «Довольно и одной жертвы! не эту ли еще убить за любовь ко мне?» — думает он, старается ее успокоить, увлекает в свой кабинет, целует ее и силится забыться в ее ласках. Доброе, милое это существо радуется своей победе, торжествует ее разными пламенными изъяснениями любви своей; она уже не та тихая, только что нежная супруга, которую некогда упрекал Волынкой в холодности, — она страстная любовница, утончающая свои ласки; она плачет от упоения любви. Но что с нею вдруг?.. Она отпрянула от него, как будто сам сатана ее укусил; она дрожит, будто провели по всему ее телу замороженным железом.

Безумный! среди пламенных изъяснений любви, забывшись, он произнес: *милая Марио...* и уста его, не договорив околдованного слова, оледенели, и волос его встал дыбом.

— Что же вы, сударь, не доканчиваете? — сказала Наталья Андреевна, судорожно усмехаясь. Она хотела продолжать, но не могла: ревность задушила ее.

Артемий Петрович почти насильно обвил ее своими руками, как бы заключил ее в волшебный круг, из которого она не могла высвободить себя, целовал ее руки, умолял ее взором; но она, вырвавшись из его объятий, оттолкнула его.

— Прочь, прочь, обманщик, негодный человек! — говорила она, рыдая. — Так вот ваша любовь! вот мое сокровище, за которое я не хотела всех богатств мира и за которое нельзя дать гроша!.. Прекрасная любовь! В то время как меня ласкаете, как я думаю быть счастлива, сколько может быть счастливо божье создание, у вас на уме, в сердце ваша молдаванка; ваши ласки, мне расточаемые, принадлежат другой. Я только болванчик, кусок дерева, на котором вам угодно примеривать ваши нежности вашей прелестной, божественной Мариорице. Нет, этого более не будет; я не дойду более до такого позора... И вот причина вашей горести!.. Зачем же было меня обманывать? Давно б мне просто сказать: ты мне постыла, я люблю свою молдаванку, одну ее! Мне было бы легче!.. Повторите мне это теперь и оставьте меня; расстанемся лучше... У меня будет кого любить и без вас — со мною останется мой бог и спаситель, которого вы забыли!..

И несчастная рыдала, ломая себе руки. Ревность заставляла ее говорить то, что она, конечно, не в состоянии была б выполнить. Артемий Петрович стал перед нею на колена, уверял, что хотел ее испытать, божился, что ее одну любит, что ее одну ввек будет любить, что к Мариорице чувствует только сожаление. Истинная любовь легковерна. Наталья Андреевна поверила, но наперед требовала, чтоб он подтвердил свою клятву пред образом спасителя. И он, как бы в храме, перед алтарем, подтвердил ее со слов Натальи Андреевны, диктовавшей ему то, что он должен был сказать для успокоения ее. В этом случае он не думал лицемерить ни перед нею, ни перед богом: от любви к Мариорице, возмущенной такими неудачами и несчастьями, лишенной своего очарования, действительно осталась только глубокое сожаление; но это чувство так сильно возбуждало в нем угрызения совести, что он готов был желать себе скорее смерти. Жизнь его опутана такими дьявольскими сетями; один конец ее мог их разрубить. Любил

он истинно свою жену? Да, он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца; но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце, измученном страстью, раскаянием, бедствиями Мариорицы, страхом быть уличенным в связи с нею, бедствиями отечества? Сердце его была одна живая рана.

Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала ее за все потери на земле, осушала ее слезы, святילה для нее земные восторги, обещала ей все прекрасное в этом и другом мире. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, она прошла в свою спальню и там молилась, усердно, со слезами, чтобы господь сохранил ей любовь, супруга, который после бога был для нее дороже всего.

Успокоив ее, Волинской хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала этого утешения. Он принялся писать к Мариорице. Но при каждом скрипе шагов в ближней комнате, при малейшем шорохе дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не она ли идет?.. Ну, если застанет его над письмом к своей сопернице! Артемий Петрович, кажется, боится шелеста от собственных своих движений. Кабинет-министр, который некогда смело шел навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалый, отважный во всех своих поступках, трусит ныне, как дитя.

Дверь на запор.

Письмо, которое он писал к Мариорице, было орошено слезами, так что по нем сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слезы и бросить письмо под кипу бумаг; рука, дрожащая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Перокин и Щурхов. Тысячу проклятий их безвременному посещению! Политика и дружба для него теперь гости хуже, чем татары для бывалой Руси. Однако ж велено просить друзей.

Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что правое их дело начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны

своим освобождением молдаванской княжне! Волинской и не принимает на себя успеха этого дела, а приписывает его только великодушию государыни. Беседа освятилась новою клятвою друзей действовать решительно против врага России и, если он не будет удален от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость.

Как доволен был хозяин, когда гости удалились! Он продолжал и кончил письмо. Арабу поручено доставить его во что б ни стало и сейчас.

Когда княжна была приведена в чувство и государыня оставила ее в ее спальне, уверенная, что ей лучше, горничная ее Груня наэлектризовала ее одним прикосновением к руке. В этой руке очутился клочок бумаги, могучий проводник, возбудивший ее к жизни, полной, совершенной, к жизни любви. При этом было произнесено три волшебные слова: «От Артемия Петровича». Кажется, она встала из гроба и услышала райское пенье. Глаза ее заблестали по-прежнему, грудь ее взволновалась. «Что бы ни было в этой записке,— думала она, целуя ее с восторгом,— я уж счастлива — это знак, что он помнит обо мне».

Задыхаясь, она читала письмо:

«Безумный! до чего довел я тебя?.. И вот небо, которое тебе обещал! Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастье? Скажи, милая, бесценная Мариорица, научи меня. Одно слово, одно твоё желание — и я спешу исполнить его, хотя бы стоило мне то жизни, хотя б я должен купить твоё благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду — напиши одно слово о своём здоровье. Ради бога, укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может его носить. Я не усну, если не получу от тебя ответа».

Половина того, что писал Волинской, была ложь; но она сделала свое действие — успокоила, утешила Мариорицу, и цель его была достигнута. Княжна отвечала:

«Ты обещал мне небо на земле — и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? ведь ты не бог! За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне тысячу мук, все не покроеет этого блаженства. Ты



с своей стороны мне ничего не должен — ты дал мне более, нежели я ожидала; с тобою узнала я благо, какого и самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь мое дело жить и умереть для тебя, для твоего спокойствия, счастья и славы.

Ты плакал? следы твоих слез остались на бумаге — о! для чего пали они на нее? для чего не могла я выпить их моими поцелуями? Боже! и я виною их...

Мне сделалось дурно от слов этого злого человека, Бирона; я к этому не приготовилась, еще не привыкла. Но с этой минуты даю тебе слово не потревожить тебя и тенью огорчения; буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг; сны твои да будут так радостны, как теперь сердце мое».

Ни слова о неудаче свидания, о болезни своей, ни слова о цыганке: она все забыла; она помнит только своего обольстителя. Сердце ее благоухает только одним чувством — похожее на цветок хлопчатой бумаги, который издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь: отпадает червь, и благоухание исчезает.

Прочитав письмо, Волынской несколько успокоился; оно убавило его совесть, но и в дремоте ее виделись ему страшные грезы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. Ту же участь имели прежние письма к нему Мариорицы: так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрек жены. Воспоминания прошлой любви его к княжне разгорелись было при этом случае; он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира *обстоятельства* сняли лучи, которыми любил он ее убирать во дни своей страсти, из которых он свил было для нее такой блистательный венец, и сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидна была двусмысленная роль его: надобно было обманывать и любовницу и жену, столь горячо его любивших. Волынской сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежнею силою и благородством души?.. Всякая жертва требует очищения.

Зуда и на этот случай сказал свое пророческое слово.

## Глава IV

### КУДА ВЕТЕР ПОДУЕТ

Нечистая каморка, худо освещенная сальным огарком в железном подсвечнике. На полках — множество фолиантов с важною и преважною физиономией; большая часть с надгробною надписью: Rollin<sup>1</sup>. На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами; деревянная чаша, пара оловянных ложек, мышеловка, бутылка, заткнутая бумажкой, и еще кое-какая посуда, довольно нечистая. Стол с бумагами, из которых одна кипа придавлена кирпичом (sigit:<sup>2</sup> сын Одиссея\*, родившийся на острове Итаке, взлелеянный Минервой\* и Фенелоном и зарезанный в Санкт-Петербурге профессором элоквенции); тут же — великанша-чернилица, надутая, как... (не скажу кто, чтобы гусей не раздражить), песок в коробочке, сложенной из писчей бумаги, и железные съемцы\* по образу адамовых. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины, и одеялом служит тулуп. К стене жметя портрет с бородавкою; подле него туго насаленный парик и хлопущка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом, — для вытягивания их нужна бычачья грудь. Роллень? нечеловеческие стихи? бородавка? А! тут, верно, живет любитель муз Тредьяковский. Василий Кириллович занимает одно из седалищ. Голова его с обнаженною макушкою представляет целый земной шар; с одной стороны к свечке, служащей солнцем (как в свете нередко случается, что сальные огарки служат иным солнцами), сияет лучезарный полдень, далее рассвет, ночь и сумрак. Против него, на другом стуле, молодой офицер с красным носом. Ба! да это его благородие Подачкин. Видно, беседуют.

П о д а ч к и н. Смотри ж, не забудь. Тебя потребуют к государыне — ты прямо в ноги и расскажи, как страдал тебя Воынской виселицею, плахою, хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он

---

<sup>1</sup> Роллен (франц.).

<sup>2</sup> Здесь погребен (франц.).

вдовец и не станешь носить его писем; как заставлял тебя писать вирши против ее величества и раздавать по народу...

Тредьяковский. Заставлял, конечно... но я и вознести мысль не посягнул.

Подачкин. Уж, разумеется, братец! Слышь? перевернешь и не доврешь, в караульную, на палочную.

Тредьяковский. Возягте упованием своим на меня, как на адамантов камень. Чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые ниспосылает на меня его светлость! Да не дозволите ли утруждать ваше благородие. Вы, как особа, обретаетесь при высокостепенном господине... удостойте презентовать его светлости недостойное мое стихосложение, в честь его персоны составленное?

Подачкин (качаясь на стуле). А почему ж не так, почему ж? Однако не худо, братец, понимаешь... ну, ты сам разумная голова... без мази и воз с места не тронется, а с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню к герцогине.

Тредьяковский отпирает сундук, вынимает из кошки<sup>1</sup> целковый и вручает его с поклонами.

Подачкин. Я там видел у тебя другой.

Ты раздайся, расступись, туга киса,  
Хоть глазком одним мигни, моя краса!

И другой целковый — тут было почти все денежное богатство Василия Кирилловича — отдан милостыни раздавателю его светлости. Но золотые горы и слава были впереди.

Тредьяковский. Соблаговолите ли, ваше благородие, дозволить прочесть вам поднос мой?

Подачкин. Похвально!.. (Сынок барской барыни играл уже роль покровителя наук.) Не худо бы, однакож, при этом винца.

Желание его благородия было исполнено, и попойка началась. Между тем Василий Кириллович читал ему стихословный акростих в честь герцога курляндского, благодетеля и просветителя России, Аристида \*, Фемистокла \*, Солона \* и несколько раз Мецената \*.

<sup>1</sup> Кошельки делались из кошачьей кожи, почему и назывались кошками, от того ж должно происходить и слово киса (прим. det.).

Подачкин (*перебивая его*). Похвально, ей-ей, хотя не понимаю! Да ты, черт побери, на виршах собаку съел. Знаешь ли, братец, напиши что-нибудь на свадьбу моей матери. Шут бы ее взял, славная матка!.. Воспоила, вскормила меня, в офицеры вывела да сама себя не за- была...

Тредьяковский. За особенное себе удовольствие должен почитать и с отменною ревностью готов вам таковым стихословием моей работы презентовать. На всякую потребу я изготовил преизящные эпиталамические<sup>1</sup> стихи, которые, без сомнения, пригодны будут и на бракосочетание вашей высокой матери.

Подачкин. Что высока, то высока, четырнадцать вершков мерных! Однако, братец, доходит ли ваше мастерство до того, чтобы твои стихи на бракосочетание можно тотчас, лихо, переделать в стихи на смерть?

Тредьяковский (*с гордостью охорашиваясь*). Чего мы не возможем?.. О! го, го!.. И доложить вам осмеливаюсь, что стоит только некоторые слова, резвунчики, прыгунчики, как горные козочки, вытеснить, а на место их вогнать траурные и тяжелые, как черные волы, с трудом раздирающие плугом утробу земную. Однакож дозвольте обратиться к предпринятому мною труду в честь его светлости, великого покровителя наук и благодетеля России.

И Василий Кириллович, надуваясь, читал свой панегирик, и новый валет высших вальтеров герцогских допичал свою бутылку. Между тем неслышными шагами вошел в комнату старичок, едва ли не семидесятилетний, худощавый, бледно-восковой, с серебряным венцом из волос, с редкою седою бородкой, в черном русском кафтане, подпоясанный ремнем, — настоящий мертвец, которого требовала к себе земля! Одни глаза обнаруживали в нем жизнь, и жизнь мощную, пламенную. Это был дядя нашего стихотворца, некогда учитель в Киевской академии и потом служка тверского архиепископа Феофилакты Лопатинского, который за то, что не хотел отложиться от убеждения, проникшего ум и сердце его, но неприятного временщику, был схвачен от священнодействия в полном облачении и брошен в Петербурге в

---

<sup>1</sup> Свадебные (*с греч.*).

смердную темницу. Увидав старика, племянник стал в тупик.

— Продолжай, племянничек, продолжай! — сказал служка, усмехаясь пронзительной усмешкой, — прибавь к своим похвалам новый подвиг благодетелю России! новый кровавый стих к твоим великолепным виршам!

Старик расстегнул на себе поясный ремень, спустил левый рукав кафтана и рубашки, отчего обнажилось плечо. Оно было изрыто кровавыми бороздами; кровь, худо запекшаяся, струилась еще по остову старца.

Тредьяковский смутился.

— Что, друг? не правда ли, стоит твоего панегирика? — продолжал он, одеваясь. — И это все он! твой Аристид, твой Солон и Фемистокл!.. За то, что я осмелился сквозь решетку тюрьмы подать моему архипастырю, моему благодетелю и отцу, чистую рубашку — три месяца носит одну, не скидая; гнезда насекомых источили уж ее! Вот человек — ирой!.. Отрекся ли он от своей веры, лишенный посоха своего, церкви, божьего света, воздуха, изгложенный червями и болезнями? Вымучили ли из него пытки хотя одно слово против его совести?.. Его бы славить, его бы воспевать!.. Где вам!.. На вас только облик человеческий, а так же ползаете, как четвероногие. Вам скорее награду здесь, на земле, хоть медный грош, лишь бы не даром!.. А небо? О! никогда не гляделось оно в вашу душу, никогда не тянуло оно ее к себе; ни одна йота из языка человека с богом не тревожила вас дивным восторгом! Твое сердце бежало ли когда на уста вместо слов? беседовал ли ты когда с этим богом слезами? Несчастный! ты из этого ничего не знаешь. Камень камнем и будет. Продолжай, любезный, подноси на коленях свое стихотворное вранье: сын времени погладит тебя по головке, может статься, окутает тебя в свою ливрею, озолотит тебя и поставит на запятки. Но, знай! внуки наши обрекут тебя достойному позору, оплюют твои подлые творения. Слышишь?.. громы надо теперь на палачей, ужасные громы неба, а не чиликанье синиц под ружьем охотника, не бляенье овец под ножом мясника! И грянет этот гром! Горе вам тогда! Слышишь ли?..

Голос вдохновенного старца умолк — может статься, последняя его лебединая песнь на земле. Он исчез.

Долго еще племянник слушал его, поверженный в ничтожество громовыми истинами старца, как бы приходившего на миг из гроба, чтобы обличить его в раболепстве. Подачкин, разинув рот, слушал также, ничего не понимая. Налитый стакан стоял нетронутый.

Наконец Василий Кириллович одумался, встал, подошел на цыпочках к двери и припал к ней ухом: никого! Отворил ее — никого! Тут он осмелился произнести:

— Сумасшедший! накупается каждодневно на побои: то нянчится около своего архиерея, дерзнувшего воспротивиться власти его светлости, то шляется по караульням, воздвигает на него ненависть солдат и предсказывает восшествие на престол Елисаветы Петровны. Кончить ему неблагообразно!

Василий Кириллович начал опять читать свой *поднос*, но чтение было опять прервано. Вошел в каморку кабинет-секретарь Эйхлер. Подачкин вытянулся во фронт; хозяин встал, смутившись, и приветствовал гостя как мог; но этот, не дав ему расплыться в многоглаголаннии, отвел его в соседнюю, еще меньшую, каморку. Здесь шепотом объявил, что все усилия произвести Василия Кирилловича в профессора элоквенции остались тщетны, потому что фаворит решительно падал и судьба его на волоске. Целая свита сожалений, вздохов, жалоб на несправедливость людей и переменчивость фортуны следовали за этим объяснением. Стук-стук, новый гость — и кто ж? Зуда, которого не видали целые веки. Никогда еще каморка Тредьяковского не имела у себя столько разнородных посетителей. Разумеется, что поклонение пиита обратилось к восходящему солнцу, и Эйхлер вынужден удалиться.

Тут Волинского торжество было объявлено во всеуслышание, так что и Подачкин струсил. Не обошлось, однакож, без новых тайных переговоров в соседней каморке, где Василию Кирилловичу предлагали милости, какие ему самому угодно будет назначить. Заслуги его умели всегда ценить, но случая не было к награде; теперь этот случай представился и спешили им воспользоваться. Взамен требовали только: в случае спроса государыни сказать, что он действительно был вчера у Волинского и от него пошел давать урок княжне Лелеми-

ко, у которой оставил свою книгу (а были ли в ней бумаги, ему неизвестно), и потом насчет связи кабинет-министра свалить всю вину на Бирона, который будто бы угрожал Василию Кирилловичу виселицею и плахою, если он не поддержит этой связи и не заверит княжну, что Воынской вдовец. Да это безделица!.. Василий Кириллович полезет для его превосходительства, своего благодетеля, покровителя и мецената, в огонь и в воду. Пошли уверения, клятвы, всепокорнейшие, всенижайшие, вседолжнейшие, так что крошечный Зуда едва не задохся от них. Кончилось тем, что два серебряные рублевика после упорной битвы были отняты пинтом, сильным, как Геркулес, и возвратились в свое прежнее обиталище, и новое его благородие согнато с Парнаса \* в толчки:

Ведь Парнас гора высокая,  
И дорога к ней негладкая.

## Глава V СВАДЬБА ШУТА

Гимен на торжественной ехал колеснице,  
Купидушки ту везли, прочие шли сиде.

Т р е д ь я к о в с к и й \*

Приданого за ней полмиллиона,  
Вот выдали Матрену за барона...

И сделалась моя Матрена

Ни пава, ни ворона.

К р ы л о в \*

Назначенный праздник не был отменен. По особенной привязанности к княжне Лелемико государыня хотела им воспользоваться, чтобы показаться вместе с нею придворным и тем отразить стрелы клеветы, которые могли на нее посыпаться. Она верила любви Мариорицы к Воынскому — и как не верить? свидетельства были слишком явны: бедная не умела скрывать свои чувства, — но в голове Анны Иоанновны развилась мысль сделать эту любовь законною... На это довольно было одного ее царского слова.

При докладе Воынского, что шутовская свадьба снаряжена, с ним обошлись необыкновенно милостиво. Что,

казалось, вело его к гибели, то послужило к выгодам его. Каких же странностей нет на свете! Прошу угадывать, где встать, где упасть. Напротив, к изумлению всего двора, Бирон был принят чрезвычайно холодно. Он хотел говорить о предмете, лежавшем у него на сердце, и не имел возможности: сначала речь его перебивали, потом решительно объявили, чтобы он не смел упоминать о княжне. За то оплатил он при выходе из внутренних комнат, хлопнув сильно дверью.

Тигра вводили в клетку, но боялись еще запереть ее; он знал свою силу и играл железной клеткой, входя и выходя из нее. Никто не смел говорить об охлаждении к фавориту — не верили ни слухам, ни глазам, боялись даже верить, чтобы не проговориться; хотели скорей думать, что тигр притворяется спящим.

Праздник! народный праздник! какое магическое слово для толпы! Полно, для одной ли толпы? Это слово не клич ли к общему веселию? И кто ж не хочет забыться от забот здешней жизни, вкусив хоть несколько капель у фонтана этого веселья, бьющего для всех и про каждого? Мужичок окунает в нем свою бороду, так он жаден напиться его до безумия; мудрец — хоть и мудрец, с припевом из Соломона «*все суета сует*» \*, осторожно, исподтишка, лезет тоже, за щитом густой бороды черни, испить с отдыхами ковшичек удовольствия — народного, грубого, как он называет его, но все-таки удовольствия. Накрой же кто его на этом ковшике любимую его сентенциею: «*все суета сует*», у него тотчас готова оговорка: ведь надобно ж было испытать, какова водица, чтобы описать ее свойства! А все это сведем к тому, что все мы не прочь от народных увеселений.

Не пользуясь Мафусаиловою жизнью \*, мы не могли быть на празднике, который в последний год царствования Анны Иоанновны дан был по случаю свадьбы пажы и шута ее Кульковского. Постараюсь, однакож, описать праздник, будто сам видел его. А отчего так хорошо его знаю, то извольте знать, слышал я об нем от покойной моей бабушки, которая видела его своими глазами и вынесла из него рассказов на целую жизнь, восторгов на целую вечность, если б вечность дана была в удел моей бабушке.



Итак, просим ко мне под бочок: смотрите ж, что я буду вам показывать.

Видите ли? становится на площади между Зимним дворцом и ледяным домом карета золотая, десятистепольная, запряженная восьмью *неаполитанскими* лошадьми. Что за кони! будто писанные! Сбруя пылает на них, страусовые перья развеваются на головах; снег курится из-под ног, тонких, как у оленя. Пиф, паф бичом — как ково ж рисуются! Благородная кровь означилась струями по атласу их шерсти. Двенадцать пеших гайдуков идут по бокам цуга, готовые смирить рьяность коней в случае, если б забыли узду и бич. Кучера в треугольных шляпах с позументами, из-под которых прицеливается в карету длинная коса, в откидных ливрейных шубах, исписанным блестящими галунами, в башмаках и шелковых чулках с огромными пряжками. Паж унизали карету ожерельем, которому служат как бы замком два араба в золотых шубах и в белых чалмах. Охраняют ее *двенадцать ездовых сержантов* верхами в гренадерских с плюмажем шапках. В ней сидит государыня, напротив ее княжна Лелемико (кабы знали, что она дочь цыганки!). На лице последней играет уж румянец, в глазах искрится удовольствие. Скоро ж оправилась! Мудрено ли? она уверена, что любима. Позади этой кареты несколько других с великими княжнами и придворными дамами. В одной из них — посмотрите — настоящая русская дева, кровь с молоком, и взгляд и привет царицы: это дочь Петра Великого, Елисавета. Она дарит толпу улыбкой, будто серебряным рублем. Кажется, сердце хочет сказать: «Желанная, царствуй над нами!» Как ей легко увлечь эту толпу! Невыгодно сравнение с нею для Анны Иоанновны, смуглой, рябоватой, с длинным носом, тучной, мрачной. Прибавьте к неприятной наружности потворство ужасному Бирону и можете судить, почему ее прозвали грозною, когда она, в самом деле, не была такою. Заметьте и эту молоденькую женщину в придворной карете — милое, дутое личико, на котором набросано кое-как простодушие, доброта, ветренность. Это Анна Леопольдовна, супруга герцога Брауншвейгского. Кто бы подумал, что ей предоставлено сменить временщика и править государством? Кому, однакож, как не голубке принести ветвь мира человечест-

ву, усталому от казней! К карете нередко подъезжает муж ее, незначашее лицо, и стѣтнѣй, красивый Линар, этот очарователь... Но я расскажу вам когда-нибудь в другое время их историю. Вот и карета герцога курляндского, с его гусарами, скороходами, егерями и пажамы. Он ослепляет великолепием своего экипажа и прислуги и красотою лошадей; он давит толпу своим грозным взором и именем. Жена его с ног до головы облита корою алмазною: знатоки ценят их в два миллиона. Вот и фельдмаршал Миних верхом — герой, инженер, честолюбец, волокита, любящий страстно ветчину с сахаром и женщин, но более всего славу. Посмотрите, как он увивается около кареты С...вой \* (дочери В...ва) \*, первой красавицы при дворе — первой, хотел я сказать, после княжны Лелемико. Она небрежно отвечает ему; отуманенные грустью взоры пронзают толпу всадников и ищут между ними молодого В...ва, двоюродного брата ее, к которому пылает страстью преступной. Зато муж ее у ног прекрасной княжны Т...ой \*, венчающей его не одними надеждами. Но слышали ли вы про чудную смерть С...вой и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде, под стеклянным колпаком, и проч.?..

О господи! положи на уста мои хранение. Когда-нибудь, если удастся, расскажу все, что я про них слышал от девяностолетнего старца <sup>1</sup>, которому тайны их жизни были известны, как его собственная спальня. А теперь станет ли меня управиться и с настоящим рассказом!

Какой щегольской съезд! Играют волны страусовых перьев; переливается блеск золота в блеск алмазов; бархаты пышут яркостью своих цветов; черные соболя нежатся на женских коленках. Какое отборное собрание женщин! какие хорошенькие, свежие лица, будто сейчас умылись снегом или с серебра под первый весенний гром! Горят опасные взоры их или проблескивает на вас из-под длинных ресниц луч потаенный. Кокетничают и красавицы лошади. Все блестит, все радуется снаружи. Зато какой хлам становится за придворными экипажами. Чего тут нет? Вот курятник, из которого выглядыва-

---

<sup>1</sup> От него ж узнал я историю молдаванской княжны Лелемико (прим. авт.).

ет жирная насадка с полдюжиной хохлатых птенцов; вот человеческая мумия под белым париком, прилепленная к своему седалищу, устроенному в богатом берлине, который везут четыре лошадиные мумии веревочными построюками; она боится малейшего толчка, чтобы душа не вылетела из нее вон. Думаю, что и в соседней карете, со взводом прислуги в нарядной ливрее на запятках, барыня, разряженная, как жар-птица, при каждом ухабе дрожит не менее старика,— не за душу свою — кажется, душонки-то и нет у нее, а за свои соколиные брови, за жемчуг своих зубов, за розы и перловую белизну лица, взятые напрокат. Тут найдете в экипажах живые колоды карт, живые корзины с цветами, свежими и поблекшими, простыми и расписными, индейских петухов, ветвистых оленей и прочее и прочее, что и ныне можете найти на всяком съезде. Какая смесь вкуса с безвкусием, блеска с чернотою, великолепия с недостатком! Настоящая вывеска необразованности тогдашнего времени! Только два-три экипажа вполне щеголевато снаряжены, и в числе их карета Вольнского. В ней сидит супруга его, счастливая, гордая им, только им и — разве плодом любви их, который носит под сердцем. Какая мысль блеснула в голове ее и Мариорицы; что почувствовали они, когда издали взглянули друг на друга в первый раз? Уж, верно, не Наталья Андреевна завидовала участи княжны, сидящей с государыней. Сам Вольнской разъезжает на саниах, чтобы удобней распорядиться всеми частями праздника.

Однако ж внимание, господá и госпожи! Не заглядывайтесь так на прекрасную, бледную княжну Лелемику и пригожую супругу кабинет-министра. Знаю, что обе загляденье. Одною, говорите вы, любуетесь, как звездою любви на роскошном ложе неба, как обольстительною девою, которая должна украшать рай магометов: все помыслы о ней — соблазн, грех, бессонница, видения, бунтующие кровь вашу. Другою восторжены вы, как Мурилловым \* идеалом, на который, кажется, боишься глядеть не душевными очами, которого взгляд соучастия дает крылья, чтобы лететь на небо христианское. Знаю, что вы колеблетесь, кому из них отдать золотое яблоко; но теперь не время играть роль Париса. Итак, прошу внимания, господá и госпожи!

В голове шествия — рота гвардейцев; треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвями, у офицер лаврами — так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода. Проходя мимо императрицы, они приветствуют ее громким «*виват!*».

Вот выступает огромный слон — сильное, мудрое животное из числа четвероногих, которое, однакож, повинуетя, как вы видите, маленькому двуногому животному, может быть и довольно глупому. Но этот простачок получил от одного лукавого выскочки из своего рода талисман — молоток, которым он, сидя на его хребте, долбит силача и мудреца в голову и управляет им как хочет. Тяжело выступает слон в теплых котах. Но каких это двух зверьков везут на спине его в огромной железной клетке, утвержденной к ней подпругами? Народ, несмотря на присутствие императрицы, встречает их радостными восклицаниями, хохочет, плещет руками. Поезжай они на слоне и не в клетке, народ не посмел бы смеяться! Эти зверьки, судя по образу их, человеки. Один — Кульковский, другой — супруга его, бывшая Подачкина и барская барыня. Кланяйтесь им, господá и госпожи, и поздравляйте их со вступлением в законное супружество. Они едут из церкви на свадебный обед, провожаемые многочисленным поездом. Напыщенные, как лягушка, собиравшаяся в быки \*, сидят они друг против друга в богатых креслах. Штоф, бархат, золото, вспыхивая от луча солнечного, сквозят через железные прутья клетки, муфты придают новобрачным высокую степень укульного барства. Есть чем и похвалиться: от Баязета \* до них еще никто не ездил в таком чудесном экипаже; а Баязет, как вы изволите знать, был не мелкая спица в колеснице мира — легко сказать, султан!

Любезная старина! завидная старина! Увы! теперь не повезут человека в железной клетке!..

С какой высоты смотрят новобрачные на толпу! Все мало и низко перед ними. С каким самодовольством озираются они! Не для них ли съезд двора, стечение всего Петербурга? Для них собрание всей России — все диковинки, нигде еще не виданные! Особенно торжественна госпожа Кульковская: ей пожаловано богатое приданое, хоть бы невесте Миниха; она уж столбовая

дворянка, может покупать на свое имя крестьян и колотить их из своих рук; мечты о столе царском, где сядет рядом с женою Волынского, бывшею своею барынею, о пирах и более о наказаниях, которые будет рассыпать, кружат ей голову. Осмелся кто из ее крестьян пискнуть перед ней: кликнула — заплечный мастер садится на облучок ее повозки — летят, приехали, и по ее мановению, без дальнего суда, расправа готова. Все дело нескольких целковых и власти боярской. Чудные времена, славные времена!.. Госпожа Подачкина опьянела от восхищения, и ей не верится, что она на такой высоте почестей и могущества.

Глядите, глядите, что за странный поезд тянется за экипажем новобрачных! Честь первых за ними принадлежит остякам, или, лучше сказать, оленям, на которых они едут. Красивые животные дрожат и упираются; от страха по шерсти их перебегают тени. За ними новгородцы на паре козлов, малороссияне на волах, чухонцы на ослах, татарин с своею татаркою на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи. Тут и рыжеволосые финны на крошечных конях, камчадалы на собаках, калмыки на верблюдах, белорусцы под войлоком колтуна, зыряне, которых честность могла бы поспорить с немецкою, ярославцы, взявшие верх на этой человеческой выставке статью, красотою, щегольством наряда, и так далее, все сто пятьдесят разноплеменных пар, каждая в своем народном костюме, на отличной паре животных, в различных саях и салазках. Блеянье, лай, мычанье, рев, ржанье, звон бубенчиков и колокольчиков — какая чудная музыка при этом диковинном поезде! Опять скажу, только в России можно было составить такой богатый этнографический праздник. На одной площадке собрались весь север Азии и почти весь восток Европы: для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терема.

По воле государыни поезд сделал два оборота на Луговой линии и тянется к манежу Бирона. Там приготовлен обед для новобрачных и гостей. Стол накрыт на триста три куверта. Музыка, составленная из труб, гобой и литавр, встречает поезд. Садятся за стол чинно, парами, в том порядке, в каком ехали,—

разумеется, князь и княгиня свадьбы на переднем месте. Перед каждою парюю поставлено национальное ее кушанье.

Государыня с своею свитою расположилась на возвышении под балдахинном. Около нее составляется блестящая гора дам и кавалеров.

За обедом Тредьяковский громогласно произносит стихи «собственной работы»:

Здравствуйте женившись, дурак и дура,  
Еще... тотa и фигура!  
Теперь-то прямое время вам повеселитца,  
Теперь-то всячески поезжаным должно беситца.  
Ну Мордва, ну Чуваша, ну Самоеды!  
Начните веселье, молодые, деды!  
Балалайки, гудки, рожки и волынки!  
Сберите и вы бурлацки рынки.

. . . . .  
Ах, вижу, как вы теперь ради!  
Гремите, гудите, брянчите, скачите.  
Шалите, кричите, пляшите!  
Свищи, весна, свищи, красна!

. . . . .  
И так надлежит новобрачных приветствовать ныне.  
Дабы они во все свое время жили в благостыне.  
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.  
Здравствуйте ж женившись, дурак и дурка,  
Еще... тотa и фигурка! \*

Государыня рукоплещет, именует Василия Кирилловича придворным пиитом, и, по приказанию ее, все ее окружающее осыпает певца рукоплесканием. Он встает, изнемогший под бременем своего торжества. Два пажа берут его под руки и сажают на противный конец стола, где для него поставлен особенный куверт под беседкою из веников. Ему одному нет пары; он единствен. Во время обеда служат ему пажи — честь, равняющая его с Шапеллем \*, если не с Тассом \*.

Обед кончился, начинаются пляски, каждая пара свою национальную. Там пляшет лебедкою русская дева, и около нее увивается соколом ее товарищ; за ними ломаются, как одержимые духом, в шайтанской пляске; далее пристукивают козачка или выкидывают журавля. Тут мчатся степным вихрем цыгане: «Эй, жги, говори! эвое, эван!», и взоры иступленно-красноречивы, и каждая косточка говорит, каждая жилка бьется, и грудь ды-

шит бурею любви. Но что с княжною Лелемико?.. Она бледнеет. Пляшущая цыганка не мать ее, но ее напоминает, и это напоминание леденит все существо Мариорицы. Она старается укрепиться, ищет взорами Волынско-го, находит и оживает. Между тем цыгане пролетели, голос их отдается слабее и слабее, наконец совсем замирает. Новые пары, новые пляски и голоса! И страх и грусть Мариорицы промчались, как мимолетные видения.

Великолепный балет! Испытайте задать нам подобный, господа директоры театров!..

Пир кончен, и новобрачные с своим пестрым многочисленным поездом отправились в прежнем порядке в ледяной дом. Здесь, при звуке труб, литавр и гобой, под хор козлов, быков, собак и ослов, высадили их из железной клетки и отвели с подобающею честью в спальню, где и заперли. Поезд распушен. Часовые приставлены к дому, чтобы влюбленная чета не могла из него освободиться. Каков алтарь Гименею?.. На что ни садятся, к чему ни прикасаются, все лед — стены, брачное ложе, утварь, отсюда пышет на них холод, ближе, теснее, наконец душит, костенит их. Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине, на ледяных свечах; но этот фосфорный огонь не греет — вот и он слабее перебегает по ледяным дровам, цепляется за них, бьется умирая, исчезает... Холодно, мрачно, как под землею! Сердце замерло. Сначала *молодые* селятся побороть холод: то бегают взад и вперед по комнате, пляшут, кривляются, то кувыркаются, то колотят друг друга. Смех, да и только!.. Нет более сил выдерживать. Стучатся в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их, припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб не забыть их благодеяний, обещаются озолотить их. Ничто не помогает. Отчаяние берет верх. От мольбы переходят к проклятиям: все проклинают, что только носит имя человеческое; ломают и уничтожают все, что могут разломать и уничтожить, селятся разрыть стену... наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель... Глаза слипаются, дремота одолевает их более и более; смерть уж протягивает на них руки, усыпляет их, убаюкивает сказками, сладкими видениями; еще одна минута... и они заснули бы навеки. Но утро отрясает уже свои белокурые кудри из-за снежно-

го подзора; начинает светать... К новобрачным входит караульный офицер и, найдя их в предсмертном усыплении, старается их оживить. Их оттирают снегом и относят на квартиру, где помощь лекаря скоро возвращает им жизнь.

В этот день Бирон был чрезвычайно скучен, государыня очень весела, как бы утешаясь победою над своим любимцем и самой собою. Унизительное внимание герцога простиралось почти на каждого из придворных, кроме отъявленных врагов его. Упавший временщик всегда низок.

На следующий день государынею назначено кабинетское совещание по случаю вознаграждения поляков. Твердость ее делала успехи.

## Глава VI ОПАЛА

Грозой утомлено,  
Спит море — тигра сон! не верь ему; оно  
Пред новой бурей так страшно помертвело.  
В. Тепляков \*

В полдень, когда кончились совещания, Эйхлер стоял у дверей государынина кабинета. Под мышкою держал он какие-то бумаги. Его, племянника Липмана, его, преданного Бирону, осыпанного благодеяниями герцога курляндского, избрали для доклада о поляках, решенного в государственном кабинете. Лучшего выбора нельзя было сделать. При этом докладе лукавый ум Эйхлера докончит то, что начали коварство и сила временщика. Тяжкая забота налегла на чело его; по временам трепет губ и рук обнаруживает в нем сильное душевное волнение. То садится он на стул, разбирает бумаги, углубляется в чтение их, с негодованием комкает их в руках, опять складывает; то встает, утирает холодный пот с лица, подходит к окну, смотрит на небо, будто с укоризной, то делает разные странные движения, как бы говоря с самим собой. Это уж не тот двусмысленный, сонный Эйхлер, которого мы видели с его дядей в домашней канцелярии герцога, когда они допрашивали Мари-



улу; это не тот ротозей, который считал на небе звезды, толкнувшись с кабинет-министром на лестнице Летнего дворца; не тот умышленный разгильдяй, приходивший благодарить своего патрона за высокие к нему милости; это, правда, Эйхлер, племянник Липмана, кабинет-секретарь, но Эйхлер обновившийся. Наружность его благородна, отчетлива; на лице его, во взорах резко написаны намерение, цель, подвиг. В душе его ворочается какой-то демон; видно, что ему надобно разрешиться от него.

— К ее величеству! — закричал дежурный паж, отворяя дверь кабинета, и указал туда рукою, давая знать, что государыня уже там.

Невольный трепет пробежал по всему составу Эйхлера; он имел только время поднять глаза к небу, как бы умоляя его о чем-то.

Он в кабинете государыни.

Анна Иоанновна сидела за письменным столом; к ногам ее, покоящимся на шелковой подушке, прислонилась отвратительная карлица, которая по временам слегка терла их. Этот уродец слыл глухою... Кивнув приветливо кабинет-секретарю, ее величество в знак благоволения подала ему свою руку поцеловать.

— Что сделано? — спросила она потом с живым участием.

— Несправедливость восторжествовала, государыня! Все члены подписали вознаграждение, кроме кабинет-министра Вольнского. Он один не изменил ни себе, ни правде: одушевленный любовью к отечеству и преданностью к вашему величеству, он один защищал ее горячо, благородно, как истинному вельможе следует. Каждое слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя зла, падало на сердца его противников; сильные доводы его заставили их умолкнуть. Но герцог уже наперед подписал свое мнение, и все молча, страшась ужасных гонений, подписали за ним свой стыд и унижение России. Простите мне, ваше величество, если я, увлеченный любовью к правде, к пользам вашим и России, слишком смело изъяснился.

Эйхлер говорил с горячим чувством; слова его излетали, как молнии; когда он кончил, по его лицу катились слезы.

Кто бы мог подумать! Эйхлер? племянник Липмана, его сотрудник, клевет и наследник, пестун злодейских замыслов Бирона?

— Ты?.. плачешь? — сказала изумленная государыня, — ты, любимец герцога.

— Ах! ваше величество, если бы вы знали, чего стоила мне эта любовь!.. Теперь, когда она не нужна мне более, в эту решительную минуту, когда я могу все потерять от вашего гнева и все приобрести от ваших милостей, я признаюсь, что моя преданность к герцогу была только личина. Скидаю эту личину, достигнув своей цели: открыть вашему величеству всю истину. Ненавижу Бирона, который угнетает мое второе отечество, покрыл кровавым струпом народ русский и бесславит ваше царствование; ненавижу его милости, презираю их. С тех пор как я узнал все благородство души Волинского, я предался ему безгранично, как друг, как сын его. Ему это неизвестно; он даже считает меня в числе своих врагов. Вот моя исповедь, государыня! Предаю вам всего себя.

— Чудные вещи слышу я!.. Чему и кому верить?.. — произнесла Анна Иоанновна, качая головой; потом взяла бумаги из рук Эйхлера, читала их про себя, перечитывала и долее всего останавливалась на мнении Волинского, которое состояло в следующих выражениях: *«Один вассал Польши может изъявить свое согласие на вознаграждение, но русский, храня пользы и честь своего отечества, как долг велит истинному сыну его, не даст на сие своего голоса»*.

Пока государыня читала бумагу и озабоченный Эйхлер следил ее взоры, карлица ускользнула из-под стола и скрылась.

— Вассал? Это, однакож, грубо!.. — сказала государыня. — Разве он не мог употребить других выражений?..

— Не вините его, ваше величество, за то, что он для пользы России и чести вашей увлекся благородною пылкостью своего характера и не взвесил как должно слов своих. Эти же слова произнес он некогда самому герцогу и ныне хотел быть верен себе и на бумаге, которая пойдет к потомству. Герцог тогда же сильно чувствовал свое оскорбление: зачем же не жаловался вашему вели-

честву? Оттого, что сам связан был по рукам и ногам ужасною смертью Горд...

Анна Иоанновна замахала рукой.

— Не говори мне про это... Мне всегда дурно делается, лишь только я об этом вспомню...

— Запутанный, он искал средств погубить кабинет-министра в глазах вашего величества. Случай скоро представился — любовь к княжне Лелемико. «Государыня не надышит на нее — вот точные слова герцога моему дяде — государыня лелеет ее, как свое дитя, свое утешение, свою любимую игрушку. Надо воспользоваться этою страстью, помогать ей, скрыть от княжны, что Вольнской женат, облегчить им переписку, а там, когда он погубит ее и будет пойман, довести все до сведения государыни. Она разгневется... и тогда голова его в наших руках». Так и делал герцог, верный своему плану. Не он ли перехватывал письма к Вольнскому жены его и письма любовников? Первые сжигал, другие доставлял по принадлежности. Не он ли ввел цыганку во дворец и к вашему величеству, как знаменитую гадалщицу, чтобы она могла удобнее передавать тайные послания? И если любовь княжны и кабинет-министра привела их на край пропасти, виноват один герцог.

С живым участием слушала государыня все, что говорил Эйхлер; она была тронута его убеждениями, но спросила, готов ли он подтвердить это именем бога.

— Да поразит меня всемогущий бог, если хоть одно слово неправды донес я вашему величеству!

Государыня погрузилась в глубокие размышления; потом, прервав их, сказала, будто говоря сама с собою, однакож вслух:

— Я все эти планы расстрою!.. Я женю его на княжне... Почему ж не так?.. Он жены не любит, кажется, и она за ним не погонится... детей нет... греха не будет!..

Выговорив это, она опять задумалась; то судорожно брала перо в руки, то бросала его. Видно было, что в душе ее происходила сильная борьба и она не смела решиться на подвиг, для нее небывалый.

— Что ж могу я сделать, — присовокупила она, наконец, — когда все члены кабинета подписали?

— Согласиться с мнением кабинет-министра, — отвечал с твердостью Эйхлер, — и тем восстановить униженную истину. Одно самодержавное слово ваше, только одно слово, подпись вашей руки — и потомство прибавит золотую страницу в истории вашей. Как слава легка для царей!

Была решительная минута.

Красноречие сердца превозмогло. Дрожащею рукой взяла Анна Иоанновна перо и написала на кабинетской бумаге: «Быть по мнению кабинет-министра Волынского».

Эта подпись скрепила победу Волынского и опалу герцога.

Эйхлер бросился к ногам государыни и с восторгом поцеловал руку, ему протянутую. Но лишь только собрался он выйти из кабинета, обремененный своими трофеями, как вошел Бирон, по обыкновению, без доклада. Он будто с неба упал. Губы его помертвели; голова, руки, колена дрожали. Каково ж? он все слышал!.. Пораженные его внезапным явлением, государыня и кабинет-секретарь, казалось, окаменели, так было еще ужасно это лицо! Никогда и сам Бирон не бывал в таком страшном положении; он хотел говорить, и язык его не двигался. Наконец, Анна Иоанновна сказала дрожащим голосом:

— Что вам угодно?.. Я вас не звала... Чтоб ваша нога... не была у меня!.. — и, не дожидаясь ответа, вышла.

Бирон все еще стоял на одном месте. Опомнившись, Эйхлер схватил кабинетскую бумагу за подписью государыни и собирался идти, но был остановлен...

Он чувствовал, что по нем неверно шарила ледяная рука, что по всему его существу блуждали глаза демона, как будто допытывали, он ли это, Эйхлер, племянник Липмана! И ни слова — язык не говорил. Презрительно посмотрел на Бирона кабинет-секретарь и оставил его.

Вскоре потребовали Волынского во дворец. Тут имел он уж случай развернуть пред государыней со всем усердием верноподданного и горячностью истинного патриота картину ужасных зол, которыми Бирон отягчил Россию.

К вечеру весь город узнал об опале фаворита. Сотни экипажей разного калибра осадили подъезд к дому Волынского: никто, кроме его друзей, не был принят.

Глава VII  
ЧЕРНАЯ КОШКА

Душа твоя чиста, унынье чуждо ей;  
Светла, как ясный день, младенческая  
совесть:  
К чему тебе внимать безумства и страстей  
Незанимательную повесть?  
Пушкин \*

Медленно, заботливо сходила госпожа Волынская с дворцовой лестницы. Ступени двоились у ней в глазах, и она с усилием старалась поймать их своєю ногою. Досада, сильнее Декартовых \* вихрей, кружила ей голову, разрывала сердце, наводила оттенки злости на это лицо, прежде столь добродушное и приятное. И как не досадовать, как не беситься ей! Она во второй раз приезжает во дворец, во второй раз ей отказывают. Какая причина такой неблагосклонности государыни?.. И тогда, когда мужу ее изъявляют особенные милости, когда он взял верх даже над фаворитом? Тысячи предположений, и между ними одно, темное, но самое верное, то, что на унижении ее строят торжество ее соперницы. Боже! какое оскорбление!.. Чем она заслужила его?.. Любовью к мужу, исполнением своих обязанностей! Опутанная этими думами, она несколько раз оступалась: дворцовая лестница казалась ей мрачным, перегнившим сходом в могилу. Гады ползут, шипят, обступают ее, обвивают своими холодными кольцами, готовы ее задушить. Но одно воззвание к богу — и нечистое сонмище исчезает.

Внизу лестницы кто-то назвал ее по имени. Едва не вскрикнула она от испуга, увидав пред собою длинный-предлинный и неподвижный стан, как будто проглотивший аршин, на огромных фижмах, при собольей муфте, сборище румян, белил, морщин, мушек и цветов, под гысокостепенной, напудренной прической, все это на высоких, красных каблуках.

— Вы не узнаете меня, матушка, Наталья Андреевна? — сказала эта размалеванная вывеска придворной дамы, важно приседа.

Вгляделась пристально госпожа Волынская: а! это бывшая ее барская барыня — черная кошка, которая должна была пробежать ей чрез дорогу.

— Не узнала-таки, не узнала, Акулина Саввишна! Как можешь? — спросила Вольтинская, обняв ее от доброты души, ей свойственной.

И госпожа Кульковская, супруга столбового дворянина, старшего пажа и старшего придворного шута, шепотливо дозволила себя поцеловать в щеку, охраняя сколько возможно девственность своих румян, мушек и фижм.

— Правду сказать, матушка, немного похворала после свадьбы... спазмы, удушье... немудрено! хлопоты во дворце... около сучки ее величества... да господин Карл Карлович, дай бог ему здоровья, помог. Ведь вы знаете Карла Карловича, придворного дохтура?

Произнося это, Кульковская натягивала изо всей мочи на тон знатной барыни.

— Как же, знаю! Не задерживаю ли я тебя?

— Помилуйте, Наталья Андревна, я помню вашу отеческую (она хотела сказать: аттенцию<sup>1</sup>) ко мне и готова для вас и сучку царскую оставить. Признаться вам со всею открытостью моей души, я поджидала вас-таки нарочно (тут она вздохнула). Много, очень много было бы мне вам в потаенность шепнуть... не для прочего иного, как для пожелания вам добра... Примером будучи сказать, может статься, вы и огорчаетесь, что вас Анна Ивановна не приняла... Господи боже мой! да этакой кровной обиды не снести бы и мне... слечь бы-таки, слечь в постелю... А все это, матушка, не взъщтите, ваш дражайший супруг напроказил... У нас во дворце чудеса про него рассказывают, слушать, так ушки вянут... и будто он разводится с вами... и будто... Да на сем месте нас могут подслушать; а коли угодно было бы вам, сударыня, по старой памяти удостоить меня своим посещением, так я порассказала бы вам все... Милости просим! я живу недалечко, здесь во дворце, рукой подать.

Черная кошка не только что пробежала через дорогу Вольтинской, она вцепилась в грудь ее, скребет ей сердце, душит ее. Как не идти ей за демоном-искусителем? Он манит ее плодом, который дороже для нее, чем первой женщине плод познания добра и зла: в нем заключается познание сердца ее мужа. И когда она вкусит от него, ее рай, так же как рай Евин, должен исчезнуть.

---

<sup>1</sup> Внимание (от франц.: attention).

Она идет — следы ее горят. Слуге при ней велено дожидаться в санях.

Через лабиринт коридоров вошли они в чистую комнату со сводами. Постель, напыщенная и вздутая, как толстая купчиха, с двумя пирамидами подушек, китайский фарфор в шкапе за стеклом, картина великого мастера в золотой раме, украденные из дворца, и рядом с нею лубочные эстампы с изображением, как мышки кот погребают и русского ада, в котором жарят, пекут, вешают за язык, за ребро, за ногу, во всех возможных положениях, — вот что составляло главное украшение знаменитого жилища господ Кульковских. На лежанке дремал ее сынок. Мать разбудила его и, когда он совершил три ужасных зевоты, которыми, казалось, хотел проглотить пришедших, сказала ему с нежностью:

— Душенька, выдь куда-нибудь прогуляться или развеселиться; да не забудь своей официи...

— На веселье нужны деньги, — отвечал он сурово, — дай целковенький прогулять, так пойду, а не то, хоть тресни, не выйду.

Нежного сынка удовлетворили, и он, опоясавшись мечом-кладенцом, приветствовал его глупо-умильной усмешкой.

— Такой ветреник, все шпагу забывает!.. Да скажи в австении, чтобы не слишком шумели, а то как раз пришло унять. Вот, матушка, Наталья Андревна, — продолжала Кульковская, когда наследничек ее высоких душевных достоинств вышел, не поклонясь, — нажила себе забот. Да здесь не покойнее ли вам будет? а то против двери...

— Хорошо, хорошо, — повторяла Волинская, истерзанная душевными муками.

Если б посадили ее в это время на уголья, на лед, если бы земля колебалась под нею и громы над ней гремели, она ничего б не слыхала, ничего не видала.

— Воля ваша, матушка, неловко... пересядьте сюда.

Ужасная женщина!.. каковы услуги перед тем, как собиралась убить? Так палач, готовясь снять голову с своей жертвы, заботился бы на эшафоте о том, чтоб оградить ее от луча солнечного или сквозного ветра.

— Ахти, бедная головушка, — сказала, наконец, Кульковская, приведя в движение топор своего языка, —

до какого позору дожидала ты!.. На гибель свою прокатилась в Москву. Сам лукавый шепнул тебе ехать в этот путь-дорожку. Кабы тебе, сизая голубушка, половину рассказать, что было здесь без тебя, так сердце бы замерло, ох, ох!.. (И Кульковская заплакала; потом, осушив свои слезы, продолжала.) Добро б волокитство на речах, а то пошли записочки — пересылались сначала через школьника Тредьяковского, потом носил их бездельник Николка, черномазый дьявол; напоследок... язык не двигается... застали вашего благоверного супруга в спальне молдаванки...

— Неправда, Саввишна, неправда! — сказала полумертвая Волинская, — видно, зло берет иных на Артемия Петровича, что выдумали такие сказки!..

— Сказки?.. хороши сказочки, только не на сон грядущий, а на упокой души!.. Не верите мне, матушка? так, пожалуй, выставлю свидетелей: старика Липмана, самого герцога, человек десятков пажей, дворцовых лакеев, горничную девку... Да коли распоясываться, язык и душа устанут. Видно, приходит конец мира! Господи, надолго ли станет твоего долготерпения?.. Неправда? А почто ж вас государыня Анна Ивановна не принимает? Спросили б давно нас, дворцовых!.. Потому что ваш дражайший бросился вчера ей в ноги, плакал, бил себя в грудь и упросил ее величество дозволить ему развестись с вами и жениться на своей молдаванке... Что, матушка, вы не верите? Так вот поверьте этому свидетелю, поверьте своим оченькам... (Она отошла к лежанке и из шкатулки, на ней стоявшей, вынула сложенную бумажку.) Чай, вы рукописание своего муженька знаете?.. прочтите, полюбуйтесь, а после скажите, наврала ли я вам, глупая баба, нанесла ли на святого человека околесицу... Да этих записочек ходит довольно по всему дворцу... Коли охоты станет читать, наберу их вам десятка два, хоть в книжечку извольте переплесть...

Не дождалась Волинская, чтобы подали ей записку, — сама вырвала из рук.

Это послание было одно из тех, от которых неопытную девушку бросает в одно время и в пламя и в дрожь, от земли на небо, в атмосферу, напитанную амброю, розой и ядом, где сладко, будто под крылом ангела, и душно, как в объятиях демона, где пульс бьется удвоенною



жизнью и сердце замирает восторгами, для которых нет языка.

Надо было видеть, что делалось с несчастною Волинскою. Давно ли он был так нежен, так страстен? давно ли призывал бога в свидетели его любви? Как она была счастлива!.. И что ж? в один миг исчезло очарование этого счастья: знойное дыхание сатаны испепелило все ее надежды, все радости в мире! Глаза ее помутились, будто у безумной; запекшиеся губы дрожали; из полурасстворенного рта, казалось, готов был вылететь крик смерти. Видно было, как младенец ее трепетал... Что ей до младенца?.. *Был один* — по нем и другого дорого ценила; нет *того* — и ей ничем дитя ее.

Сама Кульковская испугалась ужасного состояния, в которое ее повергла. Зная силу ее веры, напомнила ей о боге, о страданиях Иисуса Христа, оставившего нам собою образец терпения, показала ей на икону скорбящей божьей матери... И Наталья Андреевна, придя в себя, судорожно зарыдала и распростерлась пред ликом небесной утешительницы. Долго лежала она на полу, молясь и прерывая свои молитвы рыданиями; наконец, встала, с горячею верою приложила к образу... Божья мать с такою небесною улыбкою то смотрела на своего младенца, то, казалось ей, на нее, как бы показывая, что она должна жить для того, кто у ней лежит под сердцем, — этого существа, невинного в преступлениях отца... Она не всего лишилась: с нею ее бог и господь; ее не покидает и мать божья; она сама мать. Для младенца своего останется она жить, клянется жить — ни одной еще клятвы в жизнь свою не нарушала, — и неземное утешение прокралось невидимым лучом в ее душу.

Но с какими глазами встретит она Артемия Петровича? Что будет она в доме, откуда ее скоро изгонят холодность мужа и воля государыни? Как станет она смотреть на оскверненное ложе, где заменит ее счастливая соперница? Неужели дождется, чтоб ее выгнали?.. Нет, она не дойдет до такого унижения; она предупредит его. Нога ее не будет уж на пороге мужнина дома. У нее есть брат — тот примет ее к себе. Пускай придут там оспаривать ее законные права! Сам бог сказал, что, когда он сочтает, человек не разлучит, — пускай придут поспорить с богом!..

Написано письмо к Артемию Петровичу: в нем объясняли, что, обманутая, осмеянная, не может она уж явиться к нему в дом. Отказ от дворца, верные слухи, что государыня желает их развода для того, чтобы женить его на своей любимице, собственное письмо его к княжне — чего более? каких еще свидетельств?

Письмо отослано тот же час.

В доме брата своего, Пεροкина, просила она убежища и защиты. Ни убеждения разного рода, ни обещания помирить их с мужем не имели никакого действия: несчастная осталась непреклонною.

### Глава VIII ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тебе сказать не должен боле:  
Судьба твоих грядущих дней,  
Мой сын, в твоей отныне воле.

Пушкин\*

Гнев Липмана дошел до бешенства, когда он узнал об измене своего племянника. Он проклинал неблагодарного, рвал на себе волосы, терзал себе грудь ногтями, изрыгал богохуления; но — прошел пароксизм бешенства, и он опять мудрец на злое. Сделаны новые, хитрые расчеты. Волынской не примет его под крыло свое; он пропал, если пропадет Бирон: следовательно, надобно остаться верным герцогу не для него, а для себя; надобно спасти герцога, чтоб спасти себя. Эту верность запечатлел он клятвою выпутать его из худых обстоятельств. Гнев государыни не был тверд, одна Мариорица могла помешать примирению и доставить новую пищу к немилостям... на этой оси вертелось колесо фортуны обоих соперников. Что ж? сокрушить ее!.. Такие ли помехи уничтожают злодеи? Между тем и герцог должен был действовать посредством Остермана и людей, преданных ему из собственных своих видов.

С другой стороны, Артемий Петрович принимал поздравления неохотно. Он доволен был, что сделал свое дело, но отчаивался распутать домашние обстоятельства. Поставленный между любовью Мариорицы и любовью

жены, он должен был погубить одну из них. Что еще скажет он, когда узнает решение последней?

В глубоких раздумьях застал Зуда того, кого весь город почитал первым счастливецем и будущим виновником счастья народного. Зуда вошел не один. Лицо, бывшее с ним, поразило кабинет-министра своим появлением. Не видение ли?.. Эйхлер?.. Может ли статься!

— Что вам нужно у меня? — спросил его Волинской сурово.

— Иметь честь вам рекомендовать себя, — отвечал, улыбаясь, Эйхлер.

— Напрасный труд!.. я вас давно очень хорошо знаю...

— Теперь только, — подхватил Зуда, — извольте узнать его, как вашего тайного друга, как того человека, который был вам столько полезен своими безыменными посланиями, под маскою астролога, под личиною нищего, через конюхов; доставил вам подлинный донос Горденки, вползал невидимкою в карету герцогскую, добрался до кабинета государыни, заставлял говорить камни: одним словом, это самый тот, которому обязаны вы победой над герцогом и настоящим своим счастливым положением, если еще можно назвать его счастливым.

Несколько мгновений стоял Волинской, как бы обезумленный; наконец, бросился обнимать Эйхлера.

— Как это сделалось, боже мой! — говорил он. — Мог ли я подумать?.. Друг мой, благороднейший друг! зачем вы ранее не открылись мне? зачем вы так долго играли роль моего врага, и я не мог вас достойно оценить? Сколько унижений разного рода, сколько оскорблений от меня претерпели!

— Простите мне, если скажу, что характер ваш, возвышенный, но слишком пылкий, слишком безрасчетный, налагал на меня эту скрытность. Я боялся, чтобы вы, узнав своего тайного корреспондента и помощника, не изменили себе при случае и не потеряли во мне того, чем я хотел быть для вас до конца своего назначения. Могу теперь открыть, что Зуда, с которым я связан был узами дружбы еще на школьной скамейке, в одном из немецких университетов, был со мною в заговоре.

— Каков? Ай да приятель!.. Дай же, лицемер, и тебя прижать к моему сердцу. (Волинской крепко обнял

и маленького секретаря. Слезы были у всех на глазах.) Подвиг ваш, друзья мои, могу чувствовать; но оценить его должна Россия. Да, народ русский будет нам некогда признателен. Стыжусь, а должен сказать, я недостойн таких товарищей, таких бескорыстных поборников правды и любви к отечеству. Чем заплатил я вам?.. Вместо того чтобы нести мои жертвы хоть рядом с вами, если я не мог вас обогнать, я сбивал вас с пути, я делал ваши жертвы бесполезными, сквернил их моею глупою страстью!.. Господи! если проступки мои, мое безумие должны получить из рук твоих достойное возмездие на этой земле, то да идет чаша зол по крайней мере мимо этих двух прекраснейших твоих созданий!

— Если и нам суждено погибнуть,— сказал Эйхлер,— утешимся, что пали за дело человечества. Умирая, ничем упрекнуть себя не можем; мы действовали не как возмутители народного спокойствия, не из корыстных видов, но как верные сыны отечества, преданные государыне и долгу нашему. Не нарушали мы закона, но шли против беззакония в лице временщика; все наши действия вели к престолу и несли ему в дань. Его дело принять ее или отвергнуть. Чист наш подвиг, и стыд будет тому, кто исказит его!.. Не унижаясь перед счастливым злодеянием жили; не унижаясь — умрем.

— Да, скажут наши правнуки, им было больно угнетение России, и они решались выкупить ее и честь государыни ценою своей крови и жизни! Пускай тот, кто не желает счастья своему отечеству, выйдет из рядов потомства, чтобы объявить нам приговор. Нет, нет, этого не будет! С Бироном кончится пора скоморохов, шутов и подлых угодников, кончится унижение России, и благородный потомок наш, кто бы он ни был, придет некогда сказать свое спасибо на могиле нашей. Помянув честно борцов и мучеников временщика, он сам возвысится духом.

Так в день своей победы и торжества говорили кабинет-министр и его советники, будто готовились на казнь... Заметно было, что Эйхлер имел нечто тяжелое передать Волынскому и что Волынской, по какому-то гредчувствию, постигал его тайну. Так в знойный день, хотя еще нет ни одного облачка на небе, уже душно пе-

ред бурею. Долго собирался кабинет-секретарь открыться, наконец сказал:

— Горестно мне присовокупить теперь, что подвиг наш еще не кончен, что над головою вашей собирается грозная туча. Настоящее посещение мое, кроме желанья скинуть пред вами гнусную личину и открыть себя, каков я есть, имеет еще целию исполнение трудной миссии... О, чего б не дал я, чтобы жребий этого поручения пал не на меня! Оно выше сил моих.

— Говорите,— отвечал с твердостью Волынской,— по словам моим вы видите, что я ко всему приготовился.

— Я несу вам предложение от самой государыни. Должен предупредить, что ваше согласие утвердит вас в милостях ее величества и послужит еще более к уничтожению вашего врага и, следственно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ ваш поведет вас к неприятным следствиям и что вы можете через него потерять едва ли не все свои приобретения. Итак, счастье ваше и благоденствие России в ваших руках.

— О! по этому вступлению вижу, что не могу исполнить желание государыни. Но я не боюсь его услышать и сделать отказ: душа моя испытана; тяжкий молот судьбы бил ее со всех сторон... не виню никого в своих несчастиях, кроме себя самого... Один лишний, решительный удар не много сделает над этой душой. Жду вашего объяснения.

— Не знаю, откуда ветер подул, но дело государственное взяло курс семейный, домашний. Ее величеству угодно было, совсем для меня неожиданно, позвать меня сейчас к себе. Воля ее передать вам, что она, желая согласить честь своей любимицы, княжны Лелемико, с ее благополучием и зная, что вы... Извините... враги вас оклеветали... свидетельства слишком явные...

— Говорите, говорите прямей! Боюсь вашего суда, а не осуждения злодеев и низких людей.

— Итак, государыня, зная, что вы будто вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите ее неограниченно (доказывают это письма ваши в руках у государыни); получив также верные свидетельства, что вы не любите супруги вашей, от которой не имеете и детей, и что вы хлопотали уже о разводе, предлагает вам свое

покровительство в этом деле. Преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценной сердцу ее величества, должна освятиться у алтаря.

Встал дыбом волос на голове Артемия Петровича; он весь дрожал.

— А жену мою?..— спросил он задыхающимся голосом.

— Убедят идти в монастырь.

— В монастырь?.. Волинскую?.. жену мою с моим ребенком!.. Нет, этому не бывать!

Вне себя Волинской ходил скорыми шагами по комнате, как безумный ударял себя в лоб, ужасно вскрикивал по временам.

— Вот до чего довел я их и себя!.. Мне это смели предложить?.. И я?..

Крик этот сопровождался судорожным хохотом, судорожным плачем, наконец подошел он к Зуде и спросил его:

— Ты что сделал бы на моем месте?

— Вспомните, что говорил я вам, когда вы только затевали борьбу с герцогом,— отвечал хладнокровно Зуда.— Надо было остановиться вначале... но теперь, зашедши так далеко... чем нельзя пожертвовать для блага отечества! Я согласился бы на предложение ее величества.

— О! зачем было добиваться чувства у этого сердца, иссохшего на Махнавел!.. Он тогда не человек, когда дело идет о цели политической; у него нет сердца — у него только ум. Но вы, господин Эйхлер? — И, как будто испугавшись, что Эйхлер скажет одно с Зудой, продолжал, не дав ему отвечать: — Нет, нет, прежде чем вы дадите ответ, я расскажу вам, в каком состоянии теперь нахожусь, в каких отношениях я к двум особам, которых судьбу связал неразрывно с своею. Этот железный человек знает все (он указал на Зуду)... видно, ему нужно растравить мои раны... Но вам должен я открыть эти отношения. Видите, сударь, жена моя беременна; она любит меня горячо, выше всего в мире, кроме своего бога, и счастлива уверенностию, что я ее так же люблю. Если б я оставил ее, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца, какую жизнь влачил бы я, двоеженец, на

этой бедной земле?.. За что погубил бы я это создание, чистое, как ангелы?.. Безумие страсти уж исчезло вместе с очарованием ее... Положим, что Наталья Андреевна перенесла бы свое несчастье и осталась жить: чувствуете ли позор, который падал бы на меня?.. Жена Волинского, монахиня, родила бы в келье!.. Что за адская смесь! А потом? где б ни появилась она, везде указывали бы на нее пальцами; каждый прохожий, лохмотник, враги мои смели бы говорить: вот бывшая жена кабинет-министра Волинского! Он в чести, в холе у государыни, а она, глядите... в каком черном теле!.. А этот мальчик или девочка, это дитя, которое за нею таскается, это его отродье: ему нет имени!.. Каждый нищий счастливее его: он может указать на своего отца, а этот не смеет назвать своего — все равно что сын греха, сын блуда! Волинской продал жену свою, свое дитя, счастье и свободу их, закон, совесть, продал здешнюю и будущую жизнь — за что ж? За место любимца!.. Свокорыстным видам!.. Кто скажет — благу отечества?.. Нет, нет, этого не будет! Пускай отдам богу ответ на страшном суде за любовь мою к Мариориде — назовите ее слабостью, заблуждением, безрассудством, безумием, чем хотите, — пусть за нее карает меня правосудная десница господа! Но когда умолкнула страсть и говорит рассудок, когда дело идет о расчетах личных — каким бы покровом вы их ни одевали, выгодами ли общими, пользою отечества, — никогда не посягну на это святотатство. Я до того еще не унился. Знаю, что отказом моим оскорбляю государыню, уверенную в успехе своего предложения; знаю, что лишаю себя, друзей и дело правое необходимой его опоры, что по-прежнему ввожу Бирона в милости ее величества и должен ожидать ужасной грозы; но... так низко и ни за что не продам души своей! Решение мое неизменно — донесите это государыне.

— Если б вы дали другой ответ, — сказал Эйхлер с восторгом, — я каялся бы, что служил вам. Благодарю бога, что в вас не ошибся.

— Виноват, — подхватил Зуда, несколько смущенный, — может быть, я так создан... переменить себя не могу... но скажу опять, что не понимаю, к чему все это ведет. Когда вы готовились на подвиг освобождения

отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнению этого подвига? А теперь...

— Собою одним, да! А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими.

— Разве отказом государыне, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей и вашей супруги?

— Хотя бы и так, не сделаю подлого дела! И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за своекорыстное угождение? Кто поручится, что Бирон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеется достойным образом над подлым двоеженцем? Мудрено ль? (Видишь, какой оборот взяло дело: я нужен не для государства, а к случаю!..) Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на божий свет? Как умирать мне будет?.. Теперь по крайней мере буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и за то останется мне признательным. Сколько позволяло мне мое слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакой целью. Если я и совратился с должного пути, то да судит меня бог! Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение мое свято. Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдем еще способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы.

Этим кончилась беседа. Зуда решился прибегнуть еще к одному средству: письмом объяснить княжне Лелемико затруднительное положение, в каком находился человек, ей столько драгоценный. Любовь изобретательна: не придумает ли чего к спасению его?

Несколько времени спустя принесли Волынскому письмо.

— От кого? — спросил он слугу.

— От барыни, — отвечал этот.

— Где ж она?

— У его превосходительства, братца своего.



— Письмо из дому брата? должно быть, чрезвычайное! — сказал встревоженный Волинской, распечатав письмо нетвердою рукой.

Первое, что бросилось ему в глаза, было собственное его послание к Мариорице. Будто ножом полоснуло его по сердцу. Он догадывался об истине, и одна догадка приводила его в ужас. Немалого подвига стоило ему прочесть письмо жены.

— По делам вору мука! — воскликнул он, изорвав то и другое в клочки... — Но... баба шалит!.. Есть мера всему!.. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости?.. Этого слишком много! Этого не будет!.. После уверений моих, после доказательств страстной любви и клятвы она должна была не раскрывать прошлого, не дотрогиваться до этой опасной струны. Что ж она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьем отыскивает их следы. И где ж наводит справку о поведении мужа?.. У бывшей своей барской барыни, у сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую и плевать гадко!.. Дойти до такого унижения, боже мой! Отмыне я сам не хочу ее знать... Что за жена!.. Пускай себе живет на здоровье у своего братца, да распускает басни о муже, да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы!.. Нет, Мариорица на ее месте не то бы сделала... О! это душа возвышенная, не рядовая! Да много ли Мариориц на свете? И я пожертвовал ею!.. Неблагодарный!.. Но, — прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, — я исполнил долг свой. Не пойду назад. Пускай вина будет не на моей стороне!..

В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лелемико.

«Мне все известно, — писала она, — все: и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиною твоего несчастья. В сердце моем отыскала я средства помочь всему... Но я сама должна с тобою переговорить... тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома к стороне набережной, в 12 часов ночи. Теперь никто.. не помешает...»

Да! никто не помешает: ее ангела-хранителя уж нет; сумасшедшая мать сидит в яме.

Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме него; он один для нее все — закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега ее бытия, все, все.

— О! эта пишет иначе,— сказал Вольнской,— буду, непременно буду, хоть назло той...

## Глава IX

### НОЧНОЕ СВИДАНИЕ

О милый! Пусть растает вновь  
Моя душа в твоём лобзанье:  
Приди, допей мою любовь,  
Допей ее в моем дыханье.  
Прилипну я к твоим устам,  
И все тебе земное счастье,  
И всей природы сладострастье  
В последнем вздохе передам.

В. Т е п л я к о в \*

Не шути с огнем, обожжешься.

П о с л о в и ц а

«Зачем долее жить? — думала Мариорица, прочитав письмо от Зуды,— я любила, узнала все, что в любви и в жизни есть прекрасного... чего мне ждать еще? Разрушения моего и конца этой любви, не во мне, нет — моя любовь должна перейти со мною и в другой мир,— но в его сердце. Я только помеха его счастью. Если я буду за ним, что принесу ему? Минутные восторги и, может статься, раскаяние, чувство несчастья его жены и младенца — о! это дитя мне так же дорого, как бы оно было мое; оно мне не чужое, дитя моего Артемия! Лучше умереть, и умереть любимую, гордою, счастливою его любовью, с именем невесты, любовницы, друга, унеся с собою память сердца милого человека. Я прикую ее к своей могиле восторгами, признательностию, жертвами. Не завиднее ли это, чем жить для того, чтобы *вечно* тревожить его спокойствие и ждать охлаждения, видеть его неверность, может статься и презрение? Лучше всего умереть теперь, когда все зовут меня прекрасною. Хочу и в гробу лежать достойною его любви, а не сухим, желтым остовом, от которого он

будет отворачиваться, который поцелует с отвращением».

Так думала Мариорица, решаясь пожертвовать собою для блага Волынского. Находили минуты, в которые ей становилось грустно, холодно от мысли умереть такой молодою, когда существо ее только что раскинулось было пышным цветом, когда на устах и груди ее млели поцелуи любви, когда сердце нежило так много темных и вместе сладких желаний. Но мысль, что ей обязан он будет своим спокойствием, счастьем, славою, торжествовала надо всем, уносила ее в небо, откуда она смотрела глазами любви неземной на свой земной подвиг. Ей становилось тогда легко, радостно; какой-то дивный восторг согревал ее; казалось ей, душа ее расправляла огненные крылья, чтобы скорее понестись в это небо и утонуть в нем...

Вот какие способы изберет она, чтобы исполнить свои замыслы.

Мариорица оставит письмо к государыне, в котором откроет, что она дочь цыганки. Уж и этот подвиг не бездела! Знаю, чего стоит иным просить грамоты на дворянство, то есть объявить, что был некогда не дворянином... Каково ж княжне, царской любимице, которую носили на руках, которой улыбка ценилась вместо милости, ей признаться этим самым людям, что она дочь... бродяги! Она, однако ж, сделает это. Для чего ж? Для того, что Волынскому нельзя будет жениться на дочери цыганки, и это самое послужит Волынскому оправданием. Потом Мариорица будет лгать в письме своем... в первый раз в жизни солжет — будет клеветать на Бирона... Чего не сделает для милого Артемия?.. О! в какие злодеяния не пустилась бы она, если б он был злодей!.. Она скажет в письме к государыне, что герцог знал ее низкое происхождение, но сам уговорил Мариулу не открывать этого никому, а помогать всячески связи дочери с кабинет-министром. Она будет клеветать и на себя: скажет, что еще до приезда в Петербург была порочна... что она неблагодарная, негодяйка, презренное орудие Бирона, избранное им для погибели его врага; что, взявшись погубить Волынского, невольно полюбила его и потом из любви решила его спасти, доставив государыне бумагу с доносом на

герцога. Мариорица прибавит, что раскаяние, нестерпимые угрызения совести заставили ее, наконец, открыть все пред тем, как она решилась прекратить недостойную жизнь... Прекрасно! Бирон после этого письма падет решительно... а Артемий, ее милый Артемий, будет в милости, в чести, в славе, дитя его не умрет, жена не посмеет его упрекнуть ни в чем... Но милый, бесценный Артемий ее также должен будет знать, что она все это нагала, наклеветала на себя, что все это жертва, ему принесенная... Она хочет видеть его в последний раз и доказать, что его одного любила и вечно будет любить. А там... пук его волос у сердца, мысль о нем и снежный саван — какой лучше смерти желать?.. Но, — прибавила она, — нынешний день *мой*; он должен мне его подарить!

В таком упоении сердечных замыслов послала она к Артемию Петровичу записку, которую мы уж видели; потом приготовила письмо к государыне и, запечатав, положила у себя за зеркалом.

Но каким образом Мариорица выполнит свое обещание прийти в назначенный час к ледянскому дому? Поверенная ее тайн, Груня, больна (ей велено сказаться больной, потому что она неспособна к злодеяниям: видно, что власть Бирона имеет еще во дворце скрытых, но ревностных исполнителей). Груня заменена какою-то дуегной<sup>1</sup>, которой наружность не предвещает ничего доброго. Свободный выход Мариорице из дворца уладит арабка, приятельница Николая; но можно ли утаить свое ночное путешествие от горничной, спящей за перегородкой ее спальни? Чего б ни стоило, надо купить молчание ее. Любовь Мариорицы готова и на это унижение: ведь эта жертва последняя! После смерти ее пускай говорят что хотят, лишь бы милый Артемий знал ее тем, чем она есть! Неосторожная!.. Время быть осторожной!.. Открывается... С радостью, которой изученное притворство непонятно для неопытной девушки, отвечают, что готовы помогать во всем такой милой доброй барышне, предлагают услуги бойкие, ловкие, сулящие успех верный. Ничего не требуют, кроме молчания. Тайна запечатлена ужасною клятвою. Все улажено.

<sup>1</sup> Дуегной — дуэньей, пожилой женщиной, наблюдающей за поведением девушки (с исп.).

Ожидания двенадцатого часа исполнены душевной тревогой. В этот час все уляжется во дворце и месяц уйдет за снежную крайницу земли. А теперь как все везде суетится! назло ей каким ярким светом налился месяц! как ослепительно вырезывается он на голубом небе! Только по временам струи облачков наводят на него легкую ржавчину или рисуются по нем волнистым перламутром. Как пышет свет этого месяца на серебряный мат снегов и преследует по нем малейшие предметы! Где укрыться от этого лазутчика?

«Может быть,— говорит сама с собою Мариорица, сокращая разлуку думами о нем,— может быть, и он смотрит теперь этому безжалостному месяцу в глаза и упрасивает его о том же, о чем я умоляю его. Луч этот, который падает на меня и гнетет так мое сердце, может стать, проник и в его грудь. Чувствует ли он, что я зову его проститься со мною навсегда — навеки. Боже! как ужасно это слово!.. Не жалко бы мне покинуть твой мир, где бы его не было, твое прекрасное солнышко, которое не освещало бы его вместе со мною, блеск двора, алмазы, зависть подруг, почести, которых он не разделял бы со мной,— это все, чем ты, мой боже! так щедро наделил меня (она посмотрела в зеркало, отражавшее всю роскошь ее прелестей)... это все, если б оно не было ему назначено; не жалко бы мне тогда покинуть твой мир; но теперь... когда он в этом мире, расстаться со всем этим... больно, грустно!»

И Мариорица плакала.

«На то была твоя всемогущая воля,— прибавила она, упав на колена и молясь,— я призвана была на землю спасти его своею любовью от бед, уберечь для славы его и счастья других... Да будет твоя воля! жертва готова».

Потом она вспомнила мать... Ей известно было, что государыня посылала наведаться о цыганке Мариуле: говорили, что бедной лучше, что она уж не кусается... Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Чем же помочь?... Фатализм увлек и мать в бездну, где суждено было пасть дочери. Никто уж не поможет, кроме бога. Его и молит со слезами Мариорица облегчить участь несчастной, столько ее любившей. Запиской, ко-

торую оставляет при письме к государыне, завещает Мариоле все свое добро.

Но месяц скрылся за снежный обзор; во дворце все расходится на покой по отделениям; в коридоре слышна неучтивая зевота гоф-лакея; скоро двенадцать часов... и с мыслью об этом часе Воынской, один Воынской становится на страже у сердца Мариорицы. Мечты ее обняли его и не хотят более покинуть: ей уж так мало осталось времени любить его и думать о нем на земле!.. Она горит вся в ожиданиях роковых минут свидания; щеки ее пылают, грудь пожирает ужасное пламя, в устах пересохло... жажда томит ее... Она просит пить. Приносят воды... довольно мутной... Поднос в руках служанки дрожит так, что питье плещет чрез край стакана; помертвелое лицо ее что-то страшно подергивает. Мариорица ничего не замечает; вода выпита разом. Когда ей замечать! на адмиралтействе ударяет двенадцать часов, и все существо ее судорожно потряслось...

Наброшена кое-как на плеча шуба, накинута шапочка набекрень... кто-то стукнул в дверь: это арабка. Идут... по коридорам, худо освещенным или вовсе темным; спускаются по узким, истертым, душным лесенкам, кое-где ощупью, кое-где падают... Скоро ли? Вот сейчас!

И вот они у какой-то двери: ключ щелкнул, дверь вздохнула... Мариорица дышит свежим, холодным воздухом; она на дворцовой набережной. Неподалеку, в темноте, слабо рисуется высокая фигура... Ближе к ней. Обменялись вопросами и ответами: «Ты?» — «Я!» — и Мариорица пала на грудь Артемия Петровича. Долго были они безмолвны; он целовал ее, но это были не прежние поцелуи, в которых горела безумная любовь, — с ними лились теперь на лицо ее горячие слезы раскаяния.

— До чего довел я тебя, несчастную! — сказал он, наконец.

— О! не говори мне про несчастья, — возразила она, увлекая его далее. — Чего недостает мне теперь? я с тобою... Вот видишь, как я обезумела от своего счастья... мне столько было тебе сказать, и я все забыла. Постой немного... дай мне насмотреться на тебя, пока глаза могут еще различать твои черты; дай мне налюбоваться тобою, может быть в последний раз...

Они остановились. Мариорица схватила его руку, жала ее в своих руках, у своего сердца, силилась пламенными взорами прорезать темноту, чтобы взглядеться в Артемия Петровича и удержать милые ей черты.

— В последний раз? — спросил он с горестным участием, — отчего так?

— Нам должно расстаться! — отвечала она.

Он не возражал, но с нежностью поцеловал ее руку. Молчание его говорило: нам должно расстаться!

— Ну, если б я умерла, поплакал ли бы ты обо мне?

— Что это значит?.. объяснись...

— Надо ж когда-нибудь умереть... не ныне, завтра... когда-нибудь...

— Милая! не мучь меня, ради бога... Что за ужасные мысли, что за намерения? скажи мне.

Догадываясь по трепету его рук, по сильному биению сердца, ударявшего в ее грудь, что мысль об ее смерти встревожила Артемия Петровича, довольная этими знаками любви, она старалась успокоить его.

— Нет, милый, нет, я пошутила... я буду жить, но такая жизнь все равно, что смерть... нам надо расстаться для твоего счастья, для твоего спокойствия... Однако ж пойдем далее; здесь могут нас заметить... Видишь, как я стала осторожна!

Они пошли далее.

На этот раз Волынской дал было обет сохранить себя от всех искушений; но ласки Мариорицы были так нежны, так жарки, что обеты его понемногу распались...

Надо было иметь силу остановиться на первом шагу, объяснить свои намерения, как друзья проститься, но... они пошли далее.

Каким иступленным восторгом пылала она, жрица любви возвышенной и вместе жертва самоотвержения!.. Не земным наслаждениям продавала она себя, Мариорица сожигала себя на священном костре...

Любовники остановились у дверей ледяного дома. Чудное это здание, уж заброшенное, кое-где распалось; стража не охраняла его; двери сломанные лежали грудю. Ветер, проникая в разбитые окна, нашептывал какую-то волшебную таинственность. Будто духи овла-

дели этим ледяным дворцом. Два ряда елей с ветвями, густо опущенными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра, с пышным страусовым панашом на головах.

Вольнской стал у порога и не шел далее. Святое чувство заглянуло еще раз в его душу.

— Что ж?..— сказала она, увлекая его, как испуганная вакханка.

— Если переступим порог, мы погибли,— отвечал он.

— Дитя!.. Ты боишься любви моей?.. Не погубить, спасти тебя хочу; но вместе хочу, чтобы ты меня знал...

Этим упреком все святое опрокинулось в душе его. Пристыженный, он схватил ее в свои объятия и понес сладкое бремя...

— О милый! — сказала она, крепко обвив его своими руками,— наконец, ты мой, на этот час ты мой: не отдам тебя никому, приходи хоть сам бог!.. Для этого часа я послана провидением на землю, для него я жила... в нем мое прошедшее и будущее.

Дворец в своей черной мантии уже приподнимался пред ними. Они прощались, долго прощались... Лицо Вольнского было мокро от слез Мариорицы; сердце его разрывалось.

Они расстались было, но опять воротились друг к другу. Еще один длинный, томительный поцелуй... он проводил ее до дворца. Еще один... губы ее были холодны, как лед; она шаталась... Дверь отворилась, дверь вечности... Мариорица едва имела силы махнуть ему рукой... и исчезла.

Он еще долго стоял на одном месте, погруженный в ужасное предчувствие.

Несчастный! ты увидишь ее — разве там, где мертвые встают!..

— Не покидай меня,— сказала Мариорица, стиснув руку арабке, отворившей ей потаенную дверь,— у меня ножи в груди... режут ее... Но счастье мое было так велико!.. Я все преодолела... победа за мной!.. Теперь нет сил терпеть... Понимаю... яд... Как я им благодарна!.. Они... за меня сами все исполнили... избавили меня от самоубийства... Господи! как ты милостив!



Испуганная арабка с трудом дотащила ее до ее комнаты. Было в ней темно. Служанка спала или притворялась спящею. Мариорица не велела будить ее, не велела зажигать свечу. Сильные конвульсии перебирали ее; по временам слышен был скрежет зубов, но она старалась, сколько могла, поглотить в себе ужасные муки.

— Какие страдания! — говорила она, не пуская от себя арабку, — но все это пройдет сейчас!.. Вот уж и прошло!.. Как хорошо!.. Ах! милая, кабы ты знала, какая прекрасная ночь!.. На мне горят еще его поцелуи... Какое блаженство умереть так!.. Завтра ты скажешь ему, что я умерла счастлива, как нельзя счастливее, как нельзя лучше; прибавь, что никто не будет любить его, как я... О! он меня не забудет... он оценит, что я для него сделала... Сыщи за зеркалом письмо, отдай государыне, но только тогда, когда меня не станет... поклянись, что отдашь... В этом письме его счастье...

И арабка, не зная, что делает, клялась, обливаясь слезами.

— Ох! Боже, боже мой!.. что-то у меня в груди... Ничего, ничего, — произнесла она тише, уцепясь за рукав арабки, — это пройдет скоро... Слышишь ли? скажи ему, что среди самых жестоких мук... милый образ его был передо мною... пойдет со мной... что имя его... на губах... в сердце... ох! милый... Артемий... прости... Арт...

Конец этого слова договорила она в вечности.

Бренная храмина опустела; дух, оглашавший ее гимнами любви и пропевший последний высокий стих этой любви, отлетел... Арабка держала уж холодный труп на руках своих. Она вскрикнула, ужасно вскрикнула, так что стены задрезжали.

— Что такое? что такое? — спросила вскочившая с постели служанка.

— Княжна... умерла! — могла только сказать арабка.

— Княжна умирает, — повторила служанка, выскочив в коридор, и этот возглас раздался по дворцу и дошел осторожно, шепотом, до изголовья государыни.

Призваны были искуснейшие лекари, употребляли все, чтобы... Но мертвые не воскресают. С трудом оттащили Анну Иоанновну от трупа любимицы ее.

Когда этот труп клали в гроб, на груди ее, у сердца, лежал венком черный локон... Ни одна злодейская рука не посягнула на него; он пошел с нею в гроб.

Небо услышало твои молитвы, прекрасное, высокое создание! ты умерла в лучшие минуты своей жизни; ты отлетела на небо с венком любви, еще неизмятым, еще вполне сохранившим свое благоухание!..

## Глава X ПОХОРОНЫ

Не узнавай, куда я путь склонила,  
В какой предел из мира перешла...  
О друг! я все земное совершила,  
Я на земле любила и жила!

Жуковский\*

Поутру, чтобы не тревожить государыни близостью мертвеца, вынесли княжну Лелемико в церковь Исакия Далматского.

Выносы были великолепные.

Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанновна видела раз, как она кашляла с кровью; по разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Вспомнили теперь, будто профессор физики и вместе придворный астролог (Крафт) за несколько дней предсказывал ее кончину. Утешались тем, что суженого не избежешь.

Письма Мариорицы к государыне не нашлось за зеркалом...

Все в городе знали о смерти княжны; но тому, кто был первою виною ее, не смели о ней сказать. Наконец... и он узнал.

Отказываюсь от муки описывать ужасное его состояние. Скажу только, что у него, как у несчастной королевы Марии-Антуанетты\*, в один день побелели волосы.

Было много посетителей у гроба княжны Лелемико.

Как хорошо лежала она в нем, будто живая! Как шли к ней на ее черных волосах этот веночек из цветов и эта золотая диадема, которою венчают на смертном одре и последнего из людей!..

Видели у этого гроба рыдающую женщину; видели, как она молилась с горячею верою за упокой души усопшей, как она поцеловала и перекрестила ее.

Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая ее, была жена Воынского.

Видели потом у гроба мужчину... Лицо мертвеца, искаженное страданиями, всклооченные волосы... в мутных, страшных очах ни слезинки! Вид его раздирал душу. Это был сам Воынской. Забыв стыд, мнения людей, все, он притащился к трупу той, которой лобзания еще не остыли на нем... Долго лежал он полумертвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал... от стона его потряслись стены храма, у зрителей встали волосы дыбом... Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями... несколько десятков рук вытащили несчастного... Ему не дали проститься с ней... Может быть, он и не посмел бы!

Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти ее; иной хвалил приличие ее наряда, другой — узоры парчи, богатство гроба, все превозносили красоту ее, которую и смерть не посмела еще разрушить.

В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы; в ее просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству, и ее выпустили. Товарищ ее, Василий, не отходил от нее. Лишь только почуяла она свежий воздух и свободу,— прямо на дворцовую площадь. Пришла, осмотрелась... глаза ее остановились на дворце и радостно запрыгали.

— Ведь это дворец? — спросила она.

— Ты видишь,— отвечал печально цыган, знавший уже о смерти княжны Лелемико.

— Да, да, помню!.. Тут живет она, мое дитя, моя Мариорица... Давно не видала ее, очень давно! Божье благословение над тобой, мое дитя! Порадуй меня, взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик! Видишь... видишь, у одного окна кто-то двигается... Знать, она, душа моя, смотрит... Она,

она! Сердце ее почувало свою мать... Васенька! ведь она смотрит на меня, говори же...

— Смотрит,— сказал старик, и сердце его повернулось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слезы.

— Каково ж, Васенька? Княжна!.. в милости, в любви у государыни!.. Невеста Волынского... скоро свадьба!.. Каково? Ведь это все я для тебя, милочка, устроила. Ты грозилась мне, чтобы я не проговорила... Небось не скажу, что мать твоя цыганка... Да не проговорила ли я когда, Васенька?..

Она терла себе лоб, как будто припоминала себе что-то.

— Нет, никогда.

— То-то и есть!.. Не пережить бы мне этой беды!.. Проговориться?.. да разве я с ума сошла!.. Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастья... Бог это будет знать да я.

Мариула была счастлива; это счастье горело в черных диких глазах ее.

Вдруг от Исакия Далматского ветер донес до уха ее заунывное похоронное пенье.

— Что это? — сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать.

Пенье приближалось.

— Кого-то хоронят... Слава богу, что не с той стороны... не из дворца несут!..

— Да, не из дворца,— подхватил испуганный цыган.— Мне сказывали, что княжна Лелемико будет ныне в Гостином дворе. Пойдем лучше туда, дожидаться ее.

— Пойдем,— отвечала Мариула, крепко схватив его за руку,— может статься, мы там увидим ее.

Они отошли к большой *прешпективе*.

В это время вдали поровнялся с ними розовый гроб, предшествуемый многочисленным *сижклитом*. Мариула остановилась... Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пенью; сердце ее шибко билось, синие губы дрожали... Гроб на повороте улицы исчез.

— Слава богу, что не из дворца! — повторила она; кивнула еще раз два дворцу ласково, с любовью, как бы говоря: «Божье благословение над этим домом!» — и побежала с товарищем к Гостиному двору искать, посмотреть княжну Лелемико...

## Глава XI

### АРЕСТ

Делайте с ним, что хотите... с той поры как земля взяла ее к себе, он перестал быть вельможею, подданным, гражданином, мужем... все связи его с миром прерваны.

Прошло несколько дней. Волинской, убитый своею судьбой, не выходил из дому. До слуха Анны Иоанновны успели уж довести ночное путешествие... Дела государственные стали. Она грустила, скучала, досадовала. В таком душевном состоянии призвала к себе Остермана, Миниха и некоторых других вельмож (все, кроме Миниха, были явные противники Волинского) и требовала советов, как ей поступить в этих затруднительных обстоятельствах. Остерман и за ним другие объяснили, что спасти государство от неминуемого расстройства может только герцог курляндский. Миних молчал.

Этот ответ льстил сердцу государыни; она спешила им воспользоваться. Бирон был позван.

Собираясь во дворец, герцог велел позвать к себе Липмана. Среди ликования семейного он обнял его и поздравил с победой.

— Я вам ручался за нее головой моей,— отвечал Липман.

Глаза обоих блистали адским огнем. Герцог хотел показать свое великодушие.

— Желаете ли,— сказал он,— чтоб я облегчил участь твоего племянника и ограничился одним изгнанием?

— Требую его казни,— подхватил клевет с жестокою твердостью, поразившею самое семейство его патрона. За эту твердость, достойную Брута (как говорил Бирон), он удостоился нового прижатия к груди его светлости.

Пасмурный, угрюмый явился Бирон во дворец. Не уступая, он хотел возвратить прежнее свое влияние на душу государыни. Это ему и удалось. Лишь только показался он у нее, она протянула ему дрожащую руку

и сказала голосом, проникнутым особенным благоволением:

— Забудем старое; мир навсегда!

Припав на колено, Бирон спешил поцеловать эту руку; потом, встав, произнес с твердостью:

— Благоволением вашего величества вознагражден я за несправедливости. В них вовлекли вас враги мои; но забыть прошедшее могу и должен только с условием. Не хочу говорить о кровных оскорблениях слуги, преданного вам до последнего издыхания, посвятившего вам себя безусловно, неограниченно, готового для вас выдержать все пытки: за эти обиды предоставляю суд вам самим. Но оскорбление моей императрицы мятежными подданными, унижительное принорование вас к какой-то Иоанне, нарушение вашего спокойствия даже среди невинных забав ваших, позорная связь в самом дворце, которой причину нагло старались мне приписать, бесчестие и смерть вашей любимицы, умышленное расстройство государственного управления и возбуждение народа к мятежу... о! в таком случае чем кто ближе к вам, тем сильнее, неумолимее должен быть защитником ваших прав. Он не отойдет от вашего престола, пока не охранит его и нарушители этих прав не будут достойно наказаны. Ваше величество возвращаете мне снова милости ваши и прежнюю мою власть: не приму их иначе, как с головою мятежного Вольнского и сообщников его...

— Этого никогда не будет! — вскричала государыня, испуганная решительным предложением своего любимца.

— В таком случае я, как ложный обвинитель верно-подданных ваших, повергаю себя высшему суду: вы должны меня казнить.

— Нет, нет, вы по-прежнему мой советник, мой друг; Вольнского мы удалим...

— Этого мало для примера подобных ему или мне. Моя или его голова должна слететь; нет середины, ваше величество! Избирайте.

— Боже мой! что они со мною делают! — говорила Анна Иоанновна, обращая глаза к небу, как бы прося его помощи.

— Вашему величеству предлагают собственное ваше благо, благо империи, вверенной вам богом.

— По крайней мере не без суда... Да, я хочу, чтобы он предан был суду, и если оправдается...

— Обвинения законные,— сказал Бирон, вынув из бокового кармана бумагу и подложив ее к подписи государыни,— закон и должен наказать или оправдать. Я ничего другого не требую. Осмелюсь ли я, преданный вам раб, предлагать что-либо недостойное вашего характера, вашей прекрасной, высокой души?.. Взгляните на осуждения... Государыня! твердость есть также добродетель... вспомните, что этого требует от вас Россия.

Перо подано государыне. Дрожащею рукою подписала она приказ держать Волинского под арестом в собственном доме, и предать его суду за оскорбление величества, и прочее, и прочее.

Участь кабинет-министра и его друзей была решена. Так вертится колесо фортуны!..

Пока наряжался суд, Эйхлер успел дать знать об этом Артемию Петровичу.

— Спасайтесь,— говорил он ему,— голова ваша обречена плахе.

— Я ожидал этого,— отвечал хладнокровно Волинской, приподняв с подушки отяжелевшую голову,— я готов... Пора! Недостойный муж, недостойный сын отечества, омерзевший друзьям, самому себе, я только тягочу собою землю. Зуда прав: не мне, с моими страстями, братья было за святое, великое дело!.. Наказание, посылаемое мне богом, считаю особенной для себя милостью. Ах! Если б оно искупило хоть часть грехов моих... Нет, друг мой, я не побегу от руки, меня карающей. Жаль мне только вас... Спасайтесь вы с Зудою, пока еще время.

Волинской встал, отпер свое бюро и вынул несколько свертков с золотом.

— Возьмите это, друзья мои... поспешите где-нибудь укрыться... деньги вам помогут лучше людей... а там проберетесь в чужие края. Да спасет вас десница милосердного бога от новых бед и страстей, подобных моим... Когда меня не будет, не помяните меня лихом...

— За кого почитаете вы меня? — прервал с негодованием Эйхлер.— Я поклялся разделить вашу участь,

какова бы она ни была, и никогда не изменял своему слову. Разве и у меня неостанет сил умереть?..

Не было ответа. Рыдая, они обнялись.

Когда Волынской узнал, кто был наряжен судить его, он уверился, что смертный его приговор неминуем.

— Но прежде казни моей,— сказал он,— хочу еще замолвить одно слово государыне за мое отечество. Истина пред смертным часом должна быть убедительна.

Надеясь всего хорошего от личного свидания его с государыней, Эйхлер не отговаривал его.

Наскоро оделся кабинет-министр и отправился во дворец. Внезапному его там появлению изумились, как удивились бы появлению преступника, сорвавшегося с цепи. Придворные со страхом перешептывались; никто не смел доложить о нем императрице. Недолго находил-ся он в этом положении и собирался уж идти далее, прямо в кабинет ее величества, как навстречу ему, из внутренних покоев — Педрилло. Наклонив голову, как разъяренный бык, прямо, всю силою,— в грудь Во-лынского. На груди означился круг от пудры.

— Ге, ге, ге! каковы рога у козла! — вскричал Педрилло, отскочив шага на два назад, выпучил страшно глаза и заблеял по-козлиному.

Разъяренный, забыв, что он во дворце, кабинет-министр замахнулся на шута тростью... удар был силен и пришел в шутовскую харю. С ужасным криком растянулся Педрилло; кровь полила из носу струею.

— Кровь! кровь! убил!..— раздалось по дворцу.

Тревога, беготня, шум. Прислуга, лекаря, придворные — все смешалось, все составило новый, грозный обвинительный акт против кабинет-министра.

Шута, вскоре оживленного, прибрали. Но через несколько минут вышел из внутренних покоев фельдмаршал Миних и объявил Волынскому от имени ее императорского величества, чтоб он вручил ему свою шпагу и немедленно возвратился домой, где ему назначен арест. Это объявление сопровождалось дружеским и горестным пожатием руки.

— Граф! — отвечал Волынской, отдавая ему свою шпагу и гоф-лакею свою трость,— участь моя решена... От вас Россия имеет право ожидать, чтобы вы dokonчили то, что внушила мне любовь к отечеству и что я



испортил мою безумною страстью... Избавьте ее от злодея и шутов и поддержите славу ее...

Когда он возвращался домой, несколько людей остановили его карету.

— Спасайся, наш отец,— говорили они,— дом твой окружен крепким караулом. Отпряжем лошадей и укачем от беды.

— Благодарю, друзья мои,— отвечал Артемий Петрович и велел кучеру ехать прямо домой.

Пленник сам отдался страже. На дворе успел он только проститься с Зудюю, которого увлекали. В прихожей встретили его объятия жены, забывшей все прошедшее при одной вести, что муж ее в несчастии. Она узнала от Зуды благородный поступок Артемия Петровича по случаю предложения государыни жениться на княжне Лелемико.

Суд продолжался несколько дней. Не все формы были соблюдены. Но Волинского и друзей его велено осудить, и кто смел отступить от этого повеления?.. К прежним обвинительным пунктам присоединили и пролитие крови во дворце. Один из судей (Ушаков), подписывая смертный приговор, заливался слезами.

С этим приговором герцог курляндский явился к государыне.

— Что несете вы мне? — спросила она дрожащим голосом и вся побледневши.

— Смертный приговор мятежникам,— отвечал он с грозною твердостью.

— Ах! Герцог, в нем написана и моя смерть... Вы решились отравить последние дни моей жизни...

Государыня заплакала.

— Я желаю только вашего благополучия и славы! Впрочем, на всякий случай я изготовил другое решение.

Бирон, трясясь в ужасном ожидании, подал ей другую бумагу.

— Что это значит? — вскричала Анна Иоанновна,— казнь ваша?.. И вы даете мне выбирать?..

— Ту голову, которая для вас дороже. Я не могу пережить унижение закона и честь вашу.

— Господи! Господи! что должна я делать?.. Герцог, друг мой! сжальтесь надо мною... мне так мало остается жить... я прошу вас, я вас умоляю...

Государыня вне себя ломала себе руки. Бирон был неумолим. В эти минуты он истощил все свое красноречие в защиту чести, закона, престола... Злодей восторжествовал. Четыре роковые буквы «Анна» подписаны рукою полуумирающей... Слезы ее испятели смертный приговор.

## Глава XII

### РАЗВЯЗКА

Во все время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа, утешала его как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Последние часы его были услаждены этим ангелом, посетившим землю, не приняв на ней ничего земного, кроме человеческого образа. Она понемногу облегчала для него ужасный путь.

Наступил роковой час. Прислали — кого ж? Подачкина — взять бывшего кабинет-министра из-под домашнего ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости.

— Безумцы! — сказал, горько усмехаясь, Волинской, когда надевали на него цепи, — они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги! Я уж не земной, а там не знают ни оскорблений, ни цепей.

Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твердость. Облив слезами ее ледяные руки, повергнувшись пред образом спасителя, молился о ней, поручал ее с младенцем своим милостям и покровительству царя небесного:

— Будь им отец вместо меня! Если у меня будет сын, научи его любить отечество выше всего и...

Только бог слышал остальные слова.

— Я хотел просить ее благословения, — сказал он, когда толкнул его грубо Подачкин и напомнил, что время идти, — но, видно, я недостоин и его...

— Прости мне, хоть заочно, — прибавил он; с грустью еще раз поцеловал ее руку и перешагнул через нее...

На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня, от малого до большого, выстроилась в два ряда. Все плакало навзрыд; все целовали его руки, прощались с ним, молили отца небесного помиловать их отца земного. Каждого обнял он, всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили... не покидать ее в случае невзгоды...

Умолчу об ужасном заточении, об ужасных пытках... скажу только: они были достойны сердца временщика.

Наконец, день казни назначен.

К лобному месту, окруженному многочисленным народом, привезли сначала Воынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке (не знаю как, очутились тут же и четыре польские собачки его; верного Ивана не допустили); прибыли на тот же пир седовласый (сенатор) граф Сумин-Купшин, неразлучный с ним (гоф-интендант) Перокин и молодой (кабинет-секретарь) Эйхлер. Какое отборное общество! почти все, что было благороднейшего в Петербурге!.. Недоставало только одного... Друзья осматривались, как будто искали его.

— Где ж Зуда? — спросил Эйхлер.

— Он сослан в Камчатку, — отвечал офицер, наряженный в экзекуцию<sup>1</sup>.

— Благодарение богу! — воскликнул с чувством Воынской, — хоть одним меньше!

Негодование вылилось на лице Эйхлера.

— А разве меня выкинете из вашего счета, — сказало новое лицо, только что приведенное на лобное место (это был служка несчастного архиепископа Феофилакта), — по крайней мере я благодарю господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов временщика. Утешьтесь! мы идем в лоно отца небесного.

Друзья, старые и новые, обнялись, прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твердостью смерти.

---

<sup>1</sup> Участь Зуды облегчена, без всякого, однако ж, со стороны его домогательства, потому только, что он в самом начале борьбы Воынского с Бироном уговаривал первого не вступать в нее. До ссылки наказан он, однако ж, плетьюми. Одну участь и в одно же время с Эйхлером имел генерал-кригскомиссар Соймонов (прим. авт.).

Сначала пала рука Волынского, потом три окровавленные головы (его, Щурхова и Перокина). Эйхлер и служба не удостоены этой чести: их наказали кнутом и сослали в Сибирь, в каторжную работу. Графу Купшину (по лишении его чинов!..) отрезали язык и дали паспорт в вечную ссылку. Видно было по знакам его, что он просил смерти.

В это время раскаленное ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны Бельта\*, готовые его окатить<sup>1</sup>, залив, казалось, подернулся кровью. Народ ужаснулся... «Видно, пред невольной бедой»,— говорил он, расходясь.

Все мертвое отвезли на телеге, под рогожкой, на Выборгскую сторону, ко храму Самсона-странноприимца<sup>2</sup>; все живое выпроводили куда следовало.

Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то некреста, ругавшегося над головою Волынского и будто произнесшего при этом случае: «Попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупоумильной роже, невольническим ухваткам можно бы подумать, что этот изверг был... Но нет, нет, сердце отказывается верить этому преданию.

Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции.

Предание говорит также, что на первом этапе наши Эйхлера, плавающего в крови, и подле него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил.

Со дня казни полиция беспрестанно разбирала в драке людей Волынского, пустившихся в пьянство, с людьми Бирона. Неугомонных принуждены были выслать из города, а некоторых наказывать плетьюми.

От всего этого разрушения осталась одна несчастная Волынская,— божье дерево, выжженное почти до корня ужасною грозой. Она дала слово жить для своего младенца — и исполнила его.

Все имение осужденных было взято в казну. Жене бывшего кабинет-министра оставили дворов пять в каком-то погосте, удаленном от Петербурга. За нею про-

---

<sup>1</sup> После жестоких морозов была оттепель, отчего в заливе переломался лед (прим. авт.).

<sup>2</sup> Выстроенному Петром I в память победы, одержанной под Полтавою (прим. авт.).

сились все дворовые люди; но позволили идти только двум старикам.

Ледяной дом рухнул; уцелевшие льдины развезены по погребам. В доме Волинского, прежде столь шумном и веселом, выл ветер. Народ говорил, что в нем поселился дух...

Когда растаял снег, на берегу Невы оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом... Под смертной казнью запрещено было говорить об этой находке.

### Глава XIII

### ЭПИЛОГ

Сыны отчества! в слезах  
Ко храму древнему Самсона!  
Там за оградой, при вратах  
Почиет прах врага Бирона.  
Отец семейства! приведи  
К могиле мученика сына:  
Да закипит в его груди  
Святая ревность гражданина! \*

...Ангелам своим заповедает о тебе,  
сохранять тебя на всех путях твоих.

Пс. Хс. ст. 11.

Анна Иоанновна недолго пережила казнь Волинского. Чтобы сделаться правителем России, Бирону недоставало только имени: исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, *регент* недолго пользовался своею грозною, хищническою властью. Слово мученика не прошло мимо. Кто не знает об ужасной ночи, в которую, под неучтивыми ружейными прикладами, стащили его за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути, протоптанному тысячами его жертв? Кто не слышал об этой ночи, в которую жена его, столь надменная и пышная, предана поруганию солдат, влачивших ее по снегу в самой легкой ночной одежде? За плащ, чтобы прикрыть свою наготу, отдала бы она тогда все свои бриллианты!.. Миних совершил это дело, может

быть, оплодотворив в сердце своем семена, брошенные на него Вольтинским.

Мелькнула на ступенях трона и неосторожно оступилась на нем Анна Леопольдовна, это миловидное, простодушное дитя-женщина, рожденная не для управления царством, а для неги и любви. Россия ждала свою родную царицу, дочь Петра Великого, и Елисавета Петровна одним народным именем умела в несколько часов приобрести державу, которую оспаривала у ней глубокая, утонченная, хотя и своекорыстная, политика, умевшая постигнуть русский ум, но не понимавшая русского сердца. «*Вы знаете, чья я дочь?*» — сказала она горсти русских, и эта горсть, откликнувшись ей родным приветом *матери*, в одну ночь завоевала для нее венец, у ней несправедливо отнятый.

Чего не могла сделать государыня по сердцу народа? Она сбросила с него цепи, заживила раны его, сорвала черную печать, которою сердце и уста были запечатаны, успокоила его насчет *православия*, которым он так дорожит, воскресила победу, дала жизнь наукам, поставив сердце России краеугольным камнем<sup>1</sup> того храма, которое с ее времени в честь их так великолепно воздвигается. Она — чего нам забыть не должно, — своим примером внушив немецкой княжне, что может *народность* над сердцем русского, подарила нас великою государынею, которая потому только в истории нашей не стоит на первом месте, что оно было занято Петром беспримерным. Тотчас по вступлении своем на престол Елисавета спешила посетить в душном, мрачном заключении тверского архиепископа Феофилакта.

— Узнал ли ты меня? — спросила она, снимая с него железа.

— *Ты искра Петра Великого!* — отвечал старец и умер вскоре, благословляя провидение, дозволившее ему увидеть на русском престоле народную царицу.

Русский гений поэзии и красноречия, в лице холмогорского рыбака, приветствовал ее гармоническое царствование первыми сладкозвучными стихами и первую благородною прозой. Но лучшую одою, лучшим панегириком Елисавете были благословения народные.

---

<sup>1</sup> Московский университет (прим. авт.).

Вскоре забыли о кровавой бироновщине, и разве в дальних городах и селах говорили о ней, как теперь говорят о пугачевщине; да разве в хижинах, чтобы унять плачущих ребят, пугали именем *басурмана-буки*.

Здесь должен я, однако ж, рассказать одно происшествие, которое невольно напоминает нам грозного временщика.

В один из летних дней 1743 года, когда вместе с жителями Петербурга улыбалась и природа, подходили от московской стороны к Исакию Далматскому три лица, на которых наблюдательный взор невольно должен был остановиться, которые живописец вырвал бы из толпы, тут же сновавшейся, чтобы одушевить ими свой холст. Впереди шла крестьянка, по-видимому лет тридцати. Несмотря на худобу ее и темный загар, напоминающий картины греческого письма, взор ваш сейчас угадал бы, что она была некогда красавица; сердце и теперь назвало бы ее прекрасною — столько было души в ее печальных взорах, так много было возвышенного, благородного, чего-то небесного, разлитого по ее интересной физиономии. Это благородство в чертах, какая-то покорность своему жребию, несвойственная черни, и руки, хотя загорелые, но чрезвычайно нежные, не ладили с ее крестьянской одеждой. За нею шел седовласый старик, что-то вроде отставного солдата, в сером балахоне и в белом, чистом галстухе, в лаптях и с бритой бородой. Он имел одно из тех счастливых лиц, по которому с первого взгляда вы поручили бы ему свои деньги на сохранение, свое дитя под надзор. Он нес на руках дитя, лет трех, смугло-розовое, с черными кудрями, завитыми в кольца, с черными, острыми глазами, которые, казалось, все допытывали, все пожирали. «Прекрасный цыганенок!» — сказали бы вы. Между тем в нем было что-то такое, почему бы вы его тотчас признали за барского сына. Обвив левою рукою шею старика, он то прижимался к нему, когда встречал экипаж, с громом на них наезжавший, то ласково трепал его ручонкою по щеке, миловал его, то с любопытством указывал на высокие дома и церкви, на флаги кораблей, на золотую иглу адмиралтейского шпица.

— Это что, дядя, это что? — спрашивал он, поворачивая за подбородок голову старика, куда ему нужно было.

На челе последнего тяжелыми слоями лежала печаль, так же как и на лице молодой женщины; но заметно было, что он, вызываемый из своего пасмурного состояния живыми вопросами малютки, силился улыбнуться, чтобы не огорчить его. Не с большею бережью и заботливостью нес бы он царское дитя.

У паперти Исакиевской церкви остановились они. Дверь в церковь была отворена; в темной глубине ее мелькала от лампы светлая, огненная точка. Молодая женщина взяла малютку с рук пестуна его, велела ему молиться и сама положила три глубоких земных поклона. Когда она встала, в глазах ее блистали слезы. Потом вынула из сумочки, на поясе висевшей, свернутую, крошечную бумажку и три гроша и, отдавая их слуге, сказала:

— Поскорей! нам надо поспешать к обедне.

Слуга вошел в церковь, где причет готовился к священнослужению, отозвал к себе дьячка, вручил ему бумажку и два гроша, на третий взял восковую свечу, поставил ее пред образом спасителя и, положив пред ним три земных поклона, возвратился к молодой женщине. Дьячок передал бумажку священнику, а тот, развернув ее при свете лампы, прочел вслух:

— *За упокой души рабы божьей Марии,*— и прибавил лаконическое: — будет исполнено!

Молодая женщина сама уж взяла на руки дитя, несмотря на заботливые предложения слуги понести это бремя. Потом вся эта занимательная группа побрела далее, чрез дворцовую площадь, в каком-то сумрачном благоговении, молча, с поникшими в землю взорами, как будто шла на поклонение святым местам. Сам малютка, смотря на пасмурное лицо молодой женщины, долго не смел нарушить это благочестивое шествие. Но против дворца необычайность поразившего его зрелища заставила его вскрикнуть:

— Мамаша, мамаша! посмотри, что это такое?

Мать оглянулась, куда указывало дитя, и увидела в двух шагах от себя что-то безобразное, изуродованное, в лохмотьях, похожее на цыганку. Эти развалины живого человека лежали в двухколесной тележке, которую вез старик цыган. Грозно приподняв на него палку, полицейский служитель кричал, чтоб они съезжали с дворцовой площади и никогда на ней не показыва-



лись, что им уже давно велено из Петербурга вон. По-видимому, цыганка была лишена употребления ног. В диких глазах ее выражалось совершенное расстройство ума. Она делала разные движения рукой, указывая на дворец, и бормотала какие-то приветствия какой-то княжне, называя ее самыми нежными именами. Когда цыган хотел везти ее далее, безумная приходила в бешенство, и тот принужден был уступать, уверяя полицейского солдата, что они сейчас съедут, лишь бы ему немного вздохнуть.

Поровнявшись с ними, молодая крестьянка, или та, которую мы за нее принимаем, бросила во имя Христа в тележку несколько медных денег. Будто гальванической силой приподняло цыганку при взгляде на ребенка.

— Подай, подай мне!.. это его сын!.. — закричала она так, что мать в испуге бросилась бежать, озираясь частенько, не выскочила ли из тележки ужасная женщина, не преследует ли ее...

Потеряв цыган из виду, она перекрестилась; но заметно было, что какие-то мрачные думы тревожили ее во всю дорогу, и шаги ее, прежде твердые, стали запинаться. Чаше взглядывала она на свое дитя, еще нежнее прижимала его к груди.

Путь их был на Выборгскую сторону.

Они спешили. День был жаркий. Лицо молодой женщины разгорелось, щеки малютки алели — слуга убеждал отдать ему драгоценное бремя; но мать не соглашалась, как бы боясь поручить его хилым рукам старика, из которых какая-нибудь новая цыганка могла бы вырвать.

Вот они уж на Выборгской стороне, вот и у церкви Самсона-странноприимца. Благоговейный ужас выразился на лицах пилигримов, когда они через ворота вошли в ограду. Здесь представился им погост, усыпанный многочисленными возвышениями, изрытыми смертью, этим всемирным, неутомимым кротом, — гостиница, где для всякого нового приезжего и прихожего всегда найдется приличная почивальня, на которую ни один из них еще не жаловался! И почти над всяким возвышением по камню, положенному будто из боязни, чтобы принятый землю не возвратился на нее! И на каждом крест — знамение жизни земной и стремления к небу!.. С трепетом оглянулись путники на могилу у

самых ворот... молодая женщина побледнела, губы ее посинели, и руки затряслись так, что она была готова уронить свое дитя. Слуга успел принять его и опустить возле себя на землю. Рыдая, пала странница на могилу и долго, очень долго лежала на ней без чувств. Старик стоял на коленях; он молился... слезы текли по изрытым его щекам. Дитя плакало и, уцепившись ручонками за платье матери, силилось приподнять ее.

Эта крестьянка была Наталья Андреевна Волинская, это дитя был ее сын, старик — слуга ее и пестун малютки.

Наталья Андреевна пришла в Петербург, куда вызвало ее правительство для возвращения ей имения, отнятого в казну во время бироновщины. Первым делом ее, по прибытии в город, было идти на святую для нее могилу.

Ударили в колокол к обедне. Стараниями усердного служителя приведена она в себя. Она перекрестилась, стала на колена, схватила сына и, наклонив его голову на могилу, говорила ему, нередко прерывая свою речь рыданиями:

— Здесь лежит отец твой... молись за упокой души его... скажи: папенька! благослови меня с того света!

И дитя твердило:

— Папенька! благослови меня с того света...

— О милый, незабвенный друг! видишь, я исполнила обет свой... я дала тебе сына... посмотри, он весь в тебя... я привела его к тебе... благослови нас, милый мученик!.. Кабы не он, я давно б лежала здесь подле тебя.

Вдохновенная своею любовью, она, казалось, видела кого-то сходящего с неба, и глаза ее блистали дивным, неизъяснимым восторгом.

Слуга напомнил, что пора к обедне. В самом деле, она началась, и Волинская, бросив еще взгляд на бугор, где, казалось, почивало существо, для нее бесценное, шатаясь, побрела с своим младенцем в церковь. Там дьячок читал уж апостол. Кроме двух, трех старух, богомольцев никого не было. Невольно взглянул чтец на пришедших... и что ж? он смешался... голос его начал прерываться более и более, наконец слезы задушили его.

— Что с тобой? — спросил священник с неудовольствием.

Этот выговор заставил его оправиться; кое-как докончил он чтение. Нередко вглядывался в него и слуга Волинского.

По окончании обедни, когда Наталья Андреевна просила отслужить панихиду на могиле мужа, дьячок бросился целовать у ней руки и сказал:

— Матушка, Наталья Андреевна, вы не узнали меня?.. А помните ли тайного советника Щурхова... приятель был вашего сожителя и положил вместе с ним голову: я Иван... бывший дворец...

Дьячок не договорил и залился опять слезами.

Это был верный служитель благородного, возвышенного чудака в красном колпаке. Он выучился исправно читать и определился дьячком к той церкви, при которой был погребен его барин. Он не хотел расстаться и с прахом его.

С любовью сестры Наталья Андреевна обняла Ивана и *представила* ему своего сына.

Можно догадаться, с каким чувством пел он похоронные песни при служении панихиды.

По окончании ее повел он Волинскую на ближнюю могилу.

— Здесь лежат косточки моего барина...— начал он и опять не договорил. Немного погодя, оправившись, продолжал: — Ах! матушка, кабы вы знали, как все его-то для меня дорого... Обноски его берегу, словно зеницу ока... Две польские собачки и теперь живут со мною; а двух других, поверите ли? не мог оттащить от его могилы; на ней, бедненькие, и издохли...

---

С того времени видали очень часто молодую знатную барыню, всю в черном, с маленьким сыном на могиле Волинского. На ней, казалось, она состарилась, на ней вырастила и воспитала его.

Слышно было вскоре, что в Рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка и что ее товарищ ускакал бог весть куда, на кровном коне, которого украл с бывшей конюшни Бирона.

---

## Примечания<sup>1</sup>

Первое издание романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом» появилось в 1835 году (изд. А. С. Ширяева. М.). О том, как было встречено читателями новое произведение Лажечникова, В. Г. Белинский писал: «Первые издания «Новика»<sup>2</sup> и «Ледяного дома» были не раскуплены, а расхvatаны, и скоро потребовались вторые издания обоих романов. Что ни напиши теперь Лажечников — все будет иметь большой успех...» («Русская литература в 1840 году»).

И действительно, второе издание «Ледяного дома», с текстом, идентичным первому, появившееся через три года (изд. А. С. Ширяева. М. 1838), пользовалось таким же успехом. Много лет спустя, рецензируя собрание сочинений Лажечникова, М. Н. Лонгинов вспоминал: «После выхода «Новика» вторым изданием<sup>3</sup> публика с радостью узнала по некоторым отрывкам<sup>4</sup>, что г. Лажечников пишет новый исторический роман из любопытной и малоизвестной тогда эпохи царствования Анны Иоанновны... Это был наделавший столько шуму «Ледяной дом», который вышел, наконец, из печати и привел в восхищение читателей. Через два с небольшим года явилось второе его издание, тоже давным-давно раскупленное» («Атеней». 1858, ч. IV, июль — август).

---

<sup>1</sup> Примечания печатаются по изданию: И. И. Лажечников. Ледяной дом. «Художественная литература». М., 1956.

<sup>2</sup> И. И. Лажечников. Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого, исторический роман, ч. 1—4. М., 1832.

<sup>3</sup> В 1833 году.

<sup>4</sup> Отдельные главы «Ледяного дома» были напечатаны в журнале «Телескоп»: «Язык» в 1834 г., ч. XX; «Бирон и Волынский» в 1835 г., ч. XXV.

Однако третьим изданием роман вышел лишь через двадцать лет, в 1858 году, в восьмитомном собрании сочинений Лажечникова (изд. Н. И. Крашенинникова. Спб., 1858, т. III—IV).

Текст третьего, и последнего, прижизненного издания существенно отличается от первых двух. В роман включена новая глава: «Рассказ старушки» (гл. IV, ч. II), переработан образ В. К. Тредьяковского. Горячо отстаивая свою позицию в полемике с А. С. Пушкиным в 1835 году, Лажечников, не изменяя характеристике Тредьяковского по существу, значительно смягчает ее, снимает наиболее компрометирующие «профессора элоквенции» сцены. Переименована автором и глава, посвященная Тредьяковскому («Посредник» вместо «Педант»). Учитывая замечания критики, в том числе и очень благожелательного к нему Блинского, Лажечников подвергает сокращениям риторические отступления, которыми изобилдовал роман. Тщательная стилистическая правка, более лаконичная, сжатая фраза, приближение языка к современному (замена «сих» и «оних» «этими» и «теми» — оборот этот сохранился лишь с иронической окраской; «коих» — «которыми», «очей» — «глазами», «главы», «чела» — «головой», «чувствованиям» — «чувствами» и т. д.) — все это свидетельствует о большой работе, проделанной Лажечниковым над текстом «Ледяного дома» спустя двадцать лет после его выхода.

Однако существенные исправления, внесенные Лажечниковым в третье издание, являются результатом не только творческой переработки текста, но и уступок цензуре, с которой приходилось вести упорную борьбу автору «Ледяного дома».

Так, например, Лажечников вычеркивает и исправляет ряд мест, являющихся прямым осуждением Анны Иоанновны, из монологов Волинского устраняет отдельные резкие формулировки, которые могут быть адресованы не только Бирону, но и его «августейшей покровительнице», исправляет и выражения, в которых могли усмотреть неуважение к религии, церкви, «особам духовным».

Эти изменения, внесенные в текст, вряд ли можно рассматривать как результат эволюции взглядов писателя, ибо роман, представленный Лажечниковым в цензуру в 1850 году, исправлениям подобного рода еще не подвергался. Об этом свидетельствует донесение в Московский цензурный комитет Зернова и Лешкова (единственный недатированный экземпляр его сохранился в фонде академика Ф. И. Буслаева в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР), с которого начинается более семи лет давнее цензурное дело по «Ледяному дому»:

«Порученные нам для рассмотрения романы: первому «Ледяной дом», соч. Лажечникова, второму «Последний Новик», особенно первый, представляют ту особенность, что содержат много мест, кои, судя строго, согласно с недавними предписаниями высшего начальства, одобрить к печатанию безусловно мы находим невоз-

можным. Преимущественно это относится к «Ледяному дому», который от пропуска подобных мест потерял бы всю связь повествования. Между тем эти сочинения если бы и могли оказать какое-либо влияние на публику, то оно, по причине нескольких тысяч экземпляров, рассеянных давно уже в России и давших сим сочинениям всеобщую известность, без сомнения вполне истощено. Потому если б теперь вышло новое издание оных с пропуском каких-либо мест, то это подало бы только повод к меркантильным спекуляциям на возвышение цены прежних изданий и обратило бы особое внимание публики на пропущенные места. Вследствие сего мы полагаем, что если эти романы должны быть одобрены к печатанию, то всякие исключения в них неуместны. Но как подобные распоряжения превышают власть, данную законом цензору, то и просим представить сей случай на благоусмотрение Главного управления цензуры, дабы он мог служить примером на будущее время».

Повторив мотивировки цензорского донесения, Московский цензурный комитет 12 мая 1850 года направляет за подписями попечителя Московского учебного округа, председателя комитета генерала В. И. Назимова и секретаря Ф. И. Буслаева запрос в Главное управление цензуры. В ответ на этот запрос министр народного просвещения П. А. Ширинский-Шихматов просит доставить ему «помянутые книги с означением в экземплярах мест сомнительных или подлежащих, по мнению цензуры, к исключению». В заключении Московского цензурного комитета от 2 октября 1850 года подробно (с указанием страниц) перечислены эти места:

«1. Роман «Ледяной дом» содержит историю борьбы между двумя вельможами времен императрицы Анны Иоанновны, Бироном и Вольнским. Несмотря на правоту и святость дела Вольнского, Бирон склоняет государыню на казнь его (ч. IV, стр. 168—185)<sup>1</sup>. Это решение императрицы составляет основную нить сочинения. В ходе повествования резкостью своею неволью оставляют:

а. Мученическая смерть малороссийского дворянина Горденки, замерзшего от обливания холодною водою (ч. I, стр. 64—68, стр. 69—70), и вообще способ действия доимочного приказа (ч. II, стр. 131—134; ч. IV, стр. 16—21; стр. 179—180, 292—294).

в. Свадьба пажда, или шута из дворян, Кульковского на барской барыне Вольнского Подачкиной, как забава императрицы и как наказание Кульковского за тайное принятие католического вероисповедания (ч. II, стр. 103—105; стр. 168—169).

с. Происхождение любимицы императрицыной, называемой в романе Марнорицею, княжною Лелемико (ч. III, стр. 60—74; стр. 234—240).

<sup>1</sup> Указано по изданию 1838 года, соответствует стр. 351—358 настоящего издания. В дальнейшем страницы настоящего издания приводятся в тексте после страниц ранних изданий, указанных в делах цензурного комитета.

д. Отмена на неопределенное время аудиенции государственным людям и приглашение их на родины придворной козы, супруги придворного шута Педрилло (ч. III, стр. 130; стр. 261).

е. Прибытие их на эти родины и последующие затем обстоятельства (ч. III, стр. 146—150; стр. 268—272)».

«Все сии места,—говорится в заключении,—представляют только горестные воспоминания и едва ли направляют читателя к какой-либо благой цели». Первого ноября заключение Московского цензурного комитета рассматривается на заседании Главного управления цензуры. Принято постановление: «Не дозволять этих романов к напечатанию новым изданием», о чем 17 ноября уведомляется и Московский цензурный комитет.

В 1853 году вопрос об издании «Ледяного дома» возникает вновь. В письме от 13 июня попечитель Петербургского учебного округа, председатель цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин просит докладывать ему обо всех произведениях Лажечникова, поступающих на рассмотрение цензуры, «прежде одобрения оных к напечатанию». 16 июня он направляет директору канцелярии Министерства народного просвещения В. И. Кузнецову запрос о принятом в 1850 году решении Главного управления цензуры в связи с тем, что издатель А. Смирдин «представил все сочинения Лажечникова для цензурования». В. И. Кузнецов уведомляет, что романы «Ледяной дом» и «Последний Новик» постановлением Главного управления цензуры от 1 ноября 1850 года запрещены, приводя мотивировки из старых дел. На этом основании вопрос об издании вторично решен отрицательно.

В течение нескольких лет — вплоть до 1857 года — Лажечников не делает, видимо, никаких попыток к переизданию «Ледяного дома». И только со смертью Николая I и ликвидацией так называемого «Бутурлинского комитета», осуществлявшего негласный надзор не только над литературой, но и над цензурой, Лажечников в третий раз, 26 апреля 1857 года, подает прошение в Петербургский цензурный комитет, ходатайствуя о разрешении издать «первый отдел» собрания сочинений, то есть исторические романы «Ледяной дом», «Последний Новик» и «Басурман».

На этот раз цензорский рапорт написан И. А. Гончаровым, служившим в эти годы, как и Лажечников, цензором. Цензорское донесение Гончарова поступает в Петербургский цензурный комитет в тот же день, что и заявление Лажечникова, что несомненно свидетельствует о согласованности действий между обоими писателями. Приведем этот рапорт в части, относящейся к «Ледяному дому»:

«Из имеющегося в делах С.-Петербургского цензурного комитета отношения канцелярии министра народного просвещения от 19 июня 1853 года, за № 1190, к бывшему председателю комитета видно, что Московский цензурный комитет указывал в вышепо-

именованных романах г. Лажечникова сомнительные места, подлежащие исключению, и что Главное управление цензуры, по неудобности исключать значительное число таких мест, признало за лучшее не допускать этих романов к напечатанию новым изданием.

Не имея в виду, какие именно места в означенных романах Московский цензурный комитет предполагал подлежащими исключению и между тем находя в представленных ныне на рассмотрение экземплярах многочисленные поправки и исключения, сделанные самим автором на нижепоказанных страницах, имею честь представить на благоусмотрение Комитета, не угодно ли будет обоим романам препроводить в Главное управление цензуры на тот конец, не признано ли будет, за сделанными автором поправками и исключениями, возможным одобрить романы эти к напечатанию новым изданием, тем более что они уже пользуются всеобщее известностью.

Характеры и особенно лицо Бирона в «Ледяном доме» верны истории (см. «Русскую историю» Устрялова, ч. 2, стр. 121—125 и 130—133). Главное лицо романа Вольтер предстает также сходным с историей: благородным горячим патриотом, иногда увлекающимся своими страстями за пределы благоразумия. Он не враждует с законными властями и все действия и намерения свои относит к государыне, которой истинно предан, и от нее одной ищет разрешения их. Выражения в некоторых местах резки, но они прорываются в минуту негодования на притеснения Бирона и только против него. Грубые сцены принадлежат нравам того времени, и как они, так и резкие выражения некоторых лиц ни к одной из последующих эпох, по различию в степени образования и в понятиях, применены быть не могут. Надобно принять во внимание, что действие романа происходит в 1739 году, то есть почти за 120 лет до нас».

В конце рапорта, после разбора «Последнего Новика», Гончаров указывает страницы, на которых автором сделаны поправки и исключения в обоих романах. Страницы, перечисленные Гончаровым<sup>1</sup>, большей частью включают не только цензурную правку, но и чисто стилистическую.

Одним из очень существенных исправлений, на которые указывает Гончаров, является исключение Лажечниковым эпиграфа к главе «Эпилог» из запрещенного стихотворения К. Ф. Рыльева «Вольтер» (ч. IV, стр. 183; стр. 358).

Сыны отечества! в слезах  
Ко храму древнему Самсона!  
Там за оградой, при вратах  
Почиет прах врага Бирона.

---

<sup>1</sup> Указаны по первому изданию (1835), по которому «Ледяной дом» набирался в 1858 году.



Отец семейства! приведи  
К могиле мученика сына:  
Да закипит в его груди  
Святая ревность гражданина!

Эпиграф этот объясняет идейный замысел романа, общественный смысл прошедшей драмы, выражает, в частности, отношение автора к событиям последней главы. «Прибавлю еще, что я писал о Волынском под благородным впечатлением, окружавшим в 30-х годах могилу его, когда с восторгом повторяли известные слова:

... приведи  
К могиле мученика сына!  
Да закипит в его груди  
Святая ревность гражданина! —

писал Лажечников М. Н. Лонгинову 10 декабря 1857 года, посылая ему свою переписку с Пушкиным (Пушкинский дом Академии наук СССР)<sup>1</sup>. Исключив стихотворение казенного поэта-декабриста и оставив только второй эпиграф — цитату из Евангелия: «Ангелам своим заповедает о тебе, сохранять тебя на всех путях твоих», — Лажечников вынужден был ограничиться лишь намеком на высшую справедливость, охраняющую невинных.

Учитывая мотивы запрещения романа, формулированные в донесении Московского цензурного комитета от 2 октября 1850 года, Лажечников исключил ряд мест, связанных с «намекami на нетвердость характера и душевные недуги императрицы», содержащих указания на отношения Бирона с Анной Иоанновной. На стр. 108, ч. II, издания 1835 года (стр. 168 наст. изд.) текст: «...теперь, когда узнаны были его *высшие виды*, надлежало помогать ему *всходить на ступени* этого престола...» — исправлен (исправленное и вычеркнутое выделено далее курсивом) на: «...теперь, когда узнал, *чего Бирон домогался*, надлежало помогать ему *всходить на высокие ступени*». На стр. 119, ч. II (стр. 172—173 наст. изд.) из монолога Волынского вычеркнут намек на отношения Анны и Бирона: «Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами и между тем *откупивших себе тайною монополией*, неизвестными народу услугами...»; на стр. 7, ч. IV (стр. 287 наст. изд.), вычеркнуто: «Освободиться, однако ж, от него не имела сил, и *лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла*». На стр. 142, ч. III (стр. 262 наст. изд.), в тексте: «...герцог так *грубо* отнял свою руку, что государыня покачнулась набок своим тучным корпусом и, *может статься, подвергла бы себя неприятности и стыду падения*...» Вместо «так грубо» вписано «неосторожно», все остальное (вы-

<sup>1</sup> Имени К. Ф. Рылеева Лажечников не упоминает даже в письме.

делено курсивом) вычеркнуто. На следующей странице снята фраза: «Государыня была женщина и скоро перетолковала по-своему досаду герцога».

Опасаясь, видимо, обвинения в том, что он рисует «невежество того времени», Лажечников исправляет эпизод с «всемилооствейшей оплеухой», которой награждает Тредьяковского в знак своего благоволения «августейшая покровительница» искусств. На стр. 129, ч. I (стр. 92 наст. изд.), указанной в рапорте Гончарова, в тексте: «Сама государыня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилооствейшею оплеухою» — слова, выделенные курсивом, заменены: «слегка потрспала меня по щекс». На стр. 141, ч. I (стр. 96 наст. изд.) исправление такого же рода: «Волынской очень смеялся этому анекдоту; но чтобы разделаться с своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилооствейшей оплеухе, велел арабу принести обещанную пару». Слова об оплеухе исключены, «обещанную пару» заменено на «обещанный подарок».

На стр. 130, ч. I (стр. 92 наст. изд.) выпущены следующие слова: «Не помыслите, великий господин, чтобы сия оплеуха была тыжка, ксковые дают простые смертные своими руками; нет! она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала пругаенные душевные пружины в подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя». В том же монологе, ниже, слова Тредьяковского «сия оплеуха» заменены на «это прикосновение», «дуновение шестикрылого серафима» на «дуновение вефира».

Последняя поправка внесена, видимо, из опасения, что в словах этих может быть усмотрено неуважение к религии, к церкви. Представление о том, каковы были цензурные критерии в этом вопросе, дает и список цензурных изъятий по роману «Басурман», сделанный Лажечниковым (вместе с версткой романа, на которую нанесена цензурная правка, хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина). В списке этом значатся такие невинные, сентиментально-романтические образы, как «сном ангельским...», «будто два ангела, посланные на землю исполнить божье назначение...» «и божьи ангелы, успокаивая тебя на ночь...» и т. д.

Из тех же, по-видимому, соображений исключен абзац на стр. 180, ч. IV (стр. 354 наст. изд.): «Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то некреста, ругавшегося над головою Волынского и будто проивнесшего при этом случае: «попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупо-умильной рожке, невольническим ухваткам можно бы подумать, что этот изверг был... Но нет, нет, сердце отказывается верить этому преданию.

Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции»

Боясь задеть не только Анну, но и «духовных особ», Лажечников вносит еще одну поправку, на которую указано в рапорте. Друг Воынского Перикин предлагает ходатайствовать перед императрицей о разводе кабинет-министра с женой. Из монолога Перикина вычеркнуто: «духовные особы после того не запнутся» (стр. 125, ч. III; стр. 255). «Указано и исключение на стр. 197, ч. I (стр. 120 наст. изд.): «...черный невольник, сын жарких и свободных степей Африки, может быть царь в душе своей...»

Имея в виду обвинения цензуры в том, что он «показывает ненависть и недоверие немцев... ко всему русскому и наоборот»<sup>1</sup>, Лажечников в словах Воынского (стр. 121, ч. I, стр. 88): «Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его» — вычеркивает выделенные курсивом слова и исправляет на: «идти против Бирона».

Среди исправлений, перечисленных в рапорте Гончарова, наряду со случаями, в которых ориентация на цензуру совершенно очевидна, указаны исправления, носящие гораздо менее существенный характер.

Так, на стр. 101, ч. III (стр. 246 наст. изд.), указанной в рапорте, вычеркнуто:

«— Разве не знаешь, что мы с Воынским условились не накачивать тслсно?»

— *Хорошо Артемию Петровичу! Не в осуждение его сказать, он любит сам погулять, а люди у него словно монахи; вы живете, как отшельник, а дворня ваша...»*

Возможно, что автор хотел избежать обвинения в том, что он рисует «разврат и невежество того времени»<sup>2</sup> и в следующих исправлениях, также указанных в рапорте. На стр. 23, ч. I (стр. 48) «поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами» заменено «пламенным поцелуем»; на стр. 134, ч. III (стр. 259 наст. изд.) вычеркнута фраза: «Счастливец! знаешь ли, что блаженство, которое далось тебе так легко, согласился бы иной купить огнем вечным; а ты не хочешь заплатить за него несколькими часами муки земной?».

Указано в рапорте исправление на стр. 107, ч. II (стр. 168 наст. изд.). Первоначальная характеристика Остермана как «одного из величайших двигателей просвещения» изменена на: «одного из величайших государственных людей».

На стр. 6, ч. II (стр. 123 наст. изд.) вычеркнута фраза: «Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравненных, стали на пепелище первобытного Петербурга, как холодные, великолепные памятники, воздвигнутые наследственной обязанностью над прахом любимых народных поэтов».

<sup>1</sup> Из донесения Московского цензурного комитета от 2 октября 1850 года.

<sup>2</sup> Там же.

Вычеркивая эту фразу, Лажечников, возможно, учитывал обвинение в том, что в романе показано «угнетение и унижение, в котором была тогда Россия»<sup>1</sup>.

Однако анализ разночтений издания 1858 года по сравнению с 1835 годом убеждает, что исправления и исключения, указанные Гончаровым, не исчерпывают всей правки, сделанной Лажечниковым для того, чтобы добиться разрешения на издание романа. Ряд случаев, которые мы укажем ниже, является, несомненно, автоцензурой, преследующей ту же цель.

В речь, произнесенную Пεροкиным на родине козы (в главе, оцененной Белинским «выше всяких похвал» и указанной в рапорте Московского цензурного комитета в числе мест, которые «резкостью своею невольно останавливают»), Лажечников вносит поправки (стр. 156, ч. III; стр. 268 наст. изд.): «Каждый из твоих подданных явится к тебе не на коленях, как мы теперь, с молением и слезами, но станет обвинителем твоим, укажет господу на кровавые язвы свои, на рубища, на цепи, которыми ты позволила недостойному любимцу нас тягчить...» В первом случае выделенные слова вычеркнуты, во втором — исправлены на: «которыми недостойный любимец твой нас тягчил». Изменения эти направлены на то, чтобы снять обвинение с Анны и перенести его на Бирона. Вычеркивается также упоминание об Анне из реплики Купшина (стр. 158, ч. III; стр. 269 наст. изд.): «Разве бог и Елисавета — дщерь Великого Петра, а не Анна — спасут Россию!»

В главе «Во дворце» (стр. 160, ч. II; стр. 189 наст. изд.) Лажечников делает небольшое исправление: «Алену» заменяет на «Елену».

Лажечников снимает и один из трех эпитафий к главе «Родины козы» (ч. III, гл. VII). Число их не случайно, каждый имеет точный адрес, выражает отношение автора к трем основным героям развернувшейся драмы. Первый эпитаф: «Страшитесь, чтоб коза не обернулась волком» — адресован Бирону, сбрасывающему наконец маску и обнаруживающему свое подлинное лицо. Второй эпитаф: «Et toi, Brutus»<sup>2</sup> — обращен к Вольтеру, третий — из басни И. Крылова «Совет мышей»:

Молчи, все знаю я сама;  
Да эта крыса мне кумал —

относится к Анне, — о беззакониях Бирона должно молчать, он «кум» императрицы. Эпитаф этот снят.

На стр. 65, ч. III (стр. 309 наст. изд.), в фразе: «...в голове Анны Иоанновны развилась мысль сделать эту любовь законною. На это довольно было одного ее царского слова» — снять послед-

<sup>1</sup> Из донесения Московского цензурного комитета от 2 октября 1850 года.

<sup>2</sup> «И ты, Брут?» (франц.)

ние слова, аналогичные указанным в рапорте Гончарова: «Духовные особы после того не запнутся» (см. стр. 255).

Исправлена автором и следующая фраза (стр. 26, ч. I; стр. 49 наст. изд.): «В то время, когда раболепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, *обрыванный кровью жертв...*» Слова, выделенные курсивом, автор снимает. Боясь, видимо, что и в этом, как в указанных Гончаровым случаях, будет усмотрено неуважение к церкви, Лажечников снимает насмешливое обращение Волынского к своему секретарю: «Ну, полно, *честный иерей Зуда!*» (стр. 123, ч. I; стр. 89 наст. изд.).

В словах Волынского, беседующего с Зудой, вычеркнуто (выделено курсивом): «*Как действовали во все времена против угнетителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!*» (стр. 116, ч. I; стр. 86 наст. изд.), то есть удалено самое существенное, основная мысль; оставленные слова, в отрыве от предыдущего, остаются лишь сентиментальной декламацией. На той же странице значительные изъятия сделаны автором из монолога Волынского: «Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй — ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! ...Архипастырь, измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, *вытащенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека — движущийся гроб...*»

Внесена автором поправка и в главе «Ледяной дом» (стр. 13, ч. III; стр. 212 наст. изд.). Вместо: «Казалось, они остроумными отшучали на знати свою бедность и унижение» — появилось: «*на ком могли*». Примечательна поправка на стр. 74, ч. II (стр. 155 наст. изд.). Говоря об отдаче в рекруты (в счет будущих наборов) провинившихся, автор в изданиях 1835 и 1838 годов делает сноску, вычеркнутую при подготовке издания 1858 года: «Не анахронизм ли эта отдача в рекруты?»

Несомненно, все эти поправки носят характер автоцензуры; отсутствие их в перечислении Гончарова можно объяснить тем, что нецелесообразно было ставить на обсуждение цензуры страницы, которые могли дать достаточно оснований для запрещения романа.

Третьего мая рапорт Гончарова с сопроводительным письмом, подтверждающим его отзыв, за подписью нового попечителя Петербургского учебного округа, председателя цензурного комитета князя Т. А. Щербатова, пересылается в Главное управление цен-

зуры. 7 июня на заседании Главного управления цензуры заслушивается дело о собрании сочинений Лажечникова. К подробному протоколу приложена справка о цензурном запрещении 1850 года, однако на основании рапорта Гончарова на этот раз Главное управление цензуры признает возможным: «Разрешить пересмотреть на основании общих правил цензуры, так как автор поправил свои сочинения». 5 июля романы к изданию разрешены, цензурный запрет снят. Так, после двадцатилетнего перерыва «Ледяной дом» вышел в свет третьим изданием.

Если иметь в виду, что в казни Вольтерского и его группы Лажечникова интересовала в первую очередь тема героической борьбы против «утеснителей отечества», что мрачное десятилетие царствования Анны Иоанновны обрисовано автором с огромной обличительной силой, исправления, внесенные писателем, не могли изменить идейного замысла романа. Однако всей суммой уступок и исправлений «Ледяной дом» удалось спасти из тисков цензуры, в которых он пребывал в течение многих лет.

Тем не менее еще около полувека роман оставался все-таки в списке «крамольных». Сохранились два постановления драматической цензуры (от 1844 и 1903 гг.): первое — запрещающее инсценировку «Ледяного дома», сделанную неким Петром Голопой; второе — запрещающее драму, переделанную из романа, для народных театров, «так как мрачная эпоха временщика Бирона — едва ли поучительная страница нашей истории для народа, в этой же пьесе: симпатичный публике, несмотря на свои недостатки, Вольтерский побежден Бироном и приговорен к плахе императрицей» (Рукописный отдел Государственной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Характерно сходство мотивировок запрещения Главного управления цензуры в 1850 году и драматической цензуры в 1903 году.

Текст настоящего издания соответствует последнему прижизненному изданию 1858 года, причем все внесенные в него исправления, указанные в рапорте Гончарова, а также исправления, рассматриваемые как автоцензура, восстановлены по изданию 1835 года. Учтен также список опечаток, приложенных к каждому тому издания 1835 года, в большинстве случаев не исправленных при подготовке издания 1858 года.

Стр. 39. *Какая смесь одежд и лиц...* — из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники».

*Поник задумчивой главой...* — из стихотворения А. С. Пушкина «Андрей Шенье».

Стр. 40. *...отправляются в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплочного мастера* — то есть в Сибирь, на каторгу или к палачу.

*Меркурий* — покровитель путешественников; изображался с крылышками на головном уборе и сандалиях (ант. миф.).

*Панаш* — украшение из перьев или конских волос на военных головных уборах.

Стр. 43. ...открыв себе ключом четырнадцатого класса врата в капище почестей! — Чиновник четырнадцатого класса — самый низший чин согласно табели о рангах (закон о порядке государственной службы, изданный Петром I в 1722 году).

... в тогдашнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского ассессора — то есть в образовательном цензе.

*Коллежский ассессор* — чиновник VIII класса.

Стр. 45. *Феб* (Аполлон) — покровитель искусств, бог солнца и света (ант. миф.).

*Демосфен* (384—322 до н. э.) — политический деятель, прославленный оратор Древней Греции.

*Цицерон* (106—43 до н. э.) — римский государственный деятель, оратор и писатель.

Стр. 46. *Макиавель* — Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический деятель эпохи Возрождения, дипломат, историк. В трактате «О государе» сформулировал принципы управления монархическим государством, теорию дипломатического искусства.

*Золотая бить* — тонкая золотая нить.

Стр. 47. *Ферезь* (ферязь) — праздничный сарафан.

*Счаливан* — от старинного выражения «быть счалену», то есть сдружиться.

*Коломенская пастильница* — жительница города Коломны, занимающаяся изготовлением пастилы.

Стр. 48. *Зачем также не полагать, что он заседал в Кабинете...* — Учрежденный Анной Иоанновной кабинет министров, в 1739 году докладчиком по делам кабинета у императрицы являлся А. Волюнский.

Стр. 50. *Таланливо* — счастливо.

Стр. 52. *Я цыганка не простая... Знаю ворожить...* — из оперы «Русалка» композитора Кауэра (1751—1831), либретто Н. Краснопольского (пер. с нем. пьесы Генслера «Дунайская девушка»). Ария Лесты, ч. III, действ. III, явл. одиннадцатое.

Стр. 55. *Цесарь Бортия* — Цезарь Борджия (1476—1507) — сын папы Александра VI, кардинал, позже герцог Романьи, известен своим крайним деспотизмом; секретарем у него был Макиавелли.

Стр. 56. ...чудесной *Цивилле*. — Сивиллы — прорицательницы, жрицы, предсказывающие будущее (ант. миф.).

Стр. 62. *И так погибну в цвете лет...* — из баллады В. А. Жуковского (1783—1852) «Ивиковы журавли».

Стр. 64. *Минотавр* — чудовище с головой быка и туловищем человека, пожиравшее юношей и девушек; обитал во дворце-лабиринте (ант. миф.).

Стр. 65. *Голстиния* — так называлась провинция в Пруссии, расположенная между Балтийским и Северным морями, ныне Шлезвиг-Гольштейн.

Стр. 67. ...на лошади... *изабеллова цвета* — светло-желтой масти, с белым хвостом и гривой.

Стр. 73. ...загорелась война между Турцией и Россией — русско-турецкая война 1735—1739 гг., в которой русские войска одержали победу.

*Ставучинская битва* — 17 августа 1739 года в сражении под селом Ставучаны русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Миниха (1683—1767) разбила турецкую армию, заняла крепость Хотин и вступила в Яссы.

Стр. 74. ...из *Фенелонова «Телемака»* воссоздал знаменитую «Телемахиду»... — Фенелон Франсуа (1651—1715) — французский писатель, автор нравоучительного романа в стихах «Похождения Телемака». Переведен на русский язык профессором В. К. Тредьяковским (1703—1769) под названием «Телемахиды» (изд. А. Смирдина, Спб. 1849).

Стр. 75. *Роллен Шарль* (1661—1741) — французский историк, автор многотомной «Древней истории», переведенной на русский язык В. К. Тредьяковским.

*Так ведется со времен двух первых братьев!* — Имеется в виду библейское предание о Канне, старшем сыне Адама, убившем своего брата Авеля.

Стр. 76. *Толмач* — переводчик.

Стр. 78. Скажи, в чем тут есть главное уменье? — из басни И. А. Крылова (1769—1844) «Трудолюбивый медведь». Цитата приведена не совсем точно: «Скажи, в чем есть тут главное уменье?»

*Победа, смерть ли? будь, что будет...* — из «Ливонской повести «Ала» Н. М. Языкова (1803—1846).

Стр. 81. *Хорунжий* — подпоручик казачьих войск в царской армии.

*Повет* — административно-территориальная единица на Украине в XIV—XIX вв.

*Доимочный приказ* — канцелярия, ведавшая сбором недоимок по налогам. Учрежден Анной Иоанновной в 1733 году.

Стр. 90. *Пыщутся горы родить, а смешной родится мышонки!*... — из «Предъизъяснения об иронической пиме», являющегося вступлением к «Телемахиде».

*Монтань* — Монтень Мишель де (1533—1592) — прогрессивный французский философ и писатель эпохи Возрождения. Говоря об «я и он, он и я» Монтеня, автор имеет в виду слова Монтеня в книге «Опыты» (гл. «О дружбе»), посвященные его другу, публицисту Ла Бюэсси: «...никогда с той поры не было для нас ничего ближе, чем он — мне, а я ему», «не другой, а то же, что я сам».



Стр. 91. «Алекса́ндроида» — имеется в виду «Алекса́ндроида, современная поэма» Павла Свечина, в 4-х частях (М., тип. С. Селивановского, 1827), — бездарное произведение, низкопоклоннически воспевающее Александра I.

Омир — Гомер (между XII—VIII вв. до н. э.) — легендарный древнегреческий поэт; ему приписывается создание эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

Прекрасная Елена — героиня «Илиады», жена спартанского царя Менелая, славившаяся красотой. Похищение Елены царевичем Парисом послужило поводом к Троянской войне (ант. миф.).

Но дух, как Ираклий, чего не возмо́жет! Он совершил во мне седьмой подвиг. — Геракл (Геркулес) — сын бога Зевса, одаренный необыкновенной физической и моральной силой. Геракл, служивший у царя Эврисфея, должен был совершить двенадцать подвигов. Седьмой подвиг Геракла — чистка загрязненных конюшен царя Авгия, которую он закончил в один день, проведя через них реку Алфею (ант. миф.). Здесь автор намекает на строку из «Тилемахиды»: «Се Ираклий, одолевший столь многих Дивовищ и Чудищ» («Тилемахида», книга 50).

Олимп — гора в Греции, где, по верованиям греков, обитали боги (ант. миф.).

Стр. 93. *Виргилий* (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды».

Камоэ́нс Луис (1524—1580) — португальский поэт, автор национального эпоса «Лузиада».

Стр. 94. *Видят они весь шар земли, как блатную грядку...* — из «Тилемахиды», книга 9.

Кали́пса, Калипео — нимфа, жившая на острове, куда буря прибила Одиссея, возвращавшегося на родину после Троянской войны. Полюбив Одиссея, Калипсо предлагала ему бессмертие и вечную юность, но Одиссей, тосковавший по родине и жене, отверг предложение Калипсо, и она вынуждена была по приказанию богов отпустить его (ант. миф.).

*Прочь от меня, прочь далей, прочь вертопрашный детина...* — из «Тилемахиды», книга 7. Предпоследняя строка цитирована не точно: «Чтоб которая из нимф моих с ним слово спустила».

Стр. 95. *...пусть рыбачишка холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на с о п е л к е свою одишку на взятие Хотина...* — В. К. Тредьяковский имеет в виду М. В. Ломоносова (1711—1765), приславшего из Марбурга, куда он был отправлен для прохождения курса наук, «Оду на взятие Хотина».

Стр. 96. *Парис* — сын Приама, царя Трои; вручил богине любви Афродите золотое яблоко с надписью «прекраснейшей», за обладание которым спорили три богини (ант. миф.).

Стр. 97. *Послушай, говорит, коль ты умней не будешь...* — из басни И. Крылова «Мальчик и змея».

*Рав в крещенский вечерок...*— начало баллады В. А. Жуковского «Светлана».

Стр. 98. *...подобно Камознсу, гибнущему в море...*— Имеется в виду эпизод из жизни Камознса, едва не погибшего во время кораблекрушения.

*Инка* — индейское население Америки.

*Аграфы* — застезки.

*Семирамида* — полубогородительная царица Ассирии.

Стр. 100. *Вельзевул* — в христианской религиозной литературе — властитель ада, злой дух.

Стр. 110. *Язон* — древнегреческий герой, предпринявший поход в Колхиду за золотым руном, охранявшимся драконом (ант. миф.).

Стр. 111. *Кого кто лучше проведет...*— из басни И. А. Крылова «Купец».

Стр. 112. *В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипсо...*— из «Тилемахиды», книга 1.

Стр. 113. *Се вдруг узрела она корабля разбитого доски...*— из «Тилемахиды», книга 1.

*Машта* — мачта.

Стр. 117. *И труп поглощен был глубокой рекой.*— Из стихотворения В. А. Жуковского «Мщение». Автором ошибочно приписана эта строка А. С. Пушкину, в текст настоящего издания внесено исправление.

Стр. 121. *Но знаешь? эта черная телега...*— из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы». Цитировано не совсем точно:

Но знаешь? — эта черная телега

Имеет право всюду развезжать —

Мы пропускать ее должны!

Стр. 122. *Талия* — муза, покровительница комедии; *Мельпомена* — муза, покровительница трагедии (ант. миф.).

*Гонтовые крыши* — крыши из тонких небольших дощечек, каждая из которых входит в паз другой (от польск. *gont* — дранка).

Стр. 123. *Гамадриады, дриады* — лесные нимфы, рождались и умирали вместе с деревом, в листе которого жили (ант. миф.).

Стр. 125. *Последы* — напоследок.

*Воловьи и подвезжие* — легковые и ломовые извозчики.

Стр. 126. *Трус* — землетрясение (древнерусск.).

Стр. 129. *Кювье Жорж (1769—1832)* — французский ученый, автор трудов по сравнительной анатомии, палеонтологии и систематике животных.

Стр. 140. *...по этому-то хоботу...*— В письме И. И. Лажечникову по поводу «Ледяного дома» А. С. Пушкин спрашивал: «Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего решение для меня важно: в каком смысле упомянули вы слово *хобот* в последнем вашем творении и по какому наречию?» (3 ноября 1835 г.). Ответ-

чая А. С. Пушкину, И. И. Лажечников писал: «Теперь объясню Вам, почему я употребил слово *хобот* в Л. Д. и, кажется, еще в «Последнем Новике». Всякий лихой сказочник, вместо того, чтобы сказать: таким-то образом, таким-то путем, пощеголяет выражением: *таким-то хоботом*. Я слышал это, бывало, от моего старого дядьки, слышал потом не раз в народе московском, следственно по наречию великороссийскому».

Стр. 144. *Завор* — забор.

Стр. 146. *Бальзак* Оноре де (1799—1850) — французский писатель, реалист, автор многотомной эпопеи «Человеческая комедия».

Стр. 147. *Сушун*, шушун — верхняя женская одежда.

Стр. 152. *Недруга догнать, над ним занять ветр способный...* — из сатиры поэта А. Д. Кантемира (1708—1744) «Филарет и Евгений»; имеется примечание А. Д. Кантемира: «Немалая важность в том состоит, чтоб во время морской баталии забраться под ветер таким образом, чтоб с нашего корабля дул на неприятельский».

*Всегда за ним выборна таскалася свита...* — из сатиры А. Д. Кантемира «Филарет и Евгений».

*Вальтер Скотт* — Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель, автор многочисленных исторических романов.

Стр. 153. *Фонвизин* Денис Иванович (1745—1792) — писатель, комедиограф, передовой общественный и литературный деятель екатерининской эпохи.

Стр. 156. *Алансовые манжеты* — манжеты из кружев, которыми славился город Алансон (Франция).

Стр. 157. ...*в рудокопную фортецию* — в рудники.

*Если б кто, как брадобрей Мидаса, зарыл свою тайну в земле.* — Имеется в виду царь древней Фригии Мидас, тщательно скрывавший ослиные уши, которыми его наделил Аполлон. Брадобрей, обнаруживший тайну Мидаса, не в силах таить ее, вырыл ямку и, поведав секрет, засыпал землей. Выросший на этом месте тростник разгласил тайну царя (ант. миф.).

Стр. 161. ...*нашли слабую сторону этого Ахиллеса...* — Ахиллес — сын морской богини Фетиды, окунувшей его в священные воды Стикса, приносящие бессмертие. Уязвимой осталась только пятка, за которую Фетида держала Ахиллеса (ант. миф.).

Стр. 163. *Иоанна Неаполитанская* — Иоанна II (1371—1435), королева неаполитанская из Анжуйской династии; ее фавориты (Сфорца, Караччиоли) вмешивались в государственные дела, что послужило причиной восстания против Иоанны.

Стр. 166. *Ужасный вид! они сравились!...* — из драматической поэмы И. И. Дмитриева (1760—1837) «Ермак». Цитировано неточно, соединены разрозненные строки.

Стр. 170. ...*изжарят нас, басурманов, как лекаря-немца при*

*Иоанне Грозном.*— Речь идет о Елисее Бомелии, докторе Ивана IV. В «Истории государства Российского» М. Н. Карамзин рассказывает о сожжении Бомелия на костре.

Стр. 171. *Публий Гораций Коклес* (Одноглазый) — римлянин, защищавший против этрусков мост через Тибр (507 г. до н. э.).

Стр. 173. *Брюс Яков Вилемович* (1670—1735) — государственный деятель, ученый, генерал-фельдмаршал, один из просвещенных сподвижников Петра I. Брюсу приписывается составление первого в России календаря.

*Крыж* — косою католический крест.

*...сбить яблоко, не только с головы сына...*— Имеется в виду средневековая народная легенда о национальном швейцарском герое Вильгельме Телле, возглавившем борьбу против австрийских феодалов в начале XIV века. Вильгельм Телль, прославившийся как меткий стрелок из лука, по приказанию наместника сбил стрелой яблоко с головы сына.

Стр. 180. *Но час настал — я ничего не помню...*— из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Не вполне точная цитата: «Но час настал — и ничего не помню».

Стр. 181. *Балакирев Иван Александрович* (1699 — год смерти неизвестен) — приближенный слуга Петра I и Екатерины I, придворный шут Анны Иоанновны.

Стр. 191. *Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастье...*— из «Романа в семи письмах» писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837), письмо четвертое.

Стр. 207. *Все чудо из чудес, куда ни погляди!* — из сказки И. И. Дмитриева «Причудница». Цитировано неточно, соединены разрозненные строки.

*Богданович Ипполит Федорович* (1743—1803) — поэт, автор «Душеньки», «Древней повести в вольных стихах».

*Я сберегла тебе невинных уст лобзание...*— из стихотворения В. И. Туманского (1800—1860) «Манценья».

*Крафт* Георг Вольфганг (1701—1754) — ученый, академик по кафедре математики, физики, автор статей, учебников.

Стр. 209. *Чекан* — старинное холодное оружие, состоявшее из заостренного молотка, насаженного на рукоять.

Стр. 210. *Комель* — камень.

Стр. 212. *Бомарше* Пьер Огюстен Карон (1732—1799) — французский писатель, драматург.

Стр. 215. *Елисейские поля* — загробный мир, где, по верованиям греков, пребывают души праведников (авт. миф.).

Стр. 223. *Гляжу я безмолвно на черную шаль...*— из стихотворения А. С. Пушкина «Черная шаль». Неточная цитата: «Гляжу, как безумный, на черную шаль».

Стр. 230. *Угадываю любопытство многих моих читателей не о*

яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его...— из повести А. А. Бестужева-Марлинского «Ревельский турнир», начало второй главы. Фраза не закончена: «...во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюся — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними».

Стр. 236. *Не далее, а навад, барон!* — из повести А. А. Бестужева-Марлинского «Ревельский турнир», глава третья.

Стр. 237. *...в доведях* — в данном случае — в выигрыше.

Стр. 245. *Берлина* — большая дорожная карета.

Стр. 248. *Мюрат* — маршал Франции. Во время похода Наполеона в Россию (в 1812 году) командовал кавалерией.

Стр. 249. *Левкадский угес* — южный мыс одного из Ионических островов, Левкада; отсюда, по преданию, ежегодно бросали в море преступника, чтобы искупить грехи жителей острова (ант. миф.).

Стр. 251. *В тогдaшнее время, когда человек унижался до скота, и животные, по какому-то сочувствию, исполняли низкие должности человека.* — В издании 1835 года под этим эпиграфом значилось: «Автор». В последующих изданиях подпись снята.

Стр. 257. *Буцефал* — любимый конь царя Александра Македонского (356—323 до н. э.).

Стр. 258. *И ты, Брут!*... — слова, с которыми, по преданию, смертельно раненный римский император Кай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.) обратился к своему другу Марку Юнию Бруту (85—42 до н. э.), участвовавшему в республиканском заговоре против Цезаря.

«И ты, Брут!» — последние слова Цезаря в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Трагедия же Вольтера (1694—1778) «Брут» посвящена Луцию Юнию Бруту, согласно древнеримскому преданию, — основателю римской республики.

*Молчи, все знаю я сама...* — из басни И. А. Крылова «Совет мышей».

Стр. 261. *«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!»* — Из повести в стихах И. Богдановича «Душенька», книга вторая.

Стр. 266. *Пока не падает луч солнца на Мемнонову статую, она не издает дивных звуков.* — «Колоссами Мемнона» в Египте называли две статуи царя Аменхотепа III, одна из них получила название «поющей статуи». Протяжный звук, раздававшийся при первых лучах солнца, был вызван прохождением нагретого воздуха через трещины сооружения. По древнегреческим верованиям, это Мемнон, сын богини зари, приветствовал свою мать (ант. миф.).

Стр. 272. *Юпитер* — бог-громовержец у римлян (ант. миф.).

Стр. 273. *...этого ужасного Полифема в женском виде...* — Полифем — одноглазый великан, людоед (ант. миф.).

Стр. 279. Сю Эжен (1804—1857) — французский романист,

Стр. 304. *Одиссей* — царь острова Итака, герой поэмы «Одиссея» (ант. миф.).

*Минерва* — богиня мудрости (ант. миф.).

*Съежцы* — старинные щипцы, которыми снимали нагар со свечей.

Стр. 305. *Аристид* (ок. 540—467 до н. э.) — афинский полководец и политический деятель, по прозвищу «Справедливый».

*Фемистокл* (ок. 525—ок. 461 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель.

*Солон* (ок. 638—558 до н. э.) — афинский политический деятель и законодатель.

*Меценат* Гай Цильний — римский политический деятель и писатель I века до н. э., покровительствовавший поэтам. Его имя стало нарицательным для обозначения покровителя наук и искусств.

Стр. 309. *Парнас* — горный массив в Греции, где, по верованиям греков, обитали Аполлон и музы (ант. миф.). «Взойти на Парнас» — означало стать поэтом.

*Гимен на торжественной ехал колеснице...* — В. К. Тредьяковский, «Стихи эпиталамические на брак его сиятельства Александра Борисовича Куракина и княжны Александры Ивановны».

*Гимен, Гименей* — бог брака, покровитель новобрачных (ант. миф.).

*Купидушки* — уменьшительное от «Купидон» — бог любви (ант. миф.).

*Приданого за ней полмиллиона...* — из басни И. А. Крылова «Ворона». Точками заменены пропущенные строки.

Стр. 310. ...с припевом из Соломона «все суета сует»... — Соломон — царь израильский (960—935 до н. э.), ему приписывается «Книга премудрости» (Эклезиаст), откуда взяты эти слова.

*Не пользуюсь Мафусаиловой жизнью...* — По библейскому сказанию, патриарх Мафусаил прожил свыше 900 лет.

Стр. 312. *С...вой* — Строгановой.

*В...ва* — Воронцова.

*Т...ой* — Трубецкой.

Стр. 313. *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1617/18—1682) — испанский живописец.

Стр. 314. *Напыщенные, как лягушка, собиравшаяся в быки...* — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Лягушка и бык».

*Баязет I* по прозвищу «Молниеносный» (1360—1403) — турецкий султан.

Стр. 316. *Здравствуйте женившись, дурак и дура...* — из «Сказания, говоренного Васильем Тредьяковским при дурацкой свадьбе». Стихотворение приведено не целиком: выпущено семь строк.

*Шанпель* Клод Эммануил (1626—1686) — французский поэт, автор анакреонтических (воспевающих любовь и вино) стихов.

*Тассо Торквато (1544—1595)* — итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 318. *Гроной утомлено, спит море — тигра сон!*..— из стихотворения поэта В. Г. Теплякова (1804—1842) «Последний вечер в \*\*\*».

Стр. 323. *Душа твоя чиста, унынье чуждо ей.*..— из стихотворения А. С. Пушкина «Мой друг, забыты мной следы минувших лет».

*Декарт Рене (1596—1650)* — французский философ, физик, математик и физиолог. В своем произведении «О мире» Декарт развивает вихревую теорию образования мира.

Стр. 328. *Тебе сказать не должен боле*..— из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», песнь первая.

Стр. 336. *О милый! Пусть растает вновь*..— из «Руммиллийской песни» В. Г. Теплякова, строфы V, VI.

Стр. 344. *Не узнавай, куда я путь склонила*..— из стихотворения В. А. Жуковского «Голос с того света», перевод с немецкого (Ф. Шиллер, «Текла»).

*Мария Антуанетта (1755—1793)* — французская королева, жена Людовика XVI; казнена по приговору революционного трибунала.

Стр. 354. *.. волны Бельта*..— Имеется в виду Балтийское море.

Стр. 355. *Сыны отчества! в слезах*..— из стихотворения поэта-декабриста К. Ф. Рылеева (1795—1826) «Волынский».

---

## Содержание

*М. Нечкина* — «Ледяной дом» *И. И. Лажечникова* . . . . . 3

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

<i>Глава I</i>	Смотр . . . . .	39
<i>Глава II</i>	Цыганка . . . . .	52
<i>Глава III</i>	Ледяная статуя . . . . .	62
<i>Глава IV</i>	Фатализм . . . . .	70
<i>Глава V</i>	Таинственное послание . . . . .	78
<i>Глава VI</i>	Посредник . . . . .	90
<i>Глава VII</i>	Переряженные . . . . .	97
<i>Глава VIII</i>	Западня . . . . .	111
<i>Глава IX</i>	Сцена на Неве . . . . .	117

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

<i>Глава I</i>	Язык . . . . .	121
<i>Глава II</i>	Допрос . . . . .	127
<i>Глава III</i>	Лекарка . . . . .	136
<i>Глава IV</i>	Рассказ старушки . . . . .	143
<i>Глава V</i>	Русалки . . . . .	146



Глава VI	С переднего и с заднего крыльца . . . . .	154
Глава VII	Соперники . . . . .	166
Глава VIII	Во дворце . . . . .	180
Глава IX	Припадок . . . . .	181
Глава X	Посланница . . . . .	200

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I	Ледяной дом . . . . .	207
Глава II	Фата . . . . .	223
Глава III	Рассказ цыганки . . . . .	230
Глава IV	Расстроенное совещание . . . . .	236
Глава V	Обезьяна герцогова . . . . .	243
Глава VI	Собака-конь . . . . .	250
Глава VII	Родины козы . . . . .	258
Глава VIII	Письмо и ответ . . . . .	269
Глава IX	Ночной сторож . . . . .	273
Глава X	Вот каковы мужчины . . . . .	279

### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I	Любовь поверенная . . . . .	283
Глава II	Удар . . . . .	293
Глава III	Между двух огней . . . . .	298
Глава IV	Куда ветер подует . . . . .	304
Глава V	Свадьба шута . . . . .	309
Глава VI	Опала . . . . .	318
Глава VII	Черная кошка . . . . .	323
Глава VIII	Предложение . . . . .	328
Глава IX	Ночное свидание . . . . .	336
Глава X	Похороны . . . . .	344
Глава XI	Арест . . . . .	347
Глава XII	Развязка . . . . .	352
Глава XIII	Эпилог . . . . .	355
Примечания	. . . . .	362

**Иван Иванович ЛАЖЕЧНИКОВ**  
**ЛЕДЯНОЙ ДОМ**

**Редактор**

**Н. А. Преснова**

**Оформление художника**

**Н. Н. Каминского**

**Художественный редактор**

**Л. И. Королева**

**Технический редактор**

**Л. Ф. Молотова**

---

Сдано в набор 04.12.78. Подписано к печати 04.01.79.  
Формат 84×108<sup>1/2</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура  
«Академическая». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 20,68. Уч.-изд. л. 21,15. Тираж 250 000 экз. Заказ № 526.  
Цена 2 р. 20 к.

---

Набрано и сматрировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина,  
125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового  
Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом  
объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26.